

АРОН РЭЙМОН АРОН

**ОПИУМ
ДЛЯ
ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ**

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦОПЭ

Все права сохраняются за автором.

РЭЙМОН АРОН

Опиум для интеллигенции

Перевод с французского

**Издание Центрального Объединения
Политических Эмигрантов из СССР (ЦОПЭ)**

Мюнхен

1960

Raymond Aron
L'OPIUM DES INTELLECTUELS
Calmann-Lévy, Éditeurs
Paris

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Рэймон Арон — имя известное не только во Франции. Автор книги, которую мы предлагаем читателю в русском переводе, французский социолог и историк, хорошо известный на Западе по ряду исторических трудов и по своей публицистической деятельности. Книга «Опиум для интеллигенции» была написана им во время затяжного политического кризиса во Франции, предшествовавшего приходу к власти генерала де Голля и во время короткого пребывания Маленкова у власти в СССР. Она написана прежде всего для французского читателя и говорит главным образом об умонастроениях французских интеллигентов. Но автор так широко ставит проблемы современности, что книга его читается с живым интересом и каждым нефранцузом; она не теряет своей актуальности и сегодня и вряд ли скоро ее потеряет. Вопросы, поднятые Ароном в этой книге, еще долго будут волновать умы многих мыслящих людей в нашей единой индустриальной культуре, разделенной на два враждующих лагеря.

Книга Арона посвящена разоблачению трех основных мифов, владеющих умами не только французских интеллигентов, но и интеллигентов во всех уголках земного шара: мифа «левых», то есть, по общераспространенной идеологии, «прогрессивно мыслящих»; мифа революции и мифа пролетариата. Эти «великие надежды XX века» безжалостно разоблачаются автором, как главные догматы псевдорелигиозной основы марксизма-ленинизма — «первой удавшейся религии интеллигентов» по выражению Арона.

Мысли, мучающие западного интеллигента, связаны с проблемами, стоящими не только перед Западом. Русский читатель у нас на родине найдет в книге Рэймона Арона то, что и его волнует и не может не волновать. То, о чем открыто, а подчас и жестоко, пишет Арон, запрещается у нас обсуждать; эти вопросы у нас подавлены, искажены и поэтому они особенно болезненно переживаются. И книга Арона помогает осмыслить многое, что замалчивается или сознательно искажается в парадно-оптимистическом учении марксизма-ленинизма.

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА К ФРАНЦУЗСКОМУ ИЗДАНИЮ

В течение последних лет мне пришлось написать ряд статей, которые целили не в коммунистов, а в «коммунизирующих», то есть не в членов партии, а в тех, людей, симпатии которых на стороне советского мира. Я решил объединить эти статьи в сборник и написать предисловие к нему. Сборник вышел под заглавием «*Polemiques*», а из введения получилась эта книга.

Стараясь объяснить настроение интеллигентов, безжалостных к неудачам демократии и снисходительных к величайшим преступлениям, поскольку они совершаются во имя благого учения, я натолкнулся на три священных слова: левый, революция, пролетариат. Критический разбор этих мифов привел меня к размышлениям о культе Истории и о той общественной категории, которой социологи еще не придали должного значения, — об интеллигенции.

Таким образом в этой книге одновременно рассматривается и современное состояние так называемых левых идеологий, и роль интеллигенции как во

Франции, так и в остальном мире. Я попытался найти ответ на некоторые вопросы, которыми следовало бы заняться другим, а не мне: почему марксизм моден именно во Франции, экономическое развитие которой разошлось с предсказаниями Маркса? Почему идеология пролетариата и его партии имеет тем больший успех, чем малочисленней класс рабочих? Как создаются в разных странах язык, способ мышления и способ действия интеллигентов?

Начиная с 1955 года стали модными споры между правыми и левыми. Спрашивают от времени до времени, к каким правым следует отнести меня — к правым традиционного, или к правым нового типа. Я не признаю этих определений. В Национальной Ассамблее фронты обрисовываются иначе — в зависимости от обсуждаемой проблемы. В иных случаях все же возможно четко отделить левых от правых: сторонники сговора с марокканскими и тунисскими националистами представляют, если хотите, левых; а сторонники репрессий или *status quo* представляют правых. Но разве можно назвать сторонников абсолютной суверенности левыми, а сторонников Объединенной Европы, признающих эту сверхнациональную организацию, — правыми. В этом случае разумнее было бы применить обратные термины.

«Мюнхенский дух» в отношении к Советскому Союзу типичен как в среде социалистов, тоскующих по братству в марксизме, так и в среде националистов, одержимых «германской опасностью» и мучимых тоской по потерянной величии. Голлисты и социалисты группируются вокруг одного и того же лозунга: национальная независимость. Где зародился этот лозунг — в интегральном национализме Морасса, или в патриотизме якобинцев?

Обновление Франции, развитие ее экономики — вот задачи, которые стоят перед нацией в целом. Неотложные реформы наталкиваются на препятствия, которые воздвигнуты не трестами и не умеренными выборщиками. Люди, которые держатся за устаревшие формы жизни и за устаревшие формы производства, не принадлежат обязательно к «капитанам промышленности»; «капитаны» часто голосуют за левых. Методы проведения в жизнь того, что должно быть сделано, не указывают на преимущество только одного определенного политического блока или только одной идеологии.

Я сам — поклонник кейнсианства с некоторой примесью симпатий к либерализму; я сторонник сговора с Тунисом и Марокко, и я убежден в том, что Атлантический Пакт есть лучшая гарантия мира; во мне будут видеть то правого, то левого, в зависимости от того, рассматривается ли экономическая политика, африканский вопрос или отношения Восток — Запад.

Только отбросив двусмысленные понятия можно внести некоторую ясность во французскую неразбериху. Нужно всмотреться в действительность, нужно рассмотреть цель, чтобы увидеть бессмысленность политико-идеологических амальгам, которыми жонглируют революционеры, обладающие большими сердцами, но легкомысленными головами, и журналисты, нетерпеливо жаждущие успеха.

В противоречиях обусловленных обстоятельствами и в непостоянстве политических объединений все же можно рассмотреть одну большую семью людей духа. Каждый, кем бы он не был, волен оправдывать выбор своих друзей... Но, закончив эту книгу, посвященную той семье, из которой я вышел, я склоняюсь к разрыву этих связей; не для наслаждения одиночеством, но для того, чтобы найти новых друзей среди тех, кто способен бороться не ненавистью, кто не надеется в сражениях на политическом форуме разгадать тайну назначения человека.

Сан-Сигизмон, июль 1954.

Париж, январь 1955.

Религия — это стон существа, подавленного насильем; душа бессердечного мира, дух бездушной эпохи. Это опиум для народа.

Карл Маркс

Марксизм — это на самом деле религия, но в порочном смысле этого слова. Он сродни как раз самым низким формам религиозной жизни и он настойчиво пользуется ими в полном согласии со словами Маркса, как опиумом для народа.

Симона Вейль

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Миф левых

Имеет ли еще смысл в наше время противопоставление понятий «правый» и «левый»? Всякий, ставящий этот вопрос, сейчас же вызывает подозрение. «Когда меня спрашивают», — писал Алэн¹⁾: — «имеет ли еще смысл раскол между правой и левой партиями, между людьми с правым и левым уклоном, мне сразу же приходит на ум, что человек, ставящий подобный вопрос, несомненно не левый». Эта опека над нашим мышлением не может нас обескуражить, так как она основана скорее на предрассудке, чем на разумно обоснованном убеждении.

«Левые», — по определению Литтрэ²⁾: — «это оппозиционная партия французских палат, партия, занимающая места влево от председателя». Но и это определение не звучит убедительно. Ведь партии меняются у власти: левая партия остается левой, даже если кабинет министров сформирован из ее членов.

Обычно, когда настаивают на значительности терминов «левый» и «правый», то не удовлетворяются утверждением, что будто бы в самой механике политической игры заключено некое стремление к образованию двух лагерей, разделенных постоянно колеблющимся центром. Тут скорее предполагается существование двух типов людей, занимающих в корне противоположные позиции; то ли существование двух образов мышления, приводящих к нескончаемому спору, сохраняющему свое постоянство, несмотря на изменение смысла терминов и характера политических учреждений, о которых ведется спор; то ли, наконец, предполагается возникновение двух лагерей, ведущих между собой нескончаемую вековую борьбу. Но может быть эти два типа людей, две эти философии, две партии существуют лишь в воображении историков, введенных в заблуждение делом Дрейфуса и спорным толкованием социологии избирательной борьбы?

Никогда не было единства между группировками, причисляющими себя к левым. Из поколения в поколение меняются их лозунги и про-

¹⁾ Эмиль Алэн — французский философ.

²⁾ Эмиль Литтрэ — известный лингвист, составитель «Словаря французского языка».

граммы. Имеют ли левые, боровшиеся в прошлом за конституционный режим, что-либо общее с сегодняшними левыми, утвердившимися в режимах народных демократий?

МИФ, ОБРАЩЕННЫЙ К ПРОШЛОМУ

Франция считается родиной антагонизма между левыми и правыми. До первой мировой войны эти термины почти не встречаются в политическом языке Великобритании, хотя они давно уже приобрели право гражданства во Франции. Престиж левых во Франции настолько велик, что некоторые умеренные или консервативные партии ухитрились усвоить кое-какие определения из словаря своих противников.

По общепринятому мнению, исключительные обстоятельства придали во Франции особую значительность этому антагонизму. Мировоззрение сторонников Старого режима³⁾ вдохновлялось католическим учением. Новый дух, подготовивший революционный взрыв, сталкивался с авторитарным принципом, который казался общим принципом и Церкви, и королевской власти. Прогрессивная партия в конце XVIII и большую часть XIX вв. боролась одновременно с тронem и с алтарем; она склонялась к антиклерикализму, потому что церковная иерархия отдавала предпочтение — или казалось, что отдает его — реакционной партии. В Англии свобода религии была и причиной и главной ставкой в игре революции XVII века, поэтому передовые партии сохранили там печать независимости, анти-конформизма, радикальности, христианского сектантства, но никак не атеистического рационализма.

Переход от Старого режима к современному общественному строю происходил во Франции с исключительной внезапностью и резкостью. По ту сторону Ламанша, в Англии, конституционный режим был введен постепенно: представительные учреждения вышли из Парламента, происхождение которого восходит к средневековым обычаям. В Англии XVIII и XIX вв. демократическая власть заменила собою власть монархическую, не уничтожив однако ее полностью, гражданское равенство стерло постепенно сословные различия. Идеи французской революции, ворвавшиеся бурей в Европу — суверенитет народа, подчинение власти законам, избираемое и полновластное народное представительство, уничтожение различий в личных правах — частью реализовались в Англии раньше, чем во Франции, и без того, чтобы народ сбрасывал свои оковы в прометеевом восстании. «Демократизация» в Англии оказалась общим делом соперничавших партий. Как ни называть французскую революцию — или ужасной революционной катастрофой или Великой, она разделяет историю Франции на-двое. Она как бы противопоставляет друг другу две Франции, из коих одна не желает исчезнуть с лица земли, а другая упорно продолжает вести крестовый поход против давнего прошлого. Каждая из них считает себя воплощением неизменного человеческого типа. Одна сторона говорит о семье, авторитете, религии; другая — о равенстве, разуме, свободе.

³⁾ Старый режим — Ancien Régime — французский дореволюционный монархический режим.

Одни уважают создававшийся веками порядок, другие исповедуют веру в способность человека построить новое общество на научных основах. Правая партия, партия традиций и привилегий, противопоставляется левой — партии будущего, партии разума.

Это классическое представление не неверно, оно содержит половину истины. Во всех слоях общества существуют эти два типа людей (хотя и не все французы принадлежат обязательно к одному из них). Господин Оме⁴⁾ противопоставляется господину кюрэ, Алэн и Жорес — Тэну и Моррасу, Клемансо — Фошу. При некоторых обстоятельствах, когда конфликты приобретают главным образом идеологический характер, — в вопросе ли о школьном законодательстве, в деле Дрейфуса или в вопросе отделения церкви от государства, — начинается формирование двух блоков, каждый из которых считает только себя правоверным. Но почему до сих пор никто не подчеркнул с достаточной силой, что теория возникновения двух блоков по существу обращена к прошлому, что цель этой теории — скрыть безвыходные ссоры, терзающие каждый из этих блоков? История Франции с 1789 года характеризуется именно неспособностью объединенных правых или объединенных левых партий править страной. Миф о единой левой партии — это всего лишь фиктивная компенсация ее неудач, последовавших за 1789 и 1848 гг.

За исключением нескольких месяцев между февральской революцией и июнем 1848 года, до укрепления III Республики, левое крыло во Франции всегда было оппозиционным (отсюда отождествление левых с оппозицией). Оно противопоставляло себя реставрации, потому что видело в себе наследника революции. От революции оно унаследовало свои исторические титулы, в ней же черпало мечты о прошедшей славе и надежды на будущее; но левое крыло так же раздиралось противоречиями, как то великое историческое явление революции, на которое оно опиралось. Это тоскующее о прошлом левое крыло обладало лишь мифическим единством. Оно никогда не было единым, начиная с 1789 до 1815 гг.; не было оно единым и в 1848 г., когда падение орлеанской монархии позволило республике заполнить конституционную пустоту. Но и правое крыло тоже не было единым. В 1815 году монархическая партия делилась на крайних, мечтавших о восстановлении Старого режима, и умеренных, склонившихся перед совершившимся. Возвращение Людовика-Филиппа вынудило легитимистов ко внутренней эмиграции; восшествие на престол Людовика-Наполеона не смогло примирить орлеанистов и легитимистов, хотя и те и другие враждебно относились к узурпатору.

В гражданских междоусобицах XIX века повторяются те же столкновения, которые придали событиям революции драматический характер. Неудача конституционной монархии привела к полупарламентской монархии; неудача последней — к республике, которая снова выродилась в плебисцитную империю. Точно также безжалостно боролись между собой конституанты, фельяны, жирондисты, якобинцы, чтобы в конце концов уступить место коронованному генералу. Они не были группировками, борющимися только за власть; они были несогласны

⁴⁾ Господин Оме — персонаж из «Мадам Бовари» Флобера.

между собой и относительно применения политических средств, и размера реформ. Только во враждебном отношении к Старому режиму объединялись монархисты, мечтавшие дать Франции конституцию подобную английской, с теми, которые мечтали о чем-то вроде справедливого распределения благ.

Мы не ставим себе задачей отыскать причины, направившие революцию в это русло катастроф. Ферреро⁵⁾ любил, на склоне своей жизни, подчеркивать различие между двумя формами революции — революцией конструктивной, склонной к расширению народного представительства и к поддержанию известной свободы — и революцией разрушительной, происходящей вследствие развала основ какой-либо династии и отсутствия преемственной власти, могущей ее заменить. Такое различие весьма убедительно. Конструктивная революция неотделима от законно развивающейся системы народного представительства, социального равенства, личной и интеллектуальной свободы, — в то время как разрушительная революция несет на себе ответственность за террор, войны, тиранию. Легко себе представить монархию, которая понемногу, самостоятельно, ввела бы все то, что нам издали кажется делом революции. Но идеи, вдохновляющие революцию, хотя и кажутся совместимыми с монархией, но на самом деле подрывают ту систему мышления, на которой основывался престол; они вызывают кризис преемственной власти, из которого возникают страх за будущее и террор. Во всяком случае для всех ясно, что Старый режим во Франции рухнул сразу, почти не защищаясь, и что Франции понадобился целый век, чтобы обрести, наконец, режим, приемлемый для большинства нации.

Социальные последствия революции стали очевидными и были признаны нерушимыми к началу XIX века. Стало невозможным отменить уничтожение привилегий, гражданский кодекс, равенство граждан перед законом. Но выбор между монархией и республикой еще не был сделан. Влечение к демократии не было связано с парламентарным режимом; бонапартисты уничтожили политическую свободу как раз во имя демократических идей. Никто из серьезных писателей не признал существования во Франции того времени левого крыла, объединенного одним устремлением, охватывающим всех наследников революции в противовес защитникам старой Франции. Прогрессивная партия это миф, изобретенный оппозиционерами; миф, которому не соответствовала никакая реальность, основанная на выборном праве.

Когда стало ясно, что республика выживет, Клемансо объявил, вопреки всякой исторической очевидности, что «революция — это блок». Это предложение ознаменовало конец старых споров в лагере левых. Демократия примирилась с парламентаризмом, был утвержден принцип, что всякая власть происходит от народа, и на сей раз всеобщее голосование стало охранять свободу, а не возможность воцарения нового тирана. Либералы и эгалитаристы, умеренные и экстремисты не имели больше повода для взаимоуничтожения или борьбы: цели, которые ставили себе разные партии, вдруг оказались достигнутыми одновременно всеми. III Республика, будучи в одно и то же время и

⁵⁾ Гуильомо Ферреро — итальянский историк.

конституционным и народным режимом, закрепленным всеобщим голосованием, объявила фиктивный блок революции своим славным предком.

Но в тот момент, когда устойчивость III Республики покончила со спорами внутри левого буржуазного крыла, выявился новый раскол демократической мысли, таившийся в ней вероятно еще со времен Бабефа. Левые, борющиеся против капитализма, заняли место левых, боровшихся против Старого режима. Это новое левое крыло, требовавшее народной собственности на орудия производства и государственной организованной экономической деятельности, вряд ли вдохновлялось теми же целями, что и бывшее левое крыло, восставшее против королевского произвола, привилегий и корпоративных организаций.

Марксизм дал формулировку, которая одновременно подчеркивала и непрерывность истории и разрыв между старым и новым левым крылом. Четвертое сословие следовало за третьим, пролетариат сменил буржуазию. Последняя разорвала цепи феодального строя, вырвала людей из уз местных общин, личных привязанностей, религии. Но индивидуумы, освобожденные от традиционных пут и опеки, оказались беззащитными, отданными во власть слепого механизма экономики рынка и всемогущества капиталистов. Пролетариат должен был закончить освобождение и установить человеческий порядок на месте хаоса либеральной экономики.

В зависимости от страны, школы мышления и обстоятельств, подчеркивался то освободительный, то организационный аспект социализма. Ставится ударение то на разрыве с буржуазией, то на преемственности от Великой Французской Революции. Социал-демократическая партия в Германии до 1914 года любила подчеркивать свое безразличие к чисто политическим ценностям демократии и не скрывала слегка презрительного неодобрения поведения французских социалистов, упорно защищавших всеобщее голосование и парламентаризм.

Во Франции конфликт между буржуазной демократией и социализмом выявляется так же, как и прошлые конфликты между различными течениями буржуазного левого крыла; серьезность конфликта отрицается с тем большей силой, чем резче он развивается на самом деле. Еще недавно, пожалуй, перед второй мировой войной, левые интеллигенты во Франции редко толковали марксизм в буквальном смысле; они не признавали основного противопоставления пролетариата всем сторонникам прошлого, включая и буржуазных демократов. Философия, под которой они не задумываясь расписывались, была философией Жореса, связывавшего марксистские элементы с идеалистической метафизикой и предпочтением реформ революции. Коммунистическая партия больше преуспевала во время народного фронта или резистанса, чем во время применения тактики «класс против класса». Многие из тех, кто за нее голосует, упорно хотят видеть в ней наследницу эпохи просвещения, партию, которая более удачно продолжает дело, начатое другими левыми фракциями.

Да, ни одна социальная история других европейских стран не знает таких трагических эпизодов, как июньские дни 1848 года и Коммуна. Социалисты и радикалы сообща восторжествовали при выборах

1924 и 1936 гг., но оказались не в состоянии сообща управлять страной. И в тот день, когда социалистическая партия окончательно включилась в правительственные коалиции, коммунисты стали главенствующей рабочей партией. Периоды торжества левого блока, торжества объединения антиклерикалов и социалистов во время дела Дрейфуса и разработки законов об отделении церкви от государства, менее характерны для Франции, чем раскол между буржуазией и рабочим классом, проявившийся во взрывах 1848, 1871, 1936, 1945 гг. Единство левых является не столько отражением, сколько маскировкой французской реальности.

Так как прогрессивная партия оказалась не в состоянии достичь своих целей, она задним числом выдумала существование борьбы двух начал — добра и зла, будущего и прошлого. Так как буржуазной интеллигенции⁶⁾ не удалось включить рабочий класс в нацию, она стала мечтать о левом крыле, которое охватывало бы представителей третьего и четвертого сословий. Такие левые не всегда были мифом. Перед избирателями они иной раз являлись в виде политического блока. Но так же, как и революционеры 1789 года объединились только задним числом, когда реставрация отбросила в оппозицию и жирондистов, и якобинцев, и бонапартистов, точно так же и радикалы и социалисты окончательно спелись только перед лицом неуловимого врага — реакции — в момент устарелой борьбы за внецерковный характер образования.

ИСКАЖЕНИЕ ЦЕННОСТЕЙ

В последнее время, в особенности после хозяйственного кризиса 1930 года, на основных мыслях левых партий стал заметен налет марксизма, но марксизма не вполне правоверного; этот вид марксизма был занесен в Европу и в Соединенные Штаты студентами, уроженцами Африки и Азии. Левые стали называть себя антикапиталистами, смешивая в одно требование национализации орудий производства с неприязнью к концентрации экономической власти и с недоверием к механизму рыночного хозяйства. Держись левее — *keep left* — вот выражение, ставшее модным в Англии. Оно указывало путь, ведущий через национализацию производства и контроля государства над хозяйственной деятельностью — к экономическому равенству. Возможно, что этот вид марксизма способствовал созданию современного облика левого крыла, долженствующего воплотить в себе будущее и заменить собой капитализм. Совпадение двух тенденций — стремление к социальным реформам и возмущение против правящего меньшинства создали то положение, в котором родился и процветает миф левых.

Для Европы того времени был характерен двойной раскол — как внутри левых, так и внутри правых партий, раскол вызванный появлением фашизма и коммунизма. Вне Европы, во всем остальном мире,

⁶⁾ Русское слово в подлиннике.

характерным был хаос, внесенный в политические и социальные ценности, имеющие значение для Европы, но искаженные на почве неевропейских цивилизаций.

Нельзя безнаказанно применять термины, взятые из политического словаря Запада, для объяснения внутренних конфликтов наций, принадлежащих к другим цивилизациям. Это становится особенно опасным, когда борющиеся партии пытаются ссылаться на западные идеологии. В иных обстоятельствах идеологии принимают значение как раз полностью противоположное первоначальному. Одно и то же парламентское учреждение может исполнять или прогрессивную или консервативную функцию, в зависимости от того социального класса, который это учреждение установил и направляет его.

Когда благонамеренные офицеры, вышедшие из мелкобуржуазной среды, распускают парламент, находившийся в руках магнатов, и ускоряют этим развитие национальной экономики, как их назвать — «левыми» или «правыми»? Офицеры, уничтожившие конституционные гарантии (иными словами, установившие военную диктатуру), не могут называться левыми. Но и плутократы, употреблявшие выборные или представительственные учреждения для сохранения своих привилегий, тоже не заслуживали этого славного эпитета.

В странах Южной Америки или Восточной Европы не раз происходило подобное столкновение. Подражая Европе, там создавали парламенты, вводили право голоса; но массы были безграмотны и средний класс слаб: либеральные учреждения неизбежно монополизировались «феодалами» или «плутократами», крупными собственниками и их союзниками из государственного аппарата. Можно ли назвать диктатуру Перона, поддерживаемую *descamidos*, презируемую крупной буржуазией, державшейся за свои привилегии и парламент ею же созданный и защищаемый, левой или правой? Политические, социальные и экономические ценности левых, относительно которых в Европе пришли к известному взаимопониманию, в иных странах вызывают полный разброд во мнениях.

Возможность этого разброда никогда не игнорировалась теоретиками политики. Уже греческие авторы описывали две типичных ситуации, при которых возникают мощные движения, не принадлежащие ни к аристократическому правому крылу, ни к либеральному левому.

В индустриальных обществах XX века подобная коалиция объединяет: крупных капиталистов, страшущихся захватнического социализма; промежуточные группы, считающие себя жертвой плутократов и пролетариата, защищенного профсоюзами; самых бедных рабочих (сельскохозяйственные рабочие или безработные) и, наконец, националистов и активистов из всех социальных классов, которых раздражает медлительность действий парламентов.

В прошлом веке примеры подобного разброда встречались во Франции. Наполеон упрочил социальные победы революции, но заменил ослабевшую и слишком терпимую монархию личной деспотичной и действенной властью. Гражданский кодекс и диктатура так же мирно уживались в веке буржуазии, как пятилетки и тирания в веке социализма.

Для того, чтобы придать конфликтам в старой Европе первоначальную идеологическую чистоту, «фашистскую революцию» пыта-

лись объяснить как крайний вид реакции. Вопреки всякой очевидности забывали то, что «коричневые рубахи» были такими же смертельными врагами либеральной буржуазии и аристократии, как и социал-демократии. Упорно утверждалось, что «правые» революции оставляют у власти тот же капиталистический класс и только подменяют полицейским деспотизмом более тонкую механику парламентской демократии. Какова бы ни была роль, сыгранная «Великим Капиталом» в пришествии фашизма, приравнивание «национальных революций» к некоей разновидности реакции или к надстройке над монопольным капитализмом искажает их историческое значение.

Конечно, если сопоставить большевизм с франкизмом, то первый можно не колеблясь назвать левым, а второй правым. Большевизм заменил собой традиционный абсолютизм, уничтожил прежний правящий класс, создал коллективную собственность на орудия производства; он пришел к власти при помощи рабочих, крестьян, солдат, жаждавших мира, хлеба и земли. Франкизм же заменил собой парламентский режим, финансировался и поддерживался привилегированным классом (крупными собственниками, фабрикантами, церковью, армией), он победил на полях битвы гражданской войны, благодаря марокканским частям, благодаря участию карлистов на своей стороне и, наконец, благодаря немецкому и итальянскому вмешательству. Первый ссылается на левую идеологию — рационализм, прогресс, свободу; второй на контрреволюционную идеологию — семью, религию, авторитет. Но в иных случаях не так легко установить антитезис социализма. Национал-социализм мобилизовал те же массы несчастных, которые шли на призыв социалистической и коммунистической партии. Гитлер получал деньги от банкиров и фабрикантов, некоторые видные генералы видели в нем единственного человека, способного вернуть Германии ее бывшее величие; но не это заставило миллионы людей поверить в Фюрера, — они пошли за ним потому, что не верили больше ни в выборы, ни в партии, ни в парламент. Расцвет капитализма в Германии и сила кризиса, связанного с последствиями проигранной войны, создали положение, аналогичное положению начала индустриальной эпохи: полное бессилие парламента, экономическая разруха, назревание восстания среди погрязших в долгах крестьян и безработных, миллионы безработных интеллигентов, ненавидевших либералов, плутократов и социал-демократов, извлекающих по их мнению личную выгоду из создавшегося положения.

Привлекательность партий, именующихся тоталитарными, усиливается, или имеет опасную тенденцию усиливаться, всякий раз, когда стечение тяжелых обстоятельств показывает несоответствие между возможностями парламентарных режимов и нуждами масс, вовлеченных в производственный процесс. Искушение принести в жертву политическую свободу во имя эффективного действия не умерло вместе с Гитлером и Муссолини.

Национал-социализм становился все менее и менее консервативным по мере того, как продолжалось его властвование. Командиры армии, потомки знатных фамилий были вскоре повешены на крюках мясников рядом с лидерами социал-демократии. Плановость хозяйства выявлялась все заметнее; партия пыталась выковать новую Германию, да и всю Европу, соответственно своей идеологии, и выковала бы, если

бы это ей удалось. Не похож ли гитлеровский режим слиянием партии с государством, подчинением себе автономных организаций, превращением партийной доктрины в национальное вероисповедание, жестокостью средств и гипертрофией полицейской власти скорее на режим большевиков, чем на мечты контрреволюционеров?

На это можно возразить, что гитлеровский тоталитаризм правого толка, а сталинский — левого; что первый черпает свои идеалы из контрреволюционного идеализма, а второй — из революционного рационализма; что первый считает себя, по существу, обособленным — национальным или расовым, а второй — универсальным, возникшим из одного класса, избранного историей. Но так называемый левый тоталитаризм через 35 лет после революции воспекает великорусскую нацию, преследует космополитизм, продолжает сохранять суровые полицейские меры и требует точного соблюдения доктрины, — короче говоря, отбрасывает либеральную ценность личности, которую пыталась ввести эпоха Просвещения в противоположность произволу и обскурантизму Церкви.

На первый взгляд, более ценной может показаться аргументация, связывающая террор и общеобязательную догматику с нуждами индустриализации. При таком понимании, большевики — это преуспевшие якобинцы, которым удалось, благодаря счастливому стечению обстоятельств, расширить свое влияние. Так как и Россия и другие страны, обращенные к новой вере, экономически отставали от Запада, то эта секта, убежденная в том, что она воплощает в себе дело прогресса, должна была начать свое царствование с требования от народа лишения и жертв. Е. Берк тоже верил, что якобинское государство уже само по себе является агрессией против традиционных режимов, что война между обоими лагерями неизбежна и нескончаема. Но упадок коммунистического пыла, повышение жизненного уровня позволят завтра преодолеть этот раскол. И тогда наконец откроют, что оба лагеря отличались не столь целями, сколь методами.

Итак, задним числом можно признать, что левые, восстававшие против Старого режима во Франции, стремились к разным целям, которые не были ни противоречивыми, ни общими для всего левого крыла. Благодаря революции, Франция реализовала на бумаге, в текстах законов, социальное равенство раньше других европейских стран. Но падение монархии и сведение к нулю политической роли привилегированных классов продлили на целый век неустойчивость всех французских режимов. Ни личная свобода, ни конституционный характер власти не уважались во Франции между 1789 и 1880 гг. больше, чем в Англии. Либеральная партия Англии, больше заботившаяся о *habeas corpus*, о суде присяжных, о свободе печати, о представительственных учреждениях, чем о монархической или республиканской форме правления, всегда была бессильным меньшинством. Великобритания ввела всеобщее голосование только в конце века; но зато она не знала ничего подобного плебесцитарному цезаризму, гражданам не приходилось бояться произвольных арестов, газетам — цензуры или конфискации.

Не происходит ли нечто подобное, скажут нам, у нас на глазах? Не принимается ли совершенно ошибочно за конфликт между принципами конфликт методов действия? Развитие промышленного общества и интеграция масс — всеобщие явления. Если не государственное пла-

новое хозяйство, то, по крайней мере, государственный контроль промышленности, участие профсоюзов в общественной жизни и легальная защита рабочих представляют собой минимальную программу современного социализма. Там, где экономическое развитие достигло высокого уровня, где уже глубоко укоренилась как демократическая идея, так и практика, лейбористский метод позволяет провести промышленную организацию масс, не жертвуя свободой. Но там, где, как в России, экономическое развитие отставало, где государство остановилось на стадии абсолютизма и не было приспособлено к требованиям современности, там достигшая власти революционная группа была вынуждена ускорить индустриализацию, насильно принудить народ к жертвам и насильно ввести необходимую дисциплину. Советский режим носит отпечаток якобинства и отражает нетерпение планировщиков. Но он обязательно приблизится к демократическому социализму по мере того, как будет прогрессировать в нем идеологический скептицизм и стремление к мещанскому благополучию.

Для того, чтобы согласиться с этой довольно оптимистической точкой зрения, нужно отодвинуть примирение между левыми — коммунистами и левыми — социалистами в неопределенно далекое будущее. Когда коммунисты перестанут верить в универсальность своего призвания? Когда расширение производства позволит смягчить полицейский и идеологический гнет? Сейчас столько сотен миллионов людей страдают от нищеты, что доктрине, обещающей всеобщее богатство, понадобятся еще века монопольной рекламы, чтобы прикрыть несоответствие между мифом и реальностью. Наконец, следует заметить, что примирение политических свобод с плановой экономикой может оказаться значительно труднее, чем согласование социальных завоеваний с политическими целями французской революции, для которого потребовался целый век усилий.

Может ли плановая экономика быть делом рук не-авторитарного государства?

Не приносят ли левые одновременно со своей диалектикой прогресса еще худшее насилие, чем то, против которого они восставали в прошлом?

ДИАЛЕКТИКА ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ

Левые сформировались из определенной идейной оппозиции. Они обличали социальный порядок, который был несовершенным, как несовершенно все, создаваемое человеком. Но как только левые победили и, в свою очередь, приняли ответственность за судьбу общества, правые, ставшие оппозицией или контрреволюцией, без труда доказали, что левые не олицетворяют свободу в противоположность власти, не народ в противоположность привилегированному классу, но всего лишь один вид власти в противоположность другому, один привилегированный класс вместо другого. Для того, чтобы увидеть обратную сторону, определить истинную цену какой-либо революции, достаточно выслушать критику представителей павшего режима, реабилитированных картиной вновь воскресшего неравенства; так это было с

консерваторами в начале XIX века, так это происходит с капиталистами-либералами в наши дни.

Социальные взаимоотношения в перспективе веков обычно кажутся более гуманными. Неравенство положения между членами разных сословий не исключает известного взаимопонимания. Оно оставляет место для искренних обменов услугами. Задним числом воспеваются красота личных связей, восхваляются добродетели верности и преданности, противопоставляя их холодности в отношениях индивидуумов, равных лишь в теории. Вандейцы боролись за свой мир, а не за свои оковы. По мере того как события все больше удаляются от нас во времени, мы все охотнее подчеркиваем контраст между счастьем вчерашних подданных и страданиями современных граждан.

Контрреволюционные полемисты сравнивают послереволюционное государство с монархическим, индивидуума, незащищенного перед произволом богачей и власть имущих с французскими горожанами и жителями деревень, которых Старый режим объединял в общинах, построенных по человеческой мерке. Совершенно очевиден тот факт, что государство Комитета Общественного Спасения, государство Бонопарта или Наполеона брали на себя больше обязательств, чем государство Старого режима. Ни один законодатель-властелин XVIII века не решился бы на массовую мобилизацию. Уничтожение личного неравенства привело за собой не только избирательные бюллетени, но и военную службу, которая стала всеобщей гораздо раньше, чем было провозглашено право всеобщего голосования. Революционер упирает в этом споре на уничтожение абсолютизма, на участие народных представителей в законодательстве, на замену произвола конституцией, увенчанной косвенно избранной исполнительной властью. Контрреволюция напоминает, что власть, бывшая раньше в принципе абсолютной, фактически ограничивалась обычаями, привилегиями многих промежуточных сословий, неписанными законами.

Социалисты повторяют часть возражений контрреволюционеров. Устранение личных привилегий не привело однако только к денежным различиям между людьми. Аристократия потеряла свое политическое положение, свой престиж и, в значительной мере, экономическую опору своего социального преимущества — земельную собственность. Но под предлогом равенства, буржуазия тотчас же монополизировала государственное богатство. Одно привилегированное меньшинство заменилось другим. Какую пользу извлек из этого народ? Но социалисты не останавливаются на этом, они склонны соглашаться с контрреволюционерами еще и в критике индивидуализма. Они с тем же ужасом описывают джунгли, в которые попали теперь свободные индивидуумы, борющиеся друг с другом, в одинаковой степени подверженные случайностям рыночного хозяйства, непредвидимым переменам хозяйственной конъюнктуры. Лозунг «организация» прибавился к лозунгу «освобождение» и старается вытеснить его; сознательная организация экономической жизни в коллективе должна изгнать слабых от власти сильных, бедняков от эгоизма богачей, а саму экономику от анархии. Но та же самая диалектика, которая характерна для перехода старой Франции к буржуазному обществу, является вновь, но в более тяжелой форме, при переходе от капитализма к социализму.

Изобличение трестов, концентрации крупных средств производства в руках частных лиц становится излюбленной темой левых. Они ссылаются на народ и громят тиранов. В главаре треста они видят портрет современного вельможи, угнетающего простых смертных и тормозящего общий прогресс, но решение, приемлемое для левых партий, состоит не в уничтожении трестов, а в передаче государству контроля над некоторыми отраслями промышленности и над большими предприятиями. Оставим в стороне классическое утверждение, что национализация не уничтожает, а чаще только усугубляет экономические недостатки промышленной гигантомании. Бюрократически-техническая иерархия, в которую включены и рабочие, не меняется при перемене статута собственности. Директора национализированных заводов Рено или угольных копей Франции могут, как и в прошлом, подсказывать правительству решения, идущие на пользу их предприятий. Правда, национализация исключает тайное политическое влияние, которым попрекали магнатов промышленности и которым они по временам действительно обладали. Но способы действия, утерянные хозяевами трестов, переходят теперь к хозяевам государства. Их ответственность возрастает по мере того, как уменьшается ответственность промышленников. Если при этом положении государство остается демократическим, оно рискует стать одновременно всеохватывающим и слабым. Когда же государством завладевает одна политическая партия, то она завершает, в своих интересах, то объединение экономической и политической власти, в котором левые обвиняли тресты.

Современный производственный аппарат немыслим без иерархии, которую мы назовем бюрократически-технической. На верхней ступени восседает организатор или директор, но никак не обычный инженер или техник. Те виды национализации, которые проводились как во Франции, так и в Великобритании и в России, не защищают рабочего от его технических руководителей; не защищают они и потребителя от произвола трестов; они лишь исключают акционеров, членов совета администрации, финансистов, тех, кто участвовал в деле скорее теоретически, чем реально, исключают и тех, кто мог влиять на судьбу предприятий, спекулируя акциями. Мы не пытаемся подвести здесь итог плюсов и минусов национализации, а ограничимся лишь констатацией, что в этих случаях реформы левых приводят всего лишь к перераспределению власти между привилегированными. Эти реформы не возвышают ни бедняка, ни слабого, не унижают богача и сильного.

Технически-бюрократическая иерархия в западных обществах ограничивается лишь одним сектором промышленного аппарата. Вне этого сектора остаются многочисленные предприятия небольших и средних размеров; сельское хозяйство сохраняет ряд сословий (крестьянин-собственник, арендатор, наемный рабочий); система распределения сохраняет и великанов и гномов — большой магазин и мелочную лавочку на углу. Структура западных обществ весьма сложна: потомки до-капиталистической аристократии, семьи разбогатевшие уже несколько поколений тому назад, частные предприниматели, крестьяне-собственники поддерживают разнообразие социальных взаимоотношений и устойчивость независимых группировок. Миллионы людей могут жить вне государства. Обобществление технически-бюрократического аппарата означало бы ликвидацию этого многообразия; ни один человек не был

бы больше подчинен другому человеку как частному лицу: все были бы подчинены государству. Левые пытаются освободить индивидуум от закрепощения со стороны ближнего; но ведь они могут прийти к тому, что загонят человека под иго государственной администрации, далекой в теории, но вездесущей на практике. А чем большую часть общества перекрывает государство своей опекой, тем меньше шансов остается у него быть демократическим, то есть быть объектом для мирного соревнования между сравнительно независимыми группировками. Не возникнет ли у людей стоящих у власти непреодолимого соблазна отказаться от поддержки или критики масс в тот день, когда все общество превратится в одно гигантское промышленное предприятие?

По мере развития индустриальной революции, пережитки традиционных взаимоотношений местных общин уже не кажутся тормозом демократии; они скорее являются нам в виде препятствий против поглощения личности чрезмерно возросшей бюрократией — бесчеловечным чудовищем, порожденным промышленной цивилизацией. Эти традиционные иерархические отношения — старые междоусобицы, возводят препятствия перед тоталитарными стремлениями социализма. Консерватизм становится союзником либерализма против анонимного социалистического деспотизма. Если бы лопнули эти тормоза, унаследованные от прошлого, ничто бы больше не препятствовало возникновению тотального государства.

Таким образом оптимистической картине истории, концом которой должно стать освобождение, противопоставляется картина пессимистическая: тоталитаризм, порабощение тела и души как конец движения истории, начавшегося с уничтожением сословий и пришедшего к уничтожению всякой автономии, как личной, так и групповой. Советский опыт поддерживает этот пессимизм, к которому еще в прошлом веке склонялись ясные умы. Токвиль показал с удивительной ясностью, к чему приведет безудержное движение демократизации, когда представительные учреждения будут снесены нетерпением масс, когда погибнет смысл свободы, аристократический по своему происхождению. Такие историки, как Брукгардт и Эрнест Ренан, больше боялись в будущем падения цезаризма, мало надеясь на всеобщее примирение людей.

Мы не подписываемся ни под той, ни под другой картиной. Под неизбежными изменениями техники производства, экономических отношений, разбухания государственного аппарата нельзя подразумевать лишь две возможности: освобождение или порабощение. Но всякое освобождение несет в самом себе опасность новой формы порабощения. Миф левых создает иллюзию, что движение истории направлено к благополучному концу, что оно накапливает лучшие приобретения прошлых поколений. Принято считать, что, благодаря социализму, реальная свобода прибавляется к свободе формальной, выкованной буржуазией. На самом деле история диалектична, но не в том узком значении этого слова, которое ему сегодня придают коммунисты. Режимы не антогонистичны, переход от одного режима к другому не обязательно совершается при помощи разрыва и насилия. Но каждый новый режим несет в себе новые угрозы для человека и, таким образом, одни и те же учреждения меняют свое значение с изменением режима. Против плутократии применялось всеобщее голосование; против развивающейся

технократии — пытаются сохранить местную или профессиональную автономию.

При каждом режиме необходимо найти благоразумный компромисс между крайними, несовместимыми требованиями. Рассмотрим стремление к уравниванию доходов. При капиталистической системе одним из способов сокращения пропасти между богачами и бедняками является налоговая система. Этот способ весьма действенен, если только прямой налог справедливо распределяется и собирается и если национальный поголовный доход достаточно высок. Но с известной точки зрения, меняющейся в зависимости от страны, сбор налогов вызывает укрывательство и обман, он угрожает естественной бережливости. Нужно примириться с известной мерой неравенства, неотделимой от принципа конкуренции. Необходимо примириться и с тем, что налог на наследство ускоряет распыление крупных богатств, но нельзя стремиться к их полному уничтожению. Нельзя бесконечно прогрессировать в отношении уравнивания доходов.

Будет ли и дальше стремиться к полностью плановой экономике человек левого толка, разочарованный сопротивлением фактов? Но в таком обществе возникнет новый род неравенства. Левые требуют равенства, пока находятся в оппозиции и пока производством благ занимаются капиталисты. Но в тот день, когда левые приходят к власти, они оказываются перед необходимостью примирять принцип максимальной продукции с заботой о имущественном равенстве. Что же касается плановиков, то они, по всей вероятности, потребуют за свои услуги не меньшие гонорары, чем их капиталистические предшественники.

Пока не существует на деле значительного увеличения коллективного дохода, а оно пока что лежит далеко за горами, каждый режим может выдерживать только известную дозу экономического равенства. Как только мы уничтожим какой-то вид неравенства, связанного с определенным видом экономики, — как немедленно, автоматически, создается другой. Степень уравнивания доходов ограничена и силой человеческого эгоизма, и общественными и моральными требованиями, не менее законными, чем протест против имущественного неравенства. Награждать наиболее активных, наиболее одаренных тоже справедливо и, вероятно, необходимо для повышения продукции⁷⁾. Абсолютное равенство в такой стране, как Англия, не дало бы тому меньшинству, которое поддерживает и обогащает культуру, условий, необходимых для его творческой деятельности⁸⁾.

Социальные законы, которые приветствуют левые и одобряет почти все общество, уже сейчас показывают свои недостатки; они не могут бесконечно распространяться, не урезая некоторых, не менее законных интересов. Семейные пособия, которые финансируются налогом

⁷⁾ Ни огромные доходы, ни крупные богатства не необходимы в наше время. Поэтому в странах капиталистических демократий первые постепенно переходят к государству, а вторые продолжают существовать, но теряют свое значение.

⁸⁾ Бертран де Жувенель высчитал, что для того, чтобы поднять до 250 фунтов в год доходы, стоящие ниже этого уровня, в 1947–1948 гг. пришлось бы после обложения налогами привести самые большие доходы к 500 фунтам в год. (The Ethics of redistribution. Cambridge University Press, 1951, p. 86).

на заработок, как это имеет место во Франции, поддерживают отцов семейств или стариков за счет молодых людей и холостяков, иными словами, за счет самой продуктивной части населения. К чему стремятся левые — к уменьшению страданий, или к экономическому прогрессу? В первом случае, коммунисты не относятся к левым. Но в эпоху, одержимую расчетами жизненного уровня, левые не-коммунисты так же должны заботиться о повышении продукции, как раньше заботились об этом капиталисты. И здесь социальная реальность оказывает сопротивление стремления к идеалу; это противоречие ясно раскрывается в противоречивости лозунгов «каждому по потребностям» и «каждому по заслугам».

В Англии, по статистике приведенной в Economist от 1 апреля 1950 года, семья в четыре человека, имевшая 500 фунтов дохода в год, получая в среднем 57 шиллингов пособия в неделю, платит 67,8 шиллингов в виде различных налогов и податей на социальное обеспечение. Дойдя до такой точки, политика социальных законов и налоговая система приводят к абсурду. Сокращение государственных расходов и налогов могут иметь в 1955 году совершенно противоположное значение тому, которое они имели в 1900 году. «Односторонний путь» может оказаться в политике пагубной иллюзией, монотеизмом, причиной катастроф.

Левые делают ошибку, требуя для некоторых механизмов престижа, справедливо принадлежащего только идеям: коллективная собственность или метод полной нагрузки должны оцениваться с точки зрения их действенности, а не по моральному вдохновению их приверженцев. Они сделали ошибку, придумав фиктивную непрерывность, в которой будущее всегда лучше прошлого, в которой прогрессивная партия всегда права перед консерваторами, и в которой все наследство можно считать своим и заботиться только о новых успехах будущего.

Еще никогда, ни при каком режиме, ни при традиционном, буржуазном или социалистическом, не были обеспечены полностью ни свобода духа, ни человеческая солидарность. Верными своим идеалам можно считать только тех левых, которые ссылаются не на свободу или равенство, а на братство, то есть на любовь.

МЫСЛЬ И РЕАЛЬНОСТЬ

Характерные особенности правой и левой оппозиции одинаковы почти во всех западных странах. Левые повсюду сохраняют свою вековую непримиримость к старому режиму, заботу о социальных преобразованиях, о полной нагрузке, о национализации средств производства. Но также повсюду на них ложится компрометирующая их тень сурового сталинского тоталитаризма, который видит в них своих союзников и от которого они сами не осмеливаются полностью отречься. Повсюду на Западе медлительность парламентских систем и нетерпение масс вызывают обесценивания и путаницу социальных и политических принципов, вызывает формирование враждебных фронтов, становится темой бесконечных споров.

Но резче всего различие левой и правой оппозиции выявляется при сравнении политической жизни Великобритании и Франции. Главари английских профсоюзов знают, что они входят в национальное единство и что они могут улучшить положение рабочих, не отказываясь от традиций и не прерывая конституционной преемственности. Что же касается английской коммунистической партии, то хотя она и не в состоянии выдвинуть ни одного депутата из своей среды, она все же, благодаря своей подрывной деятельности и инфильтрации, держит в своих руках несколько значительных позиций в профсоюзах и в числе своих членов насчитывает несколько значительных лиц и пользуется сочувствием среди интеллигенции. Однако эта партия не играет серьезной роли ни в политике ни в печати. Английские газеты «с левым уклоном» весьма влиятельны; они щедро дают советы другим — будь то европейцы или азиаты — пользоваться благами народного фронта или советского опыта; но им и в голову не приходит требовать того же для доброй старой Англии.

Благодаря отсутствию влияния фашистской или коммунистической партии, идейные споры в Англии касаются злободневных вопросов: в социальном плане они ведутся между сторонниками уравнилельных стремлений и сторонниками социальной иерархии, унаследованной от прошлого; в экономическом плане споры идут между сторонниками коллективизации (коллективная собственность, полная нагрузка, контроль) и сторонниками рыночного хозяйства. Таким образом мы видим эгалитаризм стоящий против консерватизма и социализм — против либерализма. Консервативная партия хочет задержать перераспределение доходов на достигнутом уровне; лейбористы, интеллигенты неофабианского толка хотели бы пойти дальше. Консервативная партия отменила контрольный аппарат, унаследованный лейбористами с времен войны: лейбористы поднимают вопрос о том, стоит ли частично восстановить контрольный аппарат, если они снова придут к власти.

Ситуация была бы более ясной, если бы в Англии было три партии вместо двух. В либерализме тори можно сомневаться. Среди людей, принадлежащих к умеренным левым (среди тех людей, которых мы так называли бы во Франции), людей здравомыслящих и не боящихся реформ, многие не хотят голосовать за социалистов, так как последние склонны к допущению государства в управление хозяйством. Дух независимых левых, никак не совпадающий с социалистическим духом, остается таким образом без представителей.

Исчезновение английской либеральной партии как политической силы отчасти объясняется обстоятельствами прошлого (кризис Ллойд Джорджа после первой мировой войны), отчасти избирательной системой безжалостно отбрасывающей третью партию. Но оно имеет также и объективное значение. Сущность либерализма — уважение личной свободы и мирных методов управления государством — не является уже больше монополией одной партии: она стала общим достоянием. Моральное воодушевление вызывают теперь в Англии социальные реформы: инициативу и ответственность за них взяли на себя лейбористы. В каком-то смысле, левые XIX века завоевали полную свободу: либерализм уже больше не свойствен только им. Лейбористская партия может показаться сегодня представительницей требований привилегированного класса.

В 1945 году размах победы лейбористов изумил их самих. В течение десяти лет они могли свободно издавать законы по своему желанию и они широко пользовались этим правом. Англия 1950 года, несомненно, глубоко разнится от Англии 1900 или 1850 гг. Неравенство доходов, которое полвека тому назад было в Англии самым большим среди всех западных стран, сегодня меньше, чем на материке. Родина частной инициативы являет сейчас пример почти завершенного социального законодательства. Одна отрасль тяжелой промышленности национализирована, сельскохозяйственные рынки организованы. Но, как не велики перемены, Англию, все же, можно узнать. Условия жизни и работы пролетариата улучшились, но не изменились в своих основах. Лейбористская дипломатия, имевшая успех в Индии и неудачи на Ближнем Востоке, по своей природе не отличается от политики консервативного правительства. Значит ли это, что в Англии не было социализма?

Обе стороны в недоумении. В лагере лейбористов интеллигенция особенно растеряна. В лагере консерваторов опять окрепла самоуверенность и они не сомневаются в том, что, как и в прошлом веке, Англия импортировала сущность европейских революций, но без кровопролития и без принесения в жертву вековых традиций.

«Новые фабианские очерки»⁹⁾ скорее выражают желание бороться с богатством как таковым, чем с бедностью. Они хотят уничтожить концентрацию богатства, позволяющую какому-либо индивидууму жить, не работая. Они хотят расширить обобществленный сектор хозяйства, чтобы сузить шкалу заработков. Но пока что частный сектор охватывает большую часть экономики и пока что он определяет уровень оплаты труда. Государство лишилось бы своих лучших слуг, если бы оно оплачивало заведующих национализированными предприятиями ниже, чем оплачиваются директора больших частных предприятий. Ослабить аристократический характер английского общества удалось бы только разорив старый правящий класс.

Подобные высказывания свойственны нормальному развитию этой доктрины. Выполнив большую часть своей программы, лейбористы не знают, следует ли считать современную фазу законченной или началом нового продвижения вперед. Умеренные готовы втихомолку принять тезис законченности и присоединиться к просвещенным консерваторам, которые тоже поднимают ряд экономических вопросов исторического значения. Как избежать инфляции, когда, в период полной загрузки, профсоюзы свободно договариваются с работодателями? Как поддерживать гибкость экономики, инициативу предпринимателей? Как ограничить или сократить налоговый побор? Где найти капиталы для вклада в предприятия, не имеющие достаточной гарантии в будущем? Короче говоря, как свободному обществу ассимилировать некоторую дозу социализма, гарантировать всеобщую обеспеченность, не задерживая продвижения наиболее одаренных людей и не замедляя развития своего коллектива?

Но в Англии все же диалог возможен между теми, кто разочарован недостаточными реформами лейбористов, и теми, кто боится продолжения проведения этих реформ; между теми, кто мечтает об уничто-

⁹⁾ New Fabian Essays, R. H. S. Crossman, London 1952.

жении неравенства и об увеличении национализированной собственности, и теми, кто заботится о поощрении инициативы и о наградах за повышение производительности; диалог возможен и между теми, кто верит в «физический контроль», и теми, кто хочет восстановить деятельность механизма свободного рынка. Правящий класс Англии благосклонно согласился пожертвовать частью своих богатств и своей власти. Он сохранил аристократический стиль, но продолжает искать соглашения с теми, кто воплощает в себе «волну будущего». Правые, быть может, и не любят новой Англии, которую левые считают своей. Но все ее принимают; кто из благоразумия, кто с восторгом. Когда Уинстон Черчилль, комментируя для широкой публики «Путь к рабству», намекнул на фатальную роль Гестапо в плановом хозяйстве, он никого не испугал, а вызвал лишь смех у многих избирателей. Может быть, через несколько десятков или сотен лет то, что сегодня кажется лозунгом предвыборной кампании, будет считаться пророчеством. В Англии политическая мысль современна настоящему. Этого нельзя сказать о французской политической мысли.

Идеологический хаос в современной Франции объясняется различными направлениями, которые принимает то левая то правая оппозиция, и в этой путанице в сильной мере виновны события. Допромышленная структура общества лучше сохранилась во Франции, чем в странах британского или скандинавского типа. Конфликт между Старым режимом и революцией во Франции почти так же злободневен, как конфликт между либерализмом и лейборизмом в Англии. Но французская мысль забегает вперед и уже видит перед собой опасности технической цивилизации и изобличает ее, в то время, как французы еще не видели от нее никакой пользы.

Разнородность социальной структуры Франции отражается и в разнородности ее партий. Судя по ответам в анкетах, коммунистические избиратели во Франции стремятся в большинстве случаев к тому же, что и левые лейбористы в Англии. Но если правда, что большинство коммунистических избирателей, сами того не подозревая, являются «бивенистами», то это не дает нам объяснения, а ставит перед нами вопрос: почему французские избиратели путаются там, где все ясно для британских, немецких или бельгийских избирателей? Противопоставление трех структур — западных департаментов Франции, ее недоразвитых районов, современных городов — может дать хотя бы некоторое объяснение этому.

С большей правдоподобностью, чем в протестантских государствах, коммунизм выдает себя во Франции за наследника буржуазной и рационалистической революции. Он набирает своих сторонников в районах пораженных экономическим застоем, по тем же причинам, которые обеспечили успех коммунизма в Африке и в Азии: он раздувает конфликты между наемными рабочими, арендаторами и землевладельцами; он повышает требования самых обездоленных; он использует недовольство, вызванное экономическим застоем. Наконец, в промышленных частях Франции ряды коммунистической партии пополняются рабочим классом, прельщенным революционной партией благодаря провалу реформистских профсоюзов и социалистической партии. Последствия этого провала — это слабая продуктивность в отсталых про-

винциях и сопротивление до-капиталистических элементов более динамическим.

Эта же социальная разнородность определяет и количество голосов поданных за коммунистическую партию, и границы распространения ее влияния. Существует еще много крестьян-собственников и мелких буржуа, враждебно относящихся к красным, но даже в самых медвежьих углах партия набрала довольно значительное меньшинство. Желание сохранить известный образ жизни достаточно укоренено во всех слоях населения Франции, — и все же промышленные департаменты отдавали коммунистам больше трети своих голосов.

Кадры Объединения Французского Народа все же разнородны, как и состав коммунистической партии, и по тем же причинам. Там, где еще не умерло воспоминание о борьбе между Старым режимом и революцией, между Церковью и школой не находящейся под церковным контролем, эта партия во многом походит на реакционные или умеренные партии; ее сторонники набирались из кадров классических правых партий или МРП. В городах на севере Франции избиратели Объединения иного типа: они сегодня присоединяются или к левым социалистам, или к МРП, или радикалам и умеренным. Комбинация коммунизма и традиционного национализма напоминает идеологию, так называемых, «правых революционных партий», которые пытаются заимствовать у левых их социальные ценности, а у правых — политические.

Социалистическая партия и одна фракция МРП мечтали создать во Франции после второй мировой войны нечто вроде лейборизма, но потерпели неудачу. Эту неудачу можно только отчасти приписать людям; в ней виновато прошлое: борьба между Церковью и революцией слишком еще актуальна; смешение коммунизма и передового социализма слишком часто вводит в заблуждение рабочих; привязанность к привычному образу жизни склоняет слишком многих мелких буржуа к консерватизму. «Французскому лейборизму» было суждено остаться неосуществленной мечтой.

Борьба между левыми и правыми и двусмысленность этой борьбы нигде не выражена так ярко, как во Франции: французский консерватизм, это тоже своего рода идеология. Утверждение, что Франция пережила свои славные времена, стало единственной темой во всех спорах нашего времени. Левые мысленно рисуют себе прямолинейный ход истории, в которой, в конце концов, Георгий Победоносец победит змея. Но те, кто не желает больше признавать ни левых, ни правых, все же иной раз мысленно переносятся в рационализированное общество, из которого планировщики изгнали нищету, но вместе с ней и фантазию и свободу. Политическая мысль во Франции или обращена к прошлому, или утопична.

Но и политическая деятельность подчас тоже стремится оторваться от настоящего. План социального страхования, примененный во Франции, опережает свое время; организация торговли отстает от развития промышленности. Францию подстерегают ошибки тех стран, в которых индустриализация проводится по иностранному образцу. Введение новых машин и постройка новых заводов приводит к несоответствию технических норм, рассчитанных инженерами, с нормами эконо-

мическими, меняющимися в зависимости от обстановки. Современная налоговая система может быть действенной постольку, поскольку налогоплательщики принадлежат к тому же типу людей, что и законодатели и податные инспектора. Но, по всей вероятности, ни одна налоговая система не будет иметь успеха в хозяйстве, обходящемся без счетоводов — будь то сельскохозяйственное, кустарное или коммерческое предприятие.

Во Франции любят воевать с капитализмом. Но где эти капиталисты, с которыми нужно бороться? Несколько известных основателей заводов или торговых союзов, потомки Ситроена, Мишлена или Буссака? Католические и благонамеренные семьи фабрикантов в Лионе или на севере Франции? Ведущие кадры промышленности, директора частных или государственных предприятий? Большие банки, частично находящиеся под государственным контролем? Директора маленьких и средних предприятий, из которых некоторые показывают пример благоразумного руководства, а другие кажутся нам искусственно охраняемыми пережитками прошлого? Капитализм Маркса — Уолл Стрит или колониализм — более удобная мишень для брани, чем этот разнообразный и расплывчатый капитализм, эта буржуазия, охватывающая гораздо большую часть здорового меньшинства народа, чем это заметно на поверхности политической жизни.

Но во Франции все же можно точно определить анти-капиталистическое левое крыло и левых кейнезианцев или анти-мальтузианцев, но при одном условии: не ограничиваться схемой левых и правых или марксистскими схемами и признать разнообразие современных споров, разнообразие структур, составляющих современное общество, разнообразие вытекающих из этого проблем и методов, необходимых для их решения. Историческое сознание открывает перед нами это разнообразие, идеология же скрывает его даже тогда, когда кутается в отрепья философии истории.



Левые движимы тремя идеями, не обязательно противоречивыми, но чаще всего расходящимися между собой: идеей **свободы** против произвола властей и во имя безопасности людей; идеей **организации**, то есть замены привычного традиционного порядка, или привычной анархии, личной инициативы, рациональным порядком; идеей **равенства** против родовых или имущественных привилегий.

Левые, стремящиеся к «**организованности**», склоняются к **авторитаризму**, так как считают, что свободно избранные правительства действуют медленно и их действия тормозятся сопротивлением личных интересов и социальных предрассудков; они сторонники **национализации**, потому что их программу можно осуществить только в общегосударственном масштабе; их можно назвать и левыми **империалистами**, так как всем плановикам свойственны мечты о грандиозных пространствах и огромных ресурсах. Левые, руководимые идеей **свободы** — либеральные левые — восстают против социализма, потому что не хотят расширения влияния государства и возвращения произвола, на сей раз бюрократического и анонимного. Против националь-

ных социализмов они выставляют идеал интернационализма, который не требует торжества определенного учения вводимого силой оружия. Что же касается руководимых идеей равенства левых, то они, повидимому, осуждены на постоянную оппозицию против соперничающих, но все же объединенных богачей и сильных мира сего. Каковы же левые в настоящем смысле слова, вечные левые?

Может быть, редакторы журнала «Esprit»¹⁰⁾, преимущественно принадлежащие к левому крылу, сами того не желая, дают нам ответ на этот вопрос. Они посвятили специальный номер «американскому левому крылу» и честно указывают трудность определения того, что по ту сторону Атлантического океана соответствует европейскому термину «левый». Американское общество не знало ничего подобного борьбе со Старым режимом во Франции; там нет рабочей или социалистической партии. Обе традиционные американские партии подавили возможность появления третьей партии, будь она прогрессивной или социалистической. Принципы конституции или экономической системы не обсуждаются серьезно в Америке. Политические дискуссии чаще бывают технического, чем идеологического характера.

Исходя из этих фактов, можно рассуждать двояко. Можно — по примеру американских сотрудников журнала — утверждать, что: «Соединенные Штаты всегда были социалистической нацией, в том смысле, что они улучшили жизнь классов, находившихся в неблагоприятных условиях и обеспечили социальную справедливость» (А. М. Роз¹¹⁾). Или, будучи добрым европейским социалистом, можно желать «создания лейбористской партии как первого условия для перестройки американского мира», и заявить, что «реализация социализма» в Соединенных Штатах является «императивом мирового масштаба»¹²⁾. Конечно, французские редакторы склонны к последнему решению. В профсоюзном плане к «новым левым» принадлежат французские — социализирующие рабочие СЮ. Следовательно, только рабочая партия европейского стиля могла бы достичь левых целей в США. Средства для этого, будь это рабочая партия или государственное планирование экономики, приобретают значение верховных ценностей.

Но невольно доказав этими словами, что он крепко держится за общепринятые предрассудки, один из редакторов журнала вдруг забывает о свойственном интеллигенту приспособленчестве: «Следует спросить себя, можно ли еще говорить о левых там, где больше не существует душевного беспокойства... Потому что человек с левым уклоном — по крайней мере в наших, французских глазах, — это тот, кто не всегда согласен с политикой своей страны, это тот, кто знает, что не существует мистической гарантии того, что эта политика будет права в будущем; это человек, протестующий против колониальных экспедиций, человек, не признающий жестокости даже по отношению к врагу и не признающий вообще никаких репрессий...»¹³⁾ «Можно ли

¹⁰⁾ Esprit, ноябрь 1952 г.

¹¹⁾ Esprit, ноябрь 1952 г., стр. 604.

¹²⁾ Мишель Крозье, стр. 584 и 585.

¹³⁾ Мы опускаем фразу, в которой Ж.-М. Доменак говорит о бактериологической войне, «могущей иметь место».

говорить о левых там, где притупилось то простое чувство человеческой солидарности с угнетенными и страдающими, которое когда-то подымало европейские и американские толпы на защиту Сакко и Ванцетти?»¹⁵⁾

Если человек с левым уклоном таков, если он враг всякой ортодоксальности и отзывчив на всякое страдание, то неужели он исчез только из Соединенных Штатов? Будет ли левым тот коммунист, для которого Советский Союз всегда во всем прав? Будет ли левым тот, кто требует свободы для всех народов Азии и Африки, но не для поляков и не для немцев Восточной Германии? Возможно, что терминология левого крыла и восторжествовала в наше время; но дух его мертв с того времени, когда его сострадание стало односторонним.

¹⁵⁾ Стр. 701–702.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Миф революции

Миф левых включает в себе понятие Прогресса и рисует картину непрерывного движения. Миф революции имеет как раз противоположное и дополнительное значение: он питается надеждой на разрыв с будничным ходом человеческих дел, но он в то же время питается и обращением к прошлому. Те, кто, как нам сегодня кажется, подготовили Великую Революцию, распространяя род мышления, несовместимый со взглядами Старого режима, не проповедовали и не желали апокалиптического крушения старого мира. Почти все они, будучи смелыми в теории, оказались на деле такими же осторожными, как Жан-Жак Руссо в роли советника князя и законодателя. Большинство из них было склонно к оптимизму: после устранения традиций, предрассудков, фанатизма, после всеобщего просвещения человечества должен был наступить естественный порядок вещей. Но начиная с 1791 или 1792 года, революция стала пониматься современниками, включая сюда и философов, как катастрофа. Со временем это ощущение катастрофы стерлось и в памяти осталось только величие совершившегося.

Некоторые из приверженцев прогрессивных партий пытаются забыть террор, деспотизм, цикл войн, все кровавые перипетии, началом которых были героические и славные дни взятия Бастилии и праздника Федерации. Для них междоусобная война, военные успехи и поражения — это лишь случайный аккомпанимент революции. Революция, в их понимании — это непреодолимый порыв к освобождению умов и людей, к рациональной организации общества, прерываемый иногда монархической или религиозной реакцией, в общем мирно продолжающийся, вероятно, благодаря ограниченному применению насилия в необходимых случаях.

Другие, наоборот, подчеркивают, что революция, — это захват власти и подрывная деятельность. Они верят в насильственные меры, единственно могущие выковать будущее. Поклонники этого рода революционного мифа чаще всего придерживаются той же системы ценностей, что и реформисты; они даже рассчитывают на тот же результат революции — мирное, либеральное общество, покоряющееся раскладу. Но человек, по их мнению, может осуществить свое назначение

и выковать свою судьбу только совершив подвиг Прометея, имеющий ценность в самом себе или являющийся необходимым средством.

Заслуживает ли революция такой чести? Люди, которые так думают, сами революций не устраивали. Те, кто революции начинает, редко доживает до их эпилога, а если и доживает, то либо в изгнании, либо в тюрьме. Можно ли действительно считать революции символами обуздавшего самого себя человечества? Ведь ни один человек не узнает себя в том, что получилось в результате борьбы всех против всех.

РЕВОЛЮЦИЯ И РЕВОЛЮЦИИ

На обычном языке социологии под революцией понимают насильственную и внезапную замену одного рода власти другим. Если принять это определение, то нужно отказаться от частого злоупотребления этим термином, рождающего двусмысленность или недоразумение. В таком выражении, как «промышленная революция», термин этот указывает всего лишь на глубокие и быстрые перемены. Когда говорят о «лейбористской революции», подразумевают реальную или мнимую значительность реформ, проведенных британским правительством между 1945 и 1950 гг., но так как эти перемены не были ни резкими, ни противозаконными, то их нельзя сравнивать с историческим процессом, родственным происшествию 1789-1797 гг. во Франции или 1917-1921 гг. в России. По существу, дело лейбористов не революционно в том смысле, в каком это определение применяется к революции якобинцев или большевиков.

Даже если отбросить неправильные применения слова «революция», все же остается известная двусмысленность его. Понятия никогда полностью не перекрывают факты: границы первых обозначены четко, а контуры вторых туманны. Можно привести много случаев, вызывающих вполне законное недоумение. Приход национал-социализма к власти был законным и насилие совершилось приказом государственной власти. Можно ли говорить о революции при внезапной перемене государственных деятелей и стиля учреждений, несмотря на легальный характер перехода? Другой пример: заслуживают ли названия революций *pronunciamentos* южно-американских республик, если они заменяют одного офицера другим, в крайнем случае, лицо военное — штатским, или наоборот, не представляя собой действительного перехода от одного правящего класса к другому или от одного образа правления к другому? Потрясению происшедшему в рамках законности недостает характерных черт разрыва. Внезапной замене одного лица другим, сопровождаемой или не сопровождаемой кровопролитными драками и прогулками из тюрьмы во дворец, или наоборот — из дворца в тюрьму, недостает коренных перемен в государственных учреждениях, чтобы быть названной революцией.

Эти вопросы не нуждаются в догматических ответах. Определения эти нельзя назвать правильными или неверными, они могут быть лишь более или менее приемлемыми и подходящими. Неизменная сущность революции существует может быть где-то на небесах; мы же

пользуемся этим понятием для того, чтобы определить известные явления и разобраться в наших мыслях. Нам кажется более благоразумным применять термин «государственный переворот» в тех случаях, когда изменение конституции нелегальным декретом властодержца (пример Наполеона III в 1851 году), или захват власти вооруженной группой, будь то кровопролитный или бескровный переворот, не ведут к возникновению нового правящего класса или нового политического режима.

Под революцией следует понимать нечто большее, чем: «Убирайся, я сам тут сяду». Но зато возвышение Гитлера придется признать революционным, несмотря на то, что президент Гинденбург легально назначил его канцлером. Применение насилия последовало, а не предшествовало этому возвышению, и таким образом тут недостает некоторых юридических черт революционного явления. Но главные социологические черты остаются: власть меньшинства, безжалостно отменяющего своих противников, создающее новое государство, мечтающее о преобразении нации.

Эти споры о терминологии сами по себе имеют лишь второстепенное значение, но дискуссия о значении какого-либо выражения часто открывает смысл прений. Я помню, что в Берлине в 1933 году любимой темой дискуссии французов была: можно ли назвать революцией то, что происходит в Германии. Никто себя не спрашивал, позволяет ли внешний вид событий ссылаться на примеры Кромвеля или Ленина. Чаще яростно отрицали — как, например, один из моих собеседников во Французском философском обществе в 1938 г., — что благородный термин «революция» может быть применен к тем прозаическим событиям, которые волновали Германию 1933 года. Но, однако, — что же требуется еще, кроме перемены лиц, нового правящего класса, новых конституции и идеологии, для того, чтобы говорить о революции?

Что же отвечали французы в Берлине в 1933 году на такой вопрос? Одни могли бы ответить, что легальность действий президента и отсутствие уличных беспорядков представляли основную разницу между провозглашением III Рейха и провозглашением Республики в 1792 году, или коммунизма 1917 года. Но в конце концов не важно, признаются ли тут два вида одного и того же явления или два разнородных явления.

Другие отрицали, что национал-социализм совершил революцию, потому что считали его контрреволюционным. Можно справедливо говорить о контрреволюции, когда реставрируется старый режим, когда к власти возвращаются люди прошлого, когда идеи или учреждения, принесенные сегодняшними революционерами, оказываются теми же, которые были уничтожены вчерашними. Но и тут можно указать не мало неясных случаев. Контрреволюция никогда не бывает полной реставрацией и всякая революция частично отрицает предшествовавшую ей революцию и, таким образом, несет в себе кое-какие контрреволюционные элементы. Но ни фашизм, ни национал-социализм не были полностью или по существу контрреволюциями. Они повторяли кое-какие формулы консерваторов, в особенности аргументы, которые последние употребляли против идей 1789 года. Но национал-социалисты нападали на религиозную традицию христианства, на социальную традицию аристократии и буржуазного либерализма; «германская ве-

ра», мобилизация масс, принцип вождя имеют чисто революционное значение. Национал-социализм не был возвращением к прошлому, он порывал с ним так же радикально, как и коммунизм.

На самом деле, когда говорят о революции, когда спрашивают себя, достоин ли тот или иной насильственный или внезапный захват власти занять место в том храме, где восседают на престоле 1789 год, Три Славных Революции, «10 дней, потрясших мир», то более или менее сознательно обращаются к двум основным представлениям: первое — революции, которые можно было наблюдать во многих странах, — кровопролитные, прозаические, разочаровывающие — имеют нечто общее с революцией с большой буквы только тогда, когда они обладают левой, гуманитарной, либеральной, эгалитарной идеологией; и второе — революции совершаются полностью только при том условии, если они приводят к перетасовке прежних имущественных взаимоотношений. В историческом плане оба эти представления — грубые пред-
рассудки.

Всякая внезапная и насильственная перемена режима влечет за собой одинаково несправедливые обогащения и разорения, она ускоряет оборот имущества и элиты и не обязательно приносит с собой новое понимание права собственности. По марксизму, уничтожение частной собственности на орудия производства есть существенный феномен революции. Но ни в прошлом, ни в наше время падение тронов и республик, или захват государственной власти активным меньшинством не совпадают обязательно с потрясением юридических норм.

Нельзя считать неотделимым и насилие и достижение ценностей, которым поклоняются левые: обратное явление, пожалуй, ближе к истине. Революционная власть по существу есть власть тираническая. Она действует вопреки законам, выражает волю более или менее многочисленной группы, не интересуется, или не должна интересоваться, желаниями обособленных группировок. Тираническая фаза революции длится более или менее продолжительно, в зависимости от обстоятельств, но избежать ее никогда не удастся — или, вернее, если и удастся, то получается реформа, а не революция. Насильный захват власти и применение властью насилия вызывают такие конфликты, которые не могут быть разрешены посредством переговоров или компромиссов; короче говоря, — подразумевается неудача демократической процедуры. Революция и демократия — противоположные понятия.

Следовательно, бессмысленно принципиальное осуждение или принципиальное восхваление революции. Так как отдельные люди и группы людей остаются всегда верны себе — упрямыми в защите своих интересов, рабами настоящего, редко способны на жертвы, даже если бы таковые спасли будущее, скорее склонными колебаться между сопротивлением и уступками, чем мужественно защищать свое мнение (Людовику XVI так и не удалось стать во главе армии и увлечь за собой крайних или сторонников компромисса). — то и революция, по всей вероятности, останутся неизбежными в жизни общества. Слишком часто правящий класс изменяет обществу, за которое он ответственен, отказывается понять требования нового времени. Реформаторы эры Мюиджи, Кемаль Ататурк изгнали вымирающий правящий класс, чтобы обновить политический и социальный строй. Они не

смогли бы завершить свое дело в такой короткий срок, если бы не подавили оппозицию и не применили насилия в осуществлении идей, которые, по всей вероятности, большинство нации не принимало. Правители, отменявшие традиции и легальность для того, чтобы обновить свою страну, не всегда были тиранами. Петр Великий и японский император были законными государями, когда они взялись за дело, подобное делу Ататурка и, отчасти, подобное делу большевиков.

Паралич государства, вырождение элиты, анахронизм учреждений приводят к неизбежному, но иногда к желательному применению насилия меньшинством. Благоразумный человек, особенно если он левый, должен был бы терапевтику предпочесть хирургии и реформы — революции, как он мир предпочитает войне и демократию — деспотизму. Революционное насилие может ему иной раз показаться необходимым условием перемен, приводящих к его идеалу. Но оно не может быть добром само по себе.

Исторический опыт, ссылаясь на который иногда оправдывают тиранию, показывает несоответствие между неустойчивостью власти и изменениями социального порядка. Франция XIX века пережила больше революций, чем Великобритания, но зато ее экономическая эволюция шла значительно медленней. Сто лет тому назад Прево — Парадоль сокрушался о том, что Франция время от времени позволяет себе роскошь революций, но не в состоянии осуществить реформы, с которыми согласны лучшие умы. В данное время слово «революция» опять вошло в моду и наша страна, по-видимому, опять вернулась на старую дорогу.

Соединенные Штаты, наоборот, в течение почти двух веков сохранили все ту же конституцию. Постепенно, с течением времени, конституция приобрела как бы священный престиж. Однако американское общество никогда не переставало непрестанно и быстро меняться. Экономический прогресс и перетасовка социальных классов вместились в рамки конституционной структуры, не расшатав их. Земледельческие республики стали величайшей промышленной силой в мире не нарушая законной преемственности.

Колониальные цивилизации подчинены по-видимому иным законам, чем цивилизации, возникшие на ограниченных территориях как результат длительного исторического процесса.

Устойчивость режима может быть понимаема и как признак здоровья, и как признак болезни.

Режимы, павшие жертвой восстаний или государственных переворотов, свидетельствуют своим крушением не о их моральных недостатках — они часто были человечнее, чем режимы победителей, — но о политических ошибках. Они не были в состоянии уступить место оппозиции, или стать на путь реформ, могущих успокоить недовольных и удовлетворить честолюбцев. Режимы Великобритании или Соединенных Штатов, устоявшие в потоке истории, проявили высшую добродетель, состоящую одновременно из постоянства и гибкости. Они спасли традицию, обновляя ее.

Прогрессивный интеллигент, несомненно, согласится с тем, что постоянные государственные перевороты, вроде южно-американских, являются признаком кризиса, карикатурой на дух прогресса. Может быть этот интеллигент признается, хотя и неохотно, что конституци-

онная преемственность, начиная с XVIII века, была счастливым обстоятельством для Великобритании или Соединенных Штатов. Он охотно согласится, что захват власти фашизмом или национал-социализмом доказывает, что одни и те же средства —насилие, всемогущество одной партии — нехороши сами по себе, и могут быть применены для отвратительных целей. Но он всегда будет надеяться на единственно-подлинную революцию, которая не будет стремиться заменить одну власть другой, но которая свергнет, или по крайней мере сделает человечнее всякую власть.

К сожалению, мы не знаем исторических примеров революций, Ответствующих марксистским пророчествам или гуманистическим надеждам. Все революции, а их было немало, принадлежат к известным нам видам: первая русская революция — Февральская — отмечается падением династии, подточенной противоречиями между традиционным абсолютизмом и идеей прогресса, неспособностью царя и последствиями бесконечной войны; вторая русская революция, ноябрьская, — это захват власти решительным, вооруженным меньшинством, воспользовавшимся неорганизованностью государства и стремлением народа к миру. Малочисленный рабочий класс принимал значительное участие главным образом во второй русской революции; в гражданской войне решающим было, по всей вероятности, враждебное отношение крестьян к контрреволюционерам. Рабочий класс Китая, еще менее многочисленный чем в России, не представлял большинства коммунистической армии. Коммунизм укоренился в деревнях, там набрал себе бойцов, там же подготовил свою победу; а кадры партии состояли большей частью из интеллигентов, но не из заводских рабочих. Процессия социальных классов, поочередно несущих факел, всего лишь исторический лубок для детей.

Революция марксистского типа так и не произошла; само понятие ее было мифическим: ни развитие производственных сил, ни зрелость сознания рабочего класса не готовят свержения капитализма рабочими, поверившими в свою миссию. Революции, называющие себя пролетарскими, как и все революции прошлого, отмечают насильственную замену одного правящего слоя другим. Они не имеют ни одной характерной черты, позволяющей их приветствовать как конец до-исторической эпохи.

ПРЕСТИЖ РЕВОЛЮЦИИ

Великая Революция принадлежит к национальным сокровищам Франции. Французы любят слово «революция», так как оно создает иллюзию, что они продолжают или восстанавливают былое величие.

Писатель¹⁶⁾, который говорит о «христианской социалистической революции», намечавшейся и неудавшейся после Освобождения, избегает требуемых доказательств и уточнений. Выражение это вызывает эмоции, воспоминания, мечты, но определить его никто не может.

¹⁶⁾ Франсуа Мориак.

Всякая реформа что-нибудь меняет. Революция как будто может изменить все, тем более когда неизвестно, что собственно она должна изменить. На интеллигента, ищущего в политике развлечения, объекта веры или темы для умственных упражнений, реформа наводит скуку, а революция его возбуждает. Реформа прозаична, революция поэтична; первая считается делом чиновников, а вторая — делом народа, восставшего против эксплуататоров. Революция прекращает обычный порядок и заставляет думать, что наконец все стало возможным. Полуреволюция 1944 года оставила у всех, переживших ее во Франции (по правильную сторону баррикад), тоску по времени чреватому надеждами. Жалеют о лирической иллюзии, не решаются ее критиковать. Не мы, а другие люди, несчастные стечения обстоятельств, Советский Союз, Соединенные Штаты — ответственные за наше разочарование.

Влюбленный в идеи, безразличный к общественным учреждениям, безжалостный критик в личной жизни и противник разумных взглядов в политике, француз — это типичный революционер на словах, но консерватор на деле. Но миф революции не ограничивается одной Францией и французской интеллигенцией. Мне кажется, что он пользуется многочисленными возможностями, чаще заимствованными, чем принадлежащими ему как таковому.

Миф революции воспользовался, во-первых, **престижем эстетического модернизма**. Художник разоблачает обывателя, марксист — буржуазию. Оба могут вообразить, что они солидарны в одной и той же борьбе против одного и того же врага. Художественный и политический авангард иногда мечтали о совместной борьбе за совместное освобождение.

На самом деле, в прошлом веке союз обоих авангардов встречался реже, чем их расхождение. Ни одна из больших литературных школ Франции не была связана, как таковая, с политическим и левым крылом. Постаревший и прославившийся Виктор Гюго кончил свою жизнь официальным певцом демократии; до этого он воспевал свергнутое прошлое и никогда не был революционером в современном смысле этого слова. Среди великих писателей Франции некоторые были реакционерами (Бальзак), другие природными консерваторами (Флобер). «Проклятый поэт» был менее всего революционером. Импрессионисты, воевавшие с академизмом, совершенно не думали осуждать социальный порядок и не рисовали голубков для сторонников великой катастрофы.

Со своей стороны, социалисты, будь то теоретики или практики, не всегда были согласны с системой ценностей литературного или художественного авангарда. Леон Блюм считал в течение многих лет, может быть и всю свою жизнь, что Пьер-Ришса величайший писатель нашего времени. В «Белом Обозрении»¹⁷⁾ — литературном авангарде — только этот писатель склонялся к революционной партии. Создатель научного социализма в искусстве проявлял вкус к классике.

Пожалуй только после первой мировой войны образовался союз обоих авангардов, символом которых во Франции стал сюрреализм. В Германии литературные кафе и модернистические театры, ставив-

¹⁷⁾ La Revue Blanche.

шие оригинальные премьеры, были связаны с крайними левыми, часто с большевиками. Они в один голос разоблачали эстетические условности, эстетическое мещанство, власть денег, они нападали как на христианский, так и на капиталистический порядок. Но это объединение было недолговечным.

Всего через десять лет после русской революции архитекторы-модернисты были принесены в жертву воскресшему в СССР нео-классическому стилю; и я, как сегодня, слышу утверждение Жана-Ришара Блоха, произнесенное с пылом новообращенного, что возвращение к колоннадам конечно означает художественный упадок, но вместе с тем и несомненный диалектический успех. Лучшие люди из литературного или художественного авангарда были очернены в Советском Союзе еще до 1939 г. Русская живопись перестроилась по примеру Салона французских художников пятидесятилетней давности, композиторы должны были рассыпаться в признаниях своих ошибок и в самокритике. 35 лет тому назад на Западе воспевали Советский Союз за смелость которую там проявляли киноработники, поэты, режиссеры; сегодня Запад восхищается героями современного искусства — включая и тех, которые были доведены до нищеты непониманием публики — и разоблачает очаг реакционного догматизма в СССР, на родине революции.

Но как раз в это время Арагон переходит от сюрреализма к коммунизму и становится самым дисциплинированным активистом, одинаково готовым то «охаивать» то «воспевать» французскую армию в зависимости от требований момента, Бретон остался верен идеалам своей молодости и тотальной революции. Вернувшись к академизму и мещанским ценностям, Советский Союз рассеял недоразумение, ставящее освобождение духа в зависимость от всемогущества партии. Но к какому историческому движению следует примкнуть, если оба оказались «реакционными», хотя и явно противостоящими друг другу. Писатель должен выбирать между одиночеством и сектой. Но живописец может стать членом партии и все же игнорировать социалистический реализм¹⁸⁾.

Союз политического и эстетического авангарда родился благодаря недоразумению и исключительным обстоятельствам. Из отвращения к обывательщине художники присоединились к революционной партии, но победителям редко удается воспользоваться плодами победы. Правящий класс, возникший в обществе, выпшедшем из какого-либо потрясения, жаждет устойчивости и уважения к себе. Он любит колонны, истинный или лже-классицизм. Не раз было указано на сходство в безвкусице викторианской буржуазии с безвкусицей современной советской буржуазии; обе гордятся своими материальными достижениями. Поколение капиталистов или директоров, прошедшее этап первичной индустриализации, хочет крепкой мебели и внушительных фасадов. Характером Сталина тоже можно объяснить крайние формы приспособленчества в Советском Союзе.

Может быть, через несколько лет, а может быть и десятилетий, Советский Союз разрешит изучение парижской школы¹⁹⁾. Пока что он

¹⁸⁾ Намек на Пикассо.

¹⁹⁾ Школа живописи, лучшим представителем которой считается Марк Шагал.

осуждает то упадочное и порочное искусство, на которое нападал и Гитлер. Новинка для Франции — случай с Фуржоном; осененный политической благодатью, один из представителей художественного авангардизма пытается создать академизм, соответствующий его верованиям.

Пrestиж морального фрондерства рождается из того же недоразумения. Известная часть литературной богемы чувствовала себя связанной с действиями крайне левых, так как социалистические активисты отвергали буржуазную фальшь. В конце прошлого века такие литературные понятия, как свободная любовь, право на аборт были распространены среди политически прогрессивных кругов. Некоторые пары предпочитали не проходить необходимых формальностей перед гражданскими властями и слово «товарищ», казалось им, звучало лучше, чем слова «жена» или «супруга», уже издали отдававшие мещанством. . .

«Мы все переменяли». Браки и семейные добродетели воспеваются на родине революции; развод и аборт законны там только при известных обстоятельствах, но официальная пропаганда с ними борется, напоминает индивидуумам, что они должны подчинять свои прихоти и свои страсти интересу стоящему выше их, интересу всего общества. Западные традиционалисты не могли бы требовать большего.

Историки много раз указывали на склонность революционеров к добродетели, общую как пуританам так и якобинцам. Эта склонность характерна для революционеров-оптимистов, которые требуют от других такой же чистоты. Большевики тоже охотно клеймят порок. Развратник в их глазах подозрителен, не потому что он не признает принятых правил, а потому что он предаваясь пороку, отдает слишком много времени и сил непродуктивной деятельности.

Восстановление семьи совсем иной феномен. Он означает возвращение к будничной жизни после того, как прошло политическое помешательство. Семейные учреждения чаще всего сохраняются при государственных или общественных потрясениях. Поколебленные крушением старого порядка, семейные учреждения восстанавливаются, по мере того, как новый порядок выживает и новая элита приобретает веру в себя и в будущее. Перелом иногда оставляет по себе след первоначального освободительного движения. В Европе, например, авторитарная структура семьи была частично связана с авторитарной структурой государства. Одна и та же философия заставляла в Европе признавать за гражданином и право голоса и право на личное счастье. Но в Китае, какова бы ни была будущность китайского коммунизма, большая семья, существовавшая там веками, не сохранится. Раскрепощение женщины, по всей вероятности, стало там окончательным.

Критика условной морали служила связью между политическим и литературным авангардом; а атеизм связывает, по-видимому, **метафизику бунта с политикой революции**. И здесь, как мне кажется, революция пользуется чужим престижем; ее неверно выдают за необходимое завершение гуманизма.

Марксизм развился из критики религии, которую Маркс перенял у Фейербаха. Человек будто бы унижает себя, проецируя на Бога совершенство, к которым он стремится. Бог совсем не творец человечества, а лишь идол, сотворенный фантазией человека. Здесь, на земле,

люди должны стремиться осуществить задуманное совершенство, которое пока что от них ускользает. Критика религии приводит к критике общества. Почему эта критика должна неминуемо привести к революционному императиву?

Революция не есть сущность действия, она лишь один из его аспектов. Ведь на самом деле, всякое действие есть отрицание данного, но в этом смысле реформа такое же действие, как и революция. Происшествия 1789 года подсказали Гегелю одну мысль, ставшую революционным мифом: насилие на службе у разума. Но если не придавать абсолютного значения классовой борьбе, то действие, стремящееся уничтожить пережитки и построить общество, соответствующее новым духовным потребностям, не требует внезапного взрыва и гражданской войны. Революция не есть ни неизбежность, ни профессия, она есть средство.

В самом марксизме мы находим три разнородных понятия революции: бланкистское понятие — захвата власти небольшой группой вооруженных людей, которые, став хозяевами страны, изменяют государственные учреждения; эволюционное понятие — будущее общество должно созреть в лоне настоящего общества, прежде чем наступит окончательный спасительный кризис; и, наконец, понятие, ставшее понятием перманентной революции — рабочий класс, пользуясь конъюнктурой, постоянно давит на буржуазию; в последнем случае рабочий класс употребляет реформы, на которые согласилась буржуазия, для подрыва капиталистического строя, для подготовки своей победы и воцарения социализма. Все три понятия признают необходимость насилия; но второе понятие, наименее соответствующее темперименту Маркса и наиболее соответствующее марксистской социологии, отодвигает момент разрыва в неопределенное будущее.

В каждую эпоху конкретно рассматриваемое общество может обладать самыми различными элементами эпох и стилей, которые легко объявить несовместимыми. Монархия, парламент, профсоюзы, даровое здравоохранение, рекрутский набор, государственные угольные копи и Королевский Флот сосуществуют в Великобритании. Если бы исторические режимы совпадали с сущностью, которую мы им приписываем, то, может быть, для перехода от одного к другому революция была бы неизбежна. Переход от несовершенного капитализма к несовершенному социализму, от аристократического и буржуазного парламентаризма к народным собраниям, в которых заседают представители профсоюзов и масс, в теории не требует, чтобы люди убивали друг друга. Все зависит от обстоятельств.

Исторический гуманизм (в нем человек ищет самого себя в смене режимов и империй) склоняется к революции только из-за догматической путаницы между извечными стремлениями и определенной техникой действия. Выбор методов не вытекает из философских размышлений, а из опыта и мудрости, но только в том случае, если классовая борьба не обязана нагромождать трупы, чтобы выполнить свою историческую функцию. Почему примирение между людьми должно быть следствием победы одного класса?

Маркс перешел от атеизма к революции через диалектику истории. Многие интеллигенты, не желающие ничего знать о диалектике, тоже переходят от атеизма к революции, не потому, что она обещает при-

мирить людей или разрешить тайну истории, а потому, что она разрушает неудачно созданный и ненавистный им мир. Между литературным и политическим авангардом есть какое-то сообщничество в ненависти к установленному порядку или беспорядку. Революция использует **престиж бунта**.

Слово «бунт» и слово «нигилизм» сейчас модны. Их так охотно употребляют, что больше не разобрать, что они собственно значат. Невольно возникает вопрос, не соглашается ли большинство писателей с формулировкой Андре Мальро²⁰): «Основное достоинство мысли содержится в обвинении жизни и всякая мысль, реально оправдывающая вселенную, унижается, поскольку она не есть надежда, а нечто иное». В XX веке конечно легче осуждать мир, чем его оправдывать.

Метафизический бунт отрицает существование Бога, ту основу, которую религия или спиритуализм традиционно придавали ценностям и морали. Он обличает абсурдность мира и жизни. Исторический же бунт обвиняет общество как таковое или современное общество. Один вид бунта приводит к другому, но ни тот, ни другой не приводит неизбежно к революции и к ценностям, которые присваивает себе революция.

Тот, кто обличает судьбу, ожидающую людей в мире потерявшем свой смысл, тот иной раз сходится с революционерами, потому что возмущение или ненависть сильнее всех других возражений, потому что только разрушение может, в конце концов, успокоить зашедшую в тупик мысль. Но ненависть разрушает с той же логичностью и иллюзии, распространяемые неисправимыми оптимистами, которые упорно пытаются бороться только с социальными симптомами человеческого несчастья, боясь измерить его глубины. Некоторые бунтовщики видят в самом действии для действия завершение своего бесцельного существования; посторонние видят в нем только недостойное развлечение, попытку человека скрыть от самого себя свою внутреннюю пустоту. Восторжествовавшая революционная партия презирает наследие Киркегора, Ницше или Кафки, свидетелей вышедших из буржуазии, не могущей найти утешения после смерти Бога, потому что она сознает и свою собственную смерть. Итак, не бунтовщик, а революционер имеет трансцендентное значение: историческое будущее.

Правда, бунтовщики восстают против установленного порядка. Но они видят лишь условности и фальшь в большинстве социальных запретов и императивов. Но некоторые из них тем не менее утверждают ценности, признанные их средой, в то время как другие восстают против своей эпохи, но не против Бога или Рока. В середине прошлого века русские нигилисты во имя материализма и эгоизма сходились на деле с буржуазным и социалистическим движением. Ницше и Бренанос, из которых первый верил, что Бог умер, а второй это проповедовал, были подлинными фрондерами. Оба они — первый во имя предвидимого будущего, второй во имя идеализованного облика Старого режима, — отрицают демократию, социализм, режим масс. Они относятся враждебно или безразлично к повышению жизненного уровня, к росту мелкой буржуазии, к техническому прогрессу. Они ненавидят

²⁰) Андре Мальро, франц. писатель, автор «Психологии искусства».

вульгарность, низость, распространяемую избирательной и парламентской системой. Бернанос громил языческое государство, болтливого Левиафана.

Со времени поражения фашизма большинство бунтующих интеллигентов и все революционные интеллигенты проявляют безупречную благонамеренность. Они не порывают с теми общественными ценностями, которые они осуждают. Французские колонисты в Алжире, корсиканские чиновники в Тунисе не оказывают на практике уважения к туземцам и не верят в равенство рас. Но правый интеллигент во Франции никак не осмелится развивать колониальную философию, точно так же, как советский интеллигент не развивает теории концентрационных лагерей. Сторонники Гитлера, Муссолини или Франко вызывали возмущение, потому что они отказывались преклоняться перед современными идеями: демократией, равенством людей, классов и рас, экономическим прогрессом, гуманизмом и пацифизмом. Революционеры 1950 года иногда вызывали страх, но никогда не вызвали скандалов.

Сейчас не найти такого христианина, который, даже будучи реакционером, осмелился бы сказать или подумать, что жизненный уровень масс не имеет значения. Так называемый левый христианин это не тот, кто проявляет больше всего смелости или свободы, но это тот, кто согласился усвоить наибольшее количество идей, распространенных в нерелигиозной среде. В крайнем случае, «прогрессивный» христианин будет считать перемену режима или улучшение материального положения людей необходимым для распространения христианства. Проповедь Симоны Вейль не имеет левизны, она носит фрондерский характер, она напоминает нам о истинах привычных для нашего уха.

В современной Франции не найти больше таких несовместимых философий, какими были философия Старого режима и рационализм. Современные борцы — за исключением последней фашизма — это враждующие братья. Социализм подхватил руководящие идеи буржуазной эры: овладение природными силами, преобладание заботы о всеобщем благе и безопасности, отрицание расовых и сословных неравенств, признание, что религия — частное дело человека. По всей вероятности, советское общество в основе подразумевает систему ценностей, противоположную западной; но внешне эти два мира сближаются, упрекая друг друга в осквернении одних и тех же ценностей. Спор о собственности и плановом хозяйстве не столько касается целей, сколько техники.

Бунтовщики и нигилисты с одной стороны упрекают современный мир в том, что он таков как есть, а с другой — что он изменяет самому себе. Второе мнение преобладает в наши дни. Самая острая полемика идет не между ними, а между интеллигентами по существу согласными между собой. Для того, чтобы терзать друг друга, им не нужно быть не согласными в вопросе конечной цели; достаточно того, что они расходятся в понимании священного слова «Революция».

БУНТ И РЕВОЛЮЦИЯ

Обмен статьями или письмами между Альбером Камю, Жан-Поль Сартром и Франсисом Жансоном²¹⁾ сразу же приобрел характер знаменитого спора. Мы не собираемся подсчитывать количества очков за и против, мы пытаемся охватить понятие революционного мифа в сознании больших писателей на VII году холодной войны.

Метафизические позиции собеседников близки: Бог умер и существование человека в этом мире стало бессмысленным. Конечно, анализ нашего состояния в «Существо и ничто»²²⁾ не тот же, что и в «Мифе Сизифа» или «Чуме»²³⁾ (потому и книги эти нельзя сравнивать). Но в них проявляются то же стремление к правде, тот же отказ от иллюзии или видимости, тот же подход к миру, тот же вид действительного, хотя и выраженного разными стилями, стоицизма. Отношение Сартра и отношение Камю к конечным проблемам не должны были бы сталкиваться.

Когда они выражают свое одобрение или неодобрение — чаще последнее — они опираются на аналогичные ценности. Они оба гуманны; они желают уменьшить страдания, освободить закрепощенных; они борются с колониализмом, фашизмом, капитализмом. Ни в отношении Испании, ни Алжира, ни Вьетнама Камю не совершил преступления против прогрессизма. Когда Испания вступила в УНЕСКО, он написал восхитительное письмо с протестом. Вступление в ту же организацию Советского Союза или осовеченной Чехословакии у него комментариев не вызвало. В сущности, и он принадлежит к благонамеренным левым.

Если только его мышление не изменилось коренным образом с тех пор, как вышло в свет «Существо и ничто», Сартр не объясняет историю как создание духа. Он не придает никакой революции онтологического значения. Бесклассовое общество не разрешит тайны нашей судьбы, оно не примирит ни сущность с существованием, ни людей между собой. Экзистенциализм Сартра исключает веру во всеохватывающую историю; всякий человек, погуженный в поток истории, сам выбирает себе и путь, и спутников, рискуя ошибиться. Камю без труда мог бы расписаться под таким заявлением.

Причем же тут разрыв? Он, по-видимому, происходит из-за единственного вопроса, из-за которого в западном мире навсегда расстаются братья, товарищи, друзья: как относиться к Советскому Союзу и к коммунизму? Диалог принимает патетический оттенок, когда собеседники оказываются с одной стороны как будто сторонниками партии Ленина, Сталина и Маленкова²⁴⁾, а с другой стороны — нет. Для этой ссоры достаточно, чтобы два некоммуниста по разному объясняли свой отказ вступить в партию; два антикоммуниста становятся непримиримыми врагами, если один осуждает Ленина со Сталиным, а другой только одного Сталина.

²¹⁾ Les Temps modernes, août 1952, № 82.

²²⁾ L'Être et Néant — Жана-Поля Сартра.

²³⁾ Le Mythe de Sisyphe, La Peste — Альберта Камю.

²⁴⁾ Французское издание книги относится к 1955 году.

Во время полемики Жан-Поль Сартр еще не успел побывать ни в Вене, ни в Москве. Он мог еще писать: «А если я подлиза, сексот, презренный сочувствующий, почему они ненавидят меня, а не вас? Но не будем хвастаться вызываемой нами ненавистью. Я вам прямо скажу, что я искренне жалею, что существует это враждебное настроение, иной раз я почти что готов вам позавидовать из-за глубокого безразличия, которое они проявляют по отношению к вам»²⁵). Сартр отнюдь не отрицал жестокостей советского режима, концентрационных лагерей. Время «Революционного Демократического Объединения», время отрицания обоих блоков и попытки найти третий путь было еще свежо в памяти. Но и Камю так же отчетливо, как и Сартр, клеймил колониальное насилие или позор «франкизма». Оба они, не состоя ни в какой партии, время от времени осуждают то, что в их глазах достойно осуждения. В чем же разница? Грубо говоря, можно дать следующий ответ: в крайнем случае, Камю, скорее, выбрал бы Запад, а Сартр Восток²⁶). Выражаясь деликатно, на уровне политического мышления, Сартр упрекает Камю в том, что тот сам себя принуждает к воздержанию: «Вы упрекаете европейский пролетариат, потому что он не высказал публично сурового порицания советам, но вы так же упрекаете европейские правительства, потому что они допустили Испанию в УНЕСКО; в таком случае, я для вас вижу только один выход: Галапагские острова». Предположим, что желание уравновесить обе чаши весов и клеймить с одинаковой силой несправедливость, действительно встречающуюся в обоих мирах, не может вылиться ни в какое политическое действие в настоящем смысле слова. Камю не политик, Сартр тоже нет, и оба они действуют только пером. Каково же еще может быть решение вопроса после конца РДО, кроме Галапагских островов? «Зато мне кажется, что единственная возможность помочь рабам там, это встать на сторону рабов здесь».

Точно так же рассуждали реакционеры или пацифисты во Франции между 1933 и 1939 гг., упрекавшие левых в том, что они публикуют многочисленные манифесты или устраивают собрания в пользу преследуемых евреев. «Занимайтесь своим делом», — говорили они, — «и подметайте сор перед своим порогом. Больше всего вы поможете жертвам III Рейха тем, что облегчите страдания жертв кризиса, колониализма и империализма». На самом деле такое рассуждение неверно. Ни III Рейх, ни Советский Союз не относятся с полным безразличием ко внешнему миру. Протест еврейских организаций во всем мире, вероятно, привел к смягчению антисемитской и антикосмополитской кампании, под прикрытием которой вновь стали преследоваться евреи по ту сторону железного занавеса. Разбушевавшаяся в Европе и в Азии пропаганда против сегрегации в Соединенных Штатах помогает тем, кто пытается улучшить положение негров и дать им правовое равенство, обещанное конституцией.

Оставим практические последствия этих двух подходов. Но почему разница, как будто проявляющаяся лишь в оттенках, вызывает такие страсти? Ни Сартр, ни Камю не коммунисты, не «западники»,

²⁵) Там же, стр. 341.

²⁶) Конечно, при условии, что он будет продолжать жить на Западе.

и оба они признают существование несправедливости в обоих лагерях. Камю хочет разоблачать и те и другие несправедливости, Сартр — только совершаемые на Западе, хотя он и не отрицает реальности других. Это, конечно, всего лишь оттенок, но этот оттенок ставит под вопрос всю философию.

Камю обрушивается не только на те или иные стороны советского быта. Коммунистический режим кажется ему тотальной тиранией, внушенной и оправдываемой известной философией. Он упрекает революционеров в том, что они отрицают вечные ценности, всякую трансцендентную мораль в классовой борьбе или различия эпох; он обвиняет их в том, что они приносят в жертву живых людей мнимому абсолютному благу, в жертву конечной исторической цели, понятие которой противоречиво и никак не совместимо с экзистенциализмом. Что один не отрицает, а другой клеймит концентрационные лагеря, не имело бы особого значения, если бы первый не придавал своему обличению значения разрыва с революционным «замыслом», в то время как другой отказывается порвать с «замыслом», в осуществлении которого он не участвует.

В «Бунтующем человека» Камю анализировал идеологическую эволюцию от Гегеля к Марксу и Ленину, несоответствие между некоторыми предположениями Маркса и ходом событий. Анализ этот не дал ничего нового, но в нескольких пунктах на него было бы трудно возразить. Камю поставил решительные вопросы, на которые Сартру и Жансону оказалось трудно ответить.

— Признаете ли вы, — спрашивает он, — в советском режиме завершение революционного «проекта»?

Ответ Франсиса Жансона одновременно смущенный и четкий: «Выразить мое мнение о сталинизме мне мешает не субъективное противоречие, а фактическая трудность, которую, я думаю, можно формулировать следующим образом: сталинское движение в мире нам кажется подлинно революционным, но это единственное движение, которое утверждает, что оно революционно, и собирает, в частности у нас, большинство пролетариата; следовательно, мы одновременно **против него**, так как мы критикуем его методы, и **за него**, так как мы не знаем, не является ли подлинная революция просто химерой, не должно ли революционное дело пойти сначала именно таким путем, прежде чем быть в состоянии ввести какой-то более гуманный социальный строй, и не должны ли мы несовершенство советского строя предпочесть его полному уничтожению»²⁷).

Не заметно, чтобы Камю желал «полного уничтожения этого дела» (если вообще эта формулировка имеет смысл). Но признание Жансона в незнании похвально, но и удивительно со стороны пристрастного философа. Историческое действие требует от человека принятия решения не основанного на точном знании, или, по крайней мере, утверждения в своем решении больше, чем он знает. Всякое действие в середине XX века подразумевает и влечет за собой установку по отношению к советской действительности. Избегать всякой установки значит избегать всякого исторического обязательства; даже ссылка на историю ничему тут не помогает.

²⁷) Там же, стр. 378.

Единственным оправданием захвата власти, — писал Камю, — коллективизации, террора, тотального государства, построенного во имя революции, была бы уверенность в том, что люди покоряются необходимости во имя приближения конца истории. Но экзистенциалисты не могут согласиться с этой необходимостью и не могут верить в исторический конец. На что Сартр отвечает: «Имеет ли история смысл, спрашиваете вы, имеет ли она конец? Для меня этот вопрос не имеет смысла, потому что история, вне творящего ее человека, всего лишь абстрактное и неподвижное понятие, о котором нельзя сказать, есть ли у него конец или у него нет конца; вопрос не в том, чтобы *знать* ее конец, а в том, чтобы *дать* ей его... Не будем спорить о том, есть ли в истории трансцендентные ценности, заметим только, что если таковые *есть*, то они проявляются в человеческих действиях, исторических по своему определению... И Маркс никогда не говорил, что у истории будет конец: как он мог бы это сказать? Это значило бы сказать, что в один прекрасный день у человека не будет больше целей. Маркс говорил только о конце праистории, т. е. о цели, достигнутой и превзойденной в истории, как и все цели». Сартр знает лучше кого бы то ни было, что этот ответ несколько не соответствует правилам честного спора. Никто не сомневается в том, что мы осмысливаем историю нашими действиями, но как найти этот смысл, если мы не можем определить общеобязательных ценностей и понять целое? Не будет ли решение, не связанное ни с вечными ценностями, ни с универсальностью истории произвольным; и не останется ли, при этом решении, борьба в общечеловеческом понимании и классовая борьба без всяких изменений, так что даже задним числом нельзя будет рассудить борющихся?

Гегель утверждал параллелизм между диалектикой понятий и развитием империй и режимов; Маркс обещал разрешить в бесклассовом обществе тайну истории. Сартр не может и не хочет говорить об онтологическом понятии конца истории, связанного с абсолютным духом. Но в политическом плане он вводит его эквивалент. И действительно, если социалистическая революция есть конец доисторической эпохи, то она должна проявить коренную оригинальность по сравнению с прошлым, отметить разрыв в течении времени, некое преобразование обществ.

Сартр заимствует у марксизма, по его словам, не пророчество и метод, а всего лишь некоторые чисто философские истины. Эти истины, встречающиеся в произведениях молодого Маркса, по моему, суть по существу критика формальной демократии, анализ отчуждения человека и утверждение необходимости уничтожить капиталистический порядок в ближайшее время. Эта философия потенциально содержит пророчество: пролетарская революция по существу будет иной, чем революция в прошлом и только она позволит гуманизацию общества. Этот тонкий вид пророчества и был опровергнут событиями прошлого века, так же, как был опровергнут грубый расчет Маркса на концентрацию капитала и обнищание масс. Но она остается абстрактной, формальной, неопределенной. В каком отношении захват власти определенной партией отмечает конец доисторической эпохи?

Возможно, что мысль Камю, выраженная простым языком, покажется недостаточно новой. В тех пунктах, где она вызывает гнев «Les

temps modernes», она кажется банальной и осторожной. Если в бунте выражается солидарность с несчастными, подчинение императиву сострадания, то революционеры сталинского типа действительно изменяют бунтарскому духу. Убеждение в том, что они исполняют исторические законы и работают для неизбежного и благого конца, позволяет им, без малейшего угрызения совести, стать палачами и тиранами.

Из этих рассуждений нельзя извлечь никаких правил действия, но критика исторического фанатизма заставляет нас хотя бы делать выбор в зависимости от обстоятельств, от вероятности успеха, от нашего опыта. Конечно, скандинавский социализм не является всеобщим примером, да он и не стремится им быть. Но такие понятия, как миссия пролетариата, раскрепощение, революция, несомненно свидетельствуют о слишком больших претензиях; я боюсь, что они менее всего полезны в обстановке XX века.

Вне Франции и Сен-Жермен-де-Прэ такая полемика почти непонятна. Ни интеллектуальные, ни социальные условия этой полемики не существуют ни в Великобритании, ни в Соединенных Штатах, где без особого пыла обсуждают социологию или экономику Маркса, как вообще обсуждают значительные произведения, отметившие собой этапы в развитии науки. К философии Маркса там относятся безразлично, будь это его ранняя или поздняя философия с оттенком гегелианства в своей критике товаров-фетишей или более натуралистическая в иных местах и произведениях Энгельса. Следовательно, если отбросить гегелианство, вопрос о соответствии советской революции с Революцией с большой буквы теряет свое значение. Революционеры, во имя идеологии, построили известный режим. Мы о нем достаточно знаем, чтобы не желать его неограниченного распространения. Этот отказ не заставляет нас желать его «полного уничтожения» или бороться с пролетариатом, или подавлять восстание угнетенных.

Принадлежность к реальному и, следовательно, несовершенному режиму делает нас солидарными с несправедливостями или жестокостями, которые свойственны любой эпохе и каждой стране. Истинный коммунист тот, кто принимает всю советскую реальность так, как она ему продиктована свыше. Подлинный западный человек это тот, кто из нашей цивилизации полностью принимает только предоставляемую ему свободу ее критиковать и возможность ее улучшить. Присоединение части французских рабочих к коммунистической партии глубоко влияет на то положение вещей, в котором французский интеллигент должен выбирать. Может ли революционное пророчество, высказанное в прошлом веке молодым философом, восстававшим против сонной Германии и ужасов зарождавшейся промышленности, помочь нам разобраться в положении и сделать разумный выбор? Что такое мечты о революции, — способ изменения французских порядков, или отречение от Франции?

МОЖНО ЛИ НАЗВАТЬ ПОЛОЖЕНИЕ ВО ФРАНЦИИ РЕВОЛЮЦИОННЫМ?

Не потому ли французские интеллигенты так много говорят о революции — христианской, социалистической, де-голлевской, коммуни-

стической, экзистенциалистической, — что, будучи более чувствительны к колебания истории, чем рядовой человек, они чувствуют приближение великих катастроф?

В течение десяти лет предшествовавших второй мировой войне этот вопрос непрестанно ставился. Но тут же добавлялось, что не гитлеровская угроза удерживает французов от ссоры — никто и ничто удержат их от этого не может — но зато эта угроза не дает возможности разрешить французский спор одним ударом, насильственно.

Освобождение от оккупации сопровождалось подобием революции, которую и сторонники и противники считают неудавшейся. В 1950 г. опять поднялся вопрос о том, не находится ли Франция накануне взрыва со своими 50% коммунистических и де-голлевских избирателей. Через несколько лет консерватизм поддерживался только слабыми поползновениями экстремистов и воинственными декларациями.

Во Франции были псевдо-революции в 1940 и 1944 году; их завершением было возвращение к людям и обычаям III Республики. Поражение заставило парламент подписать в июле 1940 года акт об отречении от власти. Разнородная группа, состоявшая из нескольких перебежчиков из республиканцев, объединившихся с правыми доктринами и молодыми людьми, жаждавшими действия, пыталась ввести авторитарный, но не тоталитарный режим. Освобождение ликвидировало эту попытку и привело к власти другой коллектив, тоже разнородный по своему составу и по своим идеям. Наперекор Виши эта группа ссылалась на республиканскую легальность, обращаясь то к последнему правительству предыдущего режима, то ссылаясь на волю нации, воплощенную в Сопротивлении. Чаще всего она объявляла себя революционной по своему происхождению и по замыслу: она основывала свою законность не на выборах, а на некотором мистическом полномочии — народ воплощался в одном человеке; она намеревалась обновить государство, а не только реставрировать республику.

Революция исчерпалась чистками, так называемыми структурными реформами (национализациями), упоминавшимися в программах Народного Фронта и, наконец, несколькими законами (социальное страхование), продолжавшими прежнюю эволюцию и не вытекавших из революционных потрясений. Что же касается текста конституции и установленных ею порядков, то традиция или, вернее сказать, скверные привычки легко преодолели попытки обновления. Парламент и партии IV Республики, оказалось, так же ревниво оберегали свои прерогативы и оставались такими же враждебными к сильной исполнительной власти, как и парламент и партии III Республики. В 1946 году французские партии, в особенности три самых крупных, стали монолитными. В 1946-1947 гг. радикалы и умеренные вели борьбу против этих партий, пользуясь популярностью генерала де-Голля и непопулярностью министров того времени, вызванную инфляцией и социальными неполадками. Сегодня, за исключением коммунистической, все партии менее монолитны, чем когда бы то ни было, и в большинстве случаев разделяются при голосовании в парламенте. Монолитность была такой же таинственной болезнью, как и внутрипартийные ссоры сейчас.

Традиционная парламентская демократия во Франции характеризуется слабостью исполнительной власти и способностью ассамблеи не

иметь своей воли и поэтому поддерживать неустойчивые и бестолковые правительства. Военное поражение и освобождение давали шанс покончить с этой традицией. Генерал де-Голль попытался еще раз использовать этот шанс, ему это не удалось. То, что допускалось под угрозой внешних событий, не терпелось в самостоятельной французской политике.

Можно утешаться тем, что неудача Объединения объясняется тактическими ошибками. Если бы «освободитель» остался у власти в 1946 году и встал бы во главе движения против первой конституции, или если бы он через несколько месяцев после ухода в отставку вмешался в борьбу накануне первого референдума, победа над социалистическо-коммунистическим блоком, выигранная и без него, стала бы его победой. Он мог бы продиктовать конституцию, не похожую на ту, которая была принята вторым референдумом. Может быть, в 1947-1948 гг., после муниципальных выборов, или после законодательных выборов 1951 года, он смог бы, согласившись на блок партий, добиться если и не безусловного авторитета, то по крайней мере составить министерство и провести реформы. Нужна была из ряда вон выходящая опасность, чтобы добиться распада 1952 года. Может быть, в глубине души президент Объединения предпочитал несомненный провал сомнительному успеху? Ограниченная власть разрешила бы ему проведение частичных, неудовлетворительных мер; не испытанный ответственно протест, может быть, оставляет более славные воспоминания.

Эта попытка была с самого начала скомпрометирована недоразумением. Когда рассеялся страх перед коммунизмом, большинство избирателей, активистов или даже де-голлистов желало правительства, подобного правительству Реймона Пуанкаре. Вожди были более честолюбивы, чем войска. Они отказывались от компромиссов, на которые те согласились бы.

Каковы бы ни были случайности, приведшие к краху революции 1940 и 1944 гг., поражение Объединения, торжество консервативных сил объяснимы. Но французы остались недовольны тем, что у них нет больше желания выходить на манифестации. Трудности с продовольствием, инфляция и коммунистическая угроза в 1946-1948 гг. повышают недовольство. С 1949 г. большинство французов мечтало вернуться к обычному образу жизни. Промышленные рабочие в своем большинстве враждебно относятся к режиму, отказывающему им в участии в общем деле, на которое они претендуют. Политическое взнуздание трудящихся, принадлежность главарей профсоюзов к коммунистической партии поддерживают атмосферу классовой борьбы, но не вызывают непреодолимого восстания.

Революции возникают скорее из отчаяния или надежды, чем от недовольственности. Давление на Францию извне делает переворот еще менее вероятным. В парламентской игре правые извлекают выгоды, благодаря избирательной силе коммунистической партии. Если бы она не была подчинена Москве, если бы она честно сотрудничала с социалистами, Народный Фронт сверг бы консервативную республику, которая, как это ни парадоксально, обязана своей победой своему ненавистному врагу.

По крайней мере в ближайшем будущем обе тактики, между которыми должны выбирать революционеры — увести трудящихся из-под

коммунистического влияния или реализовать общий фронт левых (национальный или народный), объединив коммунистов и некоммунистов, — не имеют никаких шансов на успех. Сила коммунистической партии и слабость социалистической партии уравновешены. Когда первая теряет свой динамизм и своих сторонников — рабочих, вторая ухитряется объединить значительную часть пролетариата; оба эти феномена скорее солидарны, чем противоречивы. Как выйти из этого заколдованного круга? Какие эффектные реформы могут охладить миллионы левых избирателей к той партии, на которую они надеются? Можно сомневаться в том, чтобы достаточно было появиться энергичному министру и экономическому расцвету, чтобы политическая атмосфера немедленно очистилась. Для этого нужно немало времени.

Французский консерватизм был до сих пор защищен «сталинизацией» рабочего движения, слабостью социалистической партии и атлантической солидарностью от революции слева, от нежелательных реформ и от последствий своих собственных ошибок. С 1946 по 1949 г. американская поддержка позволяла не предпринимать драконовских мер, которых требовал кризис. Включение в интернациональную систему, даже если оно необходимо, может заглушить стремление к реформам.

По мнению многих наблюдателей (в том числе и меня), в 1946 году французский парламентаризм казался удивительно неприспособленным к холодной войне, к расколу, внесенному коммунистами, к требованиям полупланового хозяйства. Положение Франции в мире забывалось. Начиная с македонской гегемонии, афинские учреждения больше не улучшались. Став частью империи Александра или Римской империи, славный город не жил больше политической жизнью.

Но сравнение это верно только отчасти. Соединенные Штаты ни талантливы, ни стремятся организовать свою гегемонию. Франция сохраняет чисто политическую ответственность в Европе и в Африке. Поэтому правительство Мендес Франса и эффектные предприятия в Северной Африке были последствиями отказа американцев помогать французам в Индокитае. Поражение Диен-Биен-Фу ускорило падение виновных в парламенте.

Как можно было в 1930 по 1939 гг. не возмущаться слабостью и близорукостью тех, кто правил Францией? Накануне войны уровень промышленности был, приблизительно, на 20% ниже уровня 1929 года. В 1940 году французская армия была вынуждена встретить немецкую армию почти что без поддержки союзников. В течение десяти лет, в связи невообразимым рядом ошибок, правительство вызвало экономический упадок и само стало жертвой упадка экономики и распада французской союзной системы.

Нельзя быть уверенным в том, что внешняя политика IV республики стоит выше политики разлагавшейся III Республики. Мы посвятили наши лучшие силы Индокитаю, области, где у нас больше не было ни интересов, ни средств для действия, — войне, которую мы уже много лет тому назад могли только проиграть, но никак не выиграть.

В Европе до 1950 года наша дипломатия вместо того, чтобы воспользоваться случаем и закрепить примирение, продиктованное обстоятельствами, ухитрилась тормозить восстановление Западной Герма-

нии, которое было неизбежно с того момента, как СССР принялся за советизацию Восточной Европы. Начиная с плана Шумана, наша дипломатия перешла к другой крайности. Мы собираемся построить вместе с Германской Федеративной Республикой, Италией и Бенилюксом нечто вроде общего государства. Федерация Шести становится грандиозной целью, проповедуемой нашими правителями. Но как создать Европу, не разрушая Французского Союза? Согласно ли большинство во Франции и в парламенте с проектом федералистов?

Великие решения, от которых зависит мир или война, не принимаются на Кэ-д'Орсэ. Возможный крах нашей дипломатии не повлечет за собой таких катастрофических последствий, как 20 лет тому назад. До 1939 года у французов были все данные обижаться на свое правительство, так как все они стремились к определенной цели: избежать войны, не теряя независимости. Сегодня этого политического минимума больше не существует. Значительное большинство высказывается в пользу неопределенной Европы с неизвестными границами и неизвестным режимом. Как только дело касается определенной Европы — Европы Шести, федеральной или псевдо-федеральной Европы — французы расходятся так же, как они расходились в вопросе вооружения Германской Федеративной Республики, освобождения Восточной Европы, реформ в Тунисе или Марокко. В крайнем случае, французы соглашались только в том, чтобы изобличать неспособность режима проводить определенную политику. Они жалеют о том, что во Франции нет единогласия; но желают ли они его обрести?

Первое десятилетие IV Республики прошло во Франции лучше, чем последнее десятилетие III Республики. Это суждение может возмутить либералов, которые указывают на падение валюты, на рост государственной бюрократии. Однако, экономическое развитие, даже если оно и влечет за собой инфляцию, предпочтительно застою со здоровой валютой. Поэтому дефляция 1931-1936 гг., вызванная усилиями сохранить курс франка, подготовила социальный взрыв 1936 года и экономические ошибки Народного Фронта.

В области агрикультуры, промышленности, социального законодательства страна менее закоснела, чем раньше. Нельзя сказать, чтобы мальтузианство промышленников было полностью изжито, что все крестьяне осознали необходимость обновить сельскохозяйственную технику. Консервативный дирижизм — защита всех приобретенных выгод — продолжает существовать. Но несмотря на все это, поражение, оккупация, мнимая революция 1944 года встряхнули привычки, ослабили недоверие французов к переменам, к риску.

Если нация стала более жизнеспособной, то политический режим не улучшился. Правительства еще более разделены, еще более слабы, чем в последние годы III Республики. Если не посчитать неспособность к действию высшей государственной добродетелью, то IV Республику нельзя одобрить. Мало говорить только о расколе между интеллигентами, нужно было бы говорить о расколе между французами по отношению к Франции или граждан по отношению к государству. Закоснелое общество и увлекающиеся идеологиями умы противоречивы только внешне: они составляют одну систему. Чем меньше ум занят реальностью, тем больше он мечтает о революции. Чем больше

закоптелой кажется реальность, тем более ум видит свое задание в критике и отрицании реальности.

Рост рождаемости, модернизация промышленности и агрикультуры — вот те обновляющие силы, открывающие перспективы будущего. Интеллигенты примирятся с Францией в тот день, когда она станет более достойной того представления, которое они о ней создали. Если это примирение не осуществится или будет осуществляться медленно, тот взрыв, о котором мечтают революционеры и которого боятся политические партии, хотя и старательно подготавливают его, взрыв внезапно разрывающий узы, перестанет быть невероятным. По неписанному республиканскому закону, ассамблея передает свою власть одному человеку, когда кризис достигает таких размеров, что угрожает режиму и парламентской работе. Этот закон, который продлил жизнь III Республике, по-видимому, перешел и к IV. Поражение в Индокитае открыло путь министерству Мендес-Франса.

Французы недостаточно несчастны, чтобы восстать против своей судьбы. В национальном падении, по их мнению, виноваты обстоятельства, а не люди. Они не в состоянии стремиться к общему будущему, им недостает надежды, вдохновляющей толпу. Им всегда недоставало способности обходиться без идеала. Исполнение обязанностей их не интересует, если эти обязанности не преобразены идеологией. Идеологии же восстанавливают их друг против друга. Они могут жить вместе при условии, что горячность их противоречий смягчается скептицизмом. А скептицизм не революционен, даже если он и говорит на языке революции.



Точно так же, как и понятие «левый», понятие революции не устареет во Франции. Оно выражает мечту, которая всегда будет существовать, пока общества несовершенны и пока люди жаждут реформ.

Это не значит, что стремление к социальному улучшению логически всегда приводит к революции. Для этого нужна еще известная доля оптимизма и нетерпения. Были революции, происшедшие из ненависти к миру, из стремления к катастрофе; но чаще всего революционеры грешны оптимизмом. Все известные режимы можно осудить, если их сравнивать с абстрактным идеалом равенства или свободы. Только те революции, которые были по существу своему авантюрами и только революционные режимы, согласные на постоянное насилие, кажутся способными достичь верховной цели. Миф революции служит убежищем для утопического мышления, он становится таинственным и неожиданным посредником между реальностью и идеалом.

Само насилие чаще привлекает и очаровывает, чем отталкивает. Лейборизм и «скандинавское бесклассовое общество» никогда не пользовались у европейских и особенно у французских левых тем престижем, который сохранила за собой русская революция, несмотря на

гражданскую войну, все ужасы коллективизации и великой чистки. Следует ли сказать «несмотря» или «благодаря»? Иной раз все происходит так, будто цена революции чаще записывается в приход, чем в расход предприятия.

Нет такого безумного человека, который предпочитал бы войну миру. Эти слова Геродота должны были бы относиться и к гражданским войнам. Романтизм войны умер в грязи Фландрии, но романтизм гражданской войны пережил подвалы Лубянки. Иногда возникает вопрос, не совпадает ли миф революции с фашистским культом насилия. В конце пьесы «Дьявол и Господь Бог» Гец восклицает: «Вот начинается царство человека. Прекрасное начало. Ну, Насти, я стану палачом и мясником. . . Эту войну надо вести и я ее поведу».

Неужели царство человека это война?

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Миф пролетариата

Марксистская эсхатология приписывает пролетариату роль коллективного спасителя. Выражения, которые употребляет молодой Маркс, доказывают без всякого сомнения иудео-христианские истоки мифа о классе, избранном на страдание во имя искупления человечества. Миссия пролетариата, завершение исторической эпохи революцией, царство свободы все это — явное повторение тысячелетней мысли: Мессия, перелом, царство Божие.

Но марксизм не умаляется подобным сравнением. Воскрешение вековых верований в поверхностно-научной форме прельщает умы лишенные веры. Миф может показаться прообразом истины, так же как и современная мысль — пережитком мифа.

Превозношение пролетариата как такового — это не всеобщее явление. Это, скорее, отпечаток французского провинциализма. Там, где властвует «новая религия», партия чаще становится объектом культа, чем пролетариат. А там, где побеждает лейборизм, там омещанившиеся заводские рабочие уже больше не интересуют интеллигентов, да и сами не интересуются идеологиями. . . Улучшение судьбы рабочих лишает их престижа отверженных и ограждает их от искушения применить насилие.

Значит ли это, что рассуждения о пролетариате и его миссии свойственны только западным странам, колеблющимся между очарованиями советского режима и привязанностью к демократической свободе? Тонкие дискуссии о пролетариате и партии, развиваемые на страницах журналов „Les Temps modernes“ и „Esprit“, похожи на те, которые вели полвека тому назад активисты и теоретики в России и Германии. В России эти споры сейчас решаются властодержцами, в Германии споры прекратились за отсутствием спорщиков. Но кроме стран обращенных в коммунизм, и Запада, в котором развитие промышленности превратило отверженных мира сего в благоразумных членов профсоюзов, существует еще большая половина человечества, которая завидует жизненному уровню последних и с надеждой взирает на первых.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЛЕТАРИАТА

О точном определении самого ходкого понятия политического языка — понятия класса — ведется страстная дискуссия. Мы не будем здесь вдаваться в обсуждения, которым не видно конца. Ничем нельзя доказать, что существует заранее поддающаяся определению реальность, — которую следует назвать классом. Обсуждение тем более бесплодно, что всем известно, кого в современном обществе принято называть пролетариями: трудящихся, работающих своими руками на заводах.

Почему же определение рабочего класса часто считается трудным? Потому что никакое определение не может указать границ какой-либо категории. На какой ступени иерархии квалифицированный рабочий перестал быть пролетарием? Является ли пролетарием рабочий коммунальных учреждений, если он получает оплату своего труда от государства, а не от частного предпринимателя? Принадлежат ли служащие торговых предприятий, имеющие дело с предметами, сделанными руками других людей, к той же группе, что и рабочие в промышленности? Для нас не важно найти догматический ответ на такие вопросы: различные критерии не сходятся. В зависимости от рода профессии, рода и размера вознаграждения, образа жизни, — тех или иных рабочих включают в пролетариат. Механик в гараже — наемный рабочий, работающий физическим трудом, — не находится в том же положении, не имеет тех же возможностей в обществе, как рабочий, работающий на конвейере в одном из заводов Рено. Не существует такого понятия пролетариата, в которое укладывалась бы только часть трудящихся; пролетариат — это понятие с четко охарактеризованным центром и неясными границами.

Но затруднения в одном только определении понятия границ не могли бы вызвать таких споров. Марксистская доктрина приписывала пролетариату одно определенное свойство — миссию завершить историю человечества, по мнению одних, а по мнению других, осуществить гуманизм. Как могут миллионы заводских рабочих, рассеянных на тысячах предприятий, быть причиной этого осуществления? Отсюда — второе затруднение, на сей раз не в определении разграничения, а единства пролетариата.

Нетрудно установить кое-какие общие материальные и психологические черты трудящихся, работающих физически в промышленности: размер доходов, распределение расходов, образ жизни, отношение к профессии или к работодателю, отношение к ценностям и т. д. Но эти общие черты определяют пролетариат лишь частично. Французский пролетарий многими чертами отличается от английского и очень походит на остальных своих соотечественников. Пролетарии, живущие в деревнях или маленьких городках, могут оказаться более сродни своим соседям, чем трудящимся больших городов. Иными словами, однозначность категории пролетариата явно несовершенна, хотя она более ясно выражена, чем однозначность других категорий.

Эти общеизвестные замечания объясняют, почему между пролетариатом, который изучается социологами, и пролетариатом, миссия которого — завершение истории, неизбежно существует пропасть. Модный метод, засыпающий эту пропасть, состоит в принятии марксист-

ских формул: «Пролетариат или будет революционным, или его вообще не будет»! «Пролетарий становится пролетарием, отказываясь от уступок»²⁸⁾ (Франсис Жансон); «Единство пролетариата — это его отношение к другим классам общества, короче говоря, — его борьба»²⁹⁾ (Ж. -П. Сартр). Начиная с того момента, когда пролетариат определяется всеобщей волей, пролетариат приобретает субъективное единство. Количество живых пролетариев, участвующих в этой общей воле, никакой роли не играет: борющееся меньшинство закономерно воплощает в себе весь пролетариат.

Значение, которое Тойнби придает термину «пролетариат», вызвало новые недоразумения. Согласно Тойнби, промышленный рабочий — это один из типов людей эпохи упадка, которые, чувствуя себя чужими в данной культуре, восстают против установленного порядка и откликаются на призывы пророков. В античном мире рабы и заключенные слышали голоса апостолов. Среди рабочих промышленных пригородов марксистская проповедь собрала много сторонников. Неприсоединившиеся — это такие же пролетарии, как и полу-варварские народы, находящиеся на периферии цивилизованной зоны.

Мы оставили в стороне определение, по которому заключенные, каторжники, национальные меньшинства скорее заслуживают название пролетариата, чем промышленные рабочие. Зато определение Ж. -П. Сартра подводит нас вплотную к существу проблемы. Почему только пролетариат обладает единственной в своем роде исторической миссией?

Избрание пролетариата выражалось у молодого Маркса знаменитыми формулировками: «Класс в радикальных узах, класс буржуазного общества не входящий в это общество, сфера, имеющая всеобщий характер вследствие всеобщности страданий... Обесчеловечение пролетариев, изъятых из всех коллективов, делает их людьми, только людьми, и таким образом, универсальными».

Ту же самую мысль подхватывают в самых разнообразных формах экзистенциалистические философы, в частности, Мерло-Понти: «Если марксизм дает привилегию пролетариату, то лишь потому, что по внутренней логике его состояния, по его менее свободному образу жизни, стоящему вне всякой мессианской иллюзии, только пролетарии, которые «не боги», имеют возможность реализовать гуманизм... Если учесть его роль в данном историческом аспекте, пролетариат идет к признанию человека человеком...»³⁰⁾ «Положение пролетария таково, что он отходит от своеобразия не в мыслях или в процессе абстракции, но на самом деле, в динамике своей жизни. Только он есть та универсальность, о которой он сам мыслит, только он реализует то самознание, набросок которого наметили философы в своих размышлениях».³¹⁾

Мне всегда казалось презренным презрение интеллигентов по отношению к торговым и промышленным профессиям. Но то, что люди,

²⁸⁾ Esprit, июль-август 1951 г., стр. 13.

²⁹⁾ Коммунисты и мир, в Temps modernes, октябрь-ноябрь 1952, №№ 84-85, стр. 750.

³⁰⁾ «Гуманизм и террор» (Humanisme et Terreur), Paris 1947, стр. 120.

³¹⁾ Там же, стр. 124.

смотрящие свысока на инженеров и промышленных директоров, видят универсального человека в рабочем у станка, кажется мне симпатичным, но удивительным. Ни разделение заданий, ни повышение жизненного уровня не помогает этому общению.

Понятно, что пролетарии, которых наблюдал Маркс, работавшие по двенадцати часов, не защищенные профсоюзами, ни социальными законами, страдавшие от безжалостного законодательства, могли казаться **обезличенными** несчастьем. Но совсем не таково положение рабочего в Детройте, Кавентри, Стокгольме, Бийанкуре, Руре, совсем не похожего на универсального человека, а скорее на гражданина определенной нации, активиста определенной партии. Философ имеет право высказывать пожелание, чтобы пролетарий не включался в существующий общественный порядок, а оставался в сфере революционной активности. Но в середине XX века он не может установить факт универсальности промышленного рабочего. В каком смысле можно называть французского рабочего, раздираемого между соперничающими организациями, «единственно подлинной внутренней субъективностью»?

Дальнейший путь рассуждения, стремящегося подтвердить марксистскую эсхатологию, не более убедителен. Почему пролетариат **обязан быть революционным**? Если ограничиваться неопределенным значением этого слова, можно утверждать, что рабочие Манчестера в 1850 году, как и рабочие Калькутты сегодня, реагируют на свое положение своего рода возмущением. Они сознают себя жертвами несправедливой организации. Не все пролетарии чувствуют себя эксплуатируемыми или угнетенными. Крайняя нищета или привычное смирение заглушает это чувство; повышение жизненного уровня или гуманизация промышленных взаимоотношений смягчают его. Но все-таки это чувство никогда не исчезает полностью, даже при назойливой пропаганде в коммунистическом государстве, настолько оно связано с положением наемного трудящегося, со структурой современной промышленности.

Из этого нельзя заключить, что пролетариат как таковой спонтанно революционен. Ленин достаточно ясно установил безразличие рабочих к их призванию, их безразличие к реформам *hic et nunc*. Теория партии как авангарда пролетариата — родилась именно из познания необходимости увлечь массы, мечтающие о лучшей доле, но отвращающиеся от Апокалипсиса.

В марксизме молодого Маркса революционное призвание пролетариата вытекает из требований диалектики. Пролетарий — раб, который восторгается над своим господином не за себя, а за всех... Он свидетель бесчеловечности, которая создает человечность. Маркс провел весь остаток своей жизни в поисках подтверждения истинности этой диалектики с помощью экономического и социального анализа.

Правоверному коммунисту не стоит ни малейшего труда защищать революционное призвание пролетариата. Оно подразумевается толкованием истории, которое он считает несомненным. Главной ценностью, таким образом, становится партия. Но и существование этой партии, и ее революционность не подлежат сомнению. Сперва вступают в партию потому, что она воплощает в себе класс, которому предназначается роль всеобщего спасителя. А для члена партии не может быть во-

проса о классе, тем более, что товарищи его — выходцы из всех классов.

Это нельзя сказать о французских философах, которые считают себя революционными, но отказываются вступить в партию, хотя и утверждают, что «с рабочим классом нельзя бороться, не став врагом людей и самого себя».³²) Промышленный рабочий середины XX века не является больше человеком, приведенным к нагоде человеческого состояния, растворением всех классов и всякого своеобразия. Как эти мыслители оправдывают ту миссию, которую они на пролетариат возлагают?

Если выразаться просто, то останутся приблизительно следующие утверждения. Промышленный рабочий не может осознать своего положения, не восставая против него; восстание — единственная человеческая реакция на бесчеловечные условия. Трудящийся не отделяет своей судьбы от судьбы других; он ясно видит, что его несчастье коллективно, не индивидуально, связано со структурами учреждений, а не с намерениями капиталистов. Поэтому пролетарский бунт стремится организовать, стать революционным под предводительством определенной партии. Пролетариат становится классом только по мере того, как он приобретает единство, а это единство может возникнуть только из оппозиции к другим классам. Сущность пролетариата в его борьбе против общества.

Жан-Поль Сартр в своих последних произведениях исходит из чисто марксистской мысли, что пролетариат объединяется только в оппозиции к другим классам, и отсюда заключает о необходимости организации, т. е. партии. Он намеренно, втихомолку, смешивает пролетарскую партию с партией коммунистической; таким образом он оборачивает в пользу ее аргументы, доказывающие лишь необходимость **какой-то** партии, защищающей интересы рабочих. Впрочем, остается неизвестным, предназначается ли этот аргумент для французского пролетариата 1955 года, или для французского пролетариата существующего уже два века, или для всех пролетариев, находящихся под капиталистическим режимом.

Но вернемся к прозаическим мыслям. Если согласиться называть пролетариями промышленных рабочих, то следует спросить — против каких сторон своих жизненных условий они восстают? Кого уничтожила бы революция? В чем точно состоит появление «депролетаризированного» рабочего класса? Чем будут отличаться трудящиеся, победившие вчерашнее отчуждение, от сегодняшних рабочих?

ИДЕАЛЬНОЕ И РЕАЛЬНОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ

Пролетарий, как говорит нам Маркс и вторящие ему писатели, «отчужден». Он не имеет ничего, кроме своей рабочей силы, которую он продает на бирже труда хозяину средств производства. Он ограничен одним и тем же видом работы и в награду за свои усилия получает плату, которой ему только-только хватает на содержание себя и своей

³²) Ж.-П. Сартр, *Temps modernes*, июль 1952, № 81, стр. 5.

семьи. По этой теории, первопричиной угнетения и эксплуатации является частная собственность на орудия производства. Лишенный прибавочной стоимости, которую заграбают только капиталисты, рабочий, так сказать, лишается своего человеческого облика.

Эти марксистские темы стоят на заднем плане мышления. Их трудно воспроизвести в чистом виде. Узел доказательства в «Капитале» — это понятно, по которому заработная плата, как и всякий товар, имеет ценность, определяемую нуждами рабочего и его семьи. Но если это понятие берется в его строгом смысле, то повышение зарплаток на Западе его бесспорно опровергает. Если же оно толкуется в широком смысле и неограниченные нужды рабочего становятся зависимыми от массовой психологии, то и в таком случае это понятие само по себе ничего не говорит. В середине XX века заработная плата в Соединенных Штатах должна позволить покупку стиральной машины или телевизора.

Во Франции «Капитал» почти не изучается и писатели ссылаются редко на него. Но рассуждения на тему о закреплении рабочих ослабели не потому, что экономические теоремы Маркса забыты, но благодаря констатации определенного факта: претензии рабочих не имеют ничего общего с системой собственности. Они остаются неизменными, когда средства производства переходят в руки государства.

Перечень основных претензий: 1) недостаточная оплата труда; 2) слишком большая длительность работы; 3) опасность частичной или полной безработицы; 4) недоразумения, связанные с техникой и административной организацией завода; 5) чувство замкнутости в рабочем сословии без перспектив продвижения выше; 6) сознание того, что рабочий — это жертва несправедливости — потому ли, что рабочему отказано в справедливой части национального дохода, или потому, что ему отказывают в участии в экономическом руководстве.

Марксистская пропаганда стремится утвердить категорию основной несправедливости и подкрепить ее теорией эксплуатации. Эта пропаганда имеет успех не во всех странах. Там, где непосредственные требования в основном удовлетворены, обвинение режима становится бесплодным радикализмом. Зато там, где они не удовлетворены или удовлетворяются слишком медленно, искушение придаться к режиму может стать непреодолимым.

Но марксистское толкование бедственного положения пролетариев не может казаться неправдоподобным самим пролетариям. Жесткие нормы оплаты труда, нищета, жестокость техники, жизни без будущего, опасности безработицы: почему все это не приписать капитализму, если за этим неопределенным понятием скрываются одновременно и производственные отношения и способ распределения благ? Даже в тех странах, где реформа проведена широко, даже в Соединенных Штатах, где частично предприятие в основном приемлемо для рабочих, все-таки существует враждебное предубеждение к доходу предприятия, всегда готовое проснуться подозрение, что капитал или анонимное общество в силу своей сущности эксплуатируют своих рабочих. Марксистское толкование сходится с тем взглядом на общество, к которой непосредственно склонны рабочие.

На Западе уровень зарплаток, как известно, зависит от продуктивности труда, от распределения национального дохода, т.-е. ка-

питаловложениями на военные и потребительские расходы, от распределения доходов между классами. При режиме советского типа, распределение национального дохода менее равномерно, чем при капиталистическом или смешанном режиме. По ту сторону железного занавеса объем капиталовложений гораздо больше. Экономическое развитие послужило там в большей мере повышению государственной мощи, чем повышению жизненного уровня. Нет доказательств тому, что коллективная собственность более благоприятна для повышения производительности, чем частная собственность.

Капитализм уживается с сокращением рабочего времени. Зато опасность безработицы остается одной из болезней, свойственных не столько режиму частной собственности, сколько всякому режиму, сохраняющему свободный рынок. Без радикального подавления колебаний рыночной конъюнктуры или без примирения с постоянной инфляцией нельзя устранить из экономики свободного рынка опасность безработицы, хотя бы и временной. Этот недостаток нельзя отрицать, нужно попытаться по возможности смягчить его.

Что касается тяготы фабричного труда, то психотехники уже проанализировали ее причины и многочисленные ее разновидности. Они предложили методы, могущие ослабить утомление и скуку, успокоить недовольство, включить рабочих в ячейку предприятия или во все предприятие в целом. Ни один режим, будь то капиталистический или социалистический, не включает в себе эти методы и не исключает их. Слабость частной собственности в данном случае в том, что недовольство режимом заставляет многих рабочих и интеллигентов порицать применение этих методов, выведенных из науки о человеке и предназначенных для охранения социального порядка.

Зависят ли шансы продвижения рабочих в социальной иерархии только от режима? Ответ затруднителен: сравнительное изучение подвижности социальной массы слишком несовершенно, чтобы можно было высказать категорическое суждение. Обычно продвижение тем легче, чем больше увеличивается число профессий, не требующих ручного труда. Экономический прогресс уже сам по себе является фактором подвижности. Уничтожение кастовых предрассудков в странах буржуазных демократий должно было бы способствовать ускорению обновления элиты. В Советском Союзе уничтожение старой аристократии и быстрота индустриализации увеличили шансы продвижения рабочих.

Наконец, протест против режима как такового логически приводит к реакции. Если капитализм, определяемый частной собственностью на орудия производства и рыночным хозяйством, является первопричиной всех бед, то реформы следует отвергнуть, так как они могут продлить существование ненавистной системы.

Исходя из этих, в общем, общеизвестных замечаний, можно легко различить два вида освобождения рабочего класса. Первый вид освобождения, который никогда не завершается, состоит из многочисленных частичных мер: оплата рабочих повышается одновременно с производительностью, социальные законы об условиях работы с работодателями, расширение образовательной системы увеличивает шансы рабочих на продвижение по иерархической лестнице. Назовем это освобождение **реальным**: оно выражается конкретным улучшением жиз-

ненных условий пролетариев, оно не уничтожает протестов (безработица, затруднения внутри предприятия), а иногда и возмущения против принципов режима среди более или менее сильного меньшинства.

Революция советского типа дает абсолютную власть меньшинству пролетариата, и превращает многих рабочих или сыновей рабочих в инженеров или комиссаров. Но освобождается ли сам пролетариат, т. е. те миллионы людей, которые по прежнему работают на заводах?

Уровень жизни не повысился внезапно. В странах народных демократий Восточной Европы, он, скорее, понизился, так как новые правящие классы, по всей вероятности, потребляют не меньше благ, чем старые. Там, где раньше существовали свободные профсоюзы, существуют только организации, подвластные государству, задание которых — вызвать трудовое напряжение, а не ставить какие-либо требования. Опасность безработицы исчезла, но так же исчез и свободный выбор профессии или места работы, избирание профсоюзных руководителей и членов правительства. Пролетариат больше не закрепощен, потому что, согласно идеологии, ему принадлежат не только средства производства, но и само государство. Но пролетариат не освобожден ни от угрозы ссылки, ни от рабочей книжки, ни от власти директоров предприятий.

Значит ли это, что подобное освобождение, которое мы назовем **идеальным**, на самом деле не реально? Не будем увлекаться полемикой. Мы говорили, что пролетариат склонен толковать общество согласно марксистской философии: он видит себя жертвой хозяина предприятия даже тогда, когда на самом деле он есть жертва недостаточной продуктивности. Это суждение неверно, но оно свойственно пролетариату. С уничтожением капиталистов, замененных директорами государственных предприятий, с введением планового хозяйства все становится ясным. Неравенство в оплате труда соответствует неравной значимости занимаемой должности, понижение потребления — повышению капиталовложений. Пролетарии — во всяком случае весьма многие из них, — легче соглашались видеть «ЗИС» у директора государственного предприятия, чем «Пакард» у хозяина-капиталиста. Они не протестуют против лишений, потому что понимают их значение для будущего. Те, кто верит, что бесклассовое общество завершит историю, чувствуют себя участниками великого дела, во имя которого они приносят жертву.

То освобождение, которое марксисты называют **реальным**, мы называем **идеальным**, потому что оно определено идеологией. Ведь частная собственность считается первопричиной всякого закрепощения, и наемный рабочий «отчужденный на службе у частного предпринимателя — он обобществляется при советском режиме благодаря своему участию в коллективе; он освобожден т. к. подчинен только необходимостям плановой индустриализации, а эти необходимости совпадают с требованиями истории, руководимой непреложными законами.

Кто изобличает капитализм, тот предпочитает планификацию и ее политическую суровость механизму свободного рынка с неожиданными колебаниями. Советскую идеологию можно понимать исторически. Она хочет, чтобы ее судили не по тому, что она дает сейчас, а по тому, что она даст в будущем. Медленность повышения жизненного уровня в течение первых пятилеток оправдывается не доктриной, а необхо-

димостью увеличить экономически-военную силу Советского Союза, находящегося под угрозой. Идеальное освобождение после завершения построения социализма все более и более будет походить на реальное.

До захвата власти никто из теоретиков большевизма не представлял себе, что профсоюзы будут укрощены социалистическим государством. Ленин понимал опасность того, что, так называемое, пролетарское государство повторит преступления буржуазного государства, и заранее защищал независимость профсоюзов. Экономическая разруха после гражданской войны, военный стиль управления, свойственный Троцкому и большевикам во время борьбы с их врагами, заставили забыть либеральные идеи, которые проповедывались накануне.

Сегодня говорят, что недовольство рабочих забастовками, оппозиция против власти больше не имеют смысла, т. к. государство стало пролетарским. Критика бюрократии остается законной, необходимой. В частности, по эзотерической доктрине, предполагают расширить права критики, когда будущие успехи социалистического строительства позволят смягчить дисциплину. Т. к. режим обвинять не в чем будет, то профсоюзы, подобно американским и британским синдикатам, будут защищать интересы рабочих против требований директоров предприятий. Функция предъявления требований, таким образом, постепенно присоединяется к функции мобилизации трудящихся.

Мы можем согласиться даже и с этим конечным оптимизмом; но почему западные страны, прошедшие в прошлом веке ту фазу развития, которая соответствует фазе первых пятилеток, должны пожертвовать мифу идеального освобождения свои реальные освобождения? Там, где парализован капиталистический или смешанный режим, приводится тот же аргумент, что и в недоразвитых местностях: только безусловный авторитет какого-нибудь коллектива, хозяина государства, позволяет разбить сопротивление феодалов или крупных собственников и ввести коллективную экономику. Но зачем там, где продолжается экономический прогресс, где достигнут высокий жизненный уровень, приносить в жертву тотальному освобождению и таинственно связанному с ним всемогуществу государства, реальные свободы пролетариев, даже если они частичны. Может быть, что такое освобождение дает трудящимся, не имевшим опыта с западным синдикализмом или социализмом, впечатление прогресса. В глазах немецких или чешских рабочих, знавших реальную свободу, это только мистификация.

ОЧАРОВАНИЕ ИДЕАЛЬНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ

Когда пролетариат в своем большинстве следует за вождями, сторонниками реального освобождения, у левых не возникает конфликтов с совестью. Может быть, они бессознательно и разочарованы поведением рабочих, более ценящих непосредственные блага, чем грандиозные планы будущего. Художники и писатели не задумываются над британским лейборизмом или шведским синдикализмом и они правы, не тратя своего времени на изучение достижений замечательных во многих отношениях, но не требующих однако вмешательства их высоких умов. В Великобритании вожди рабочего происхождения обычно бы-

вают сдержаннее, чем вожди из интеллигентов. А. Бевин является исключением: поэтому он всегда окружен интеллигентами, а в первых рядах его врагов стоят руководители профсоюзов.

Совсем иначе дело обстоит во Франции; там значительная часть рабочих отдает свои голоса коммунистической партии, там секретари самых влиятельных профсоюзов — члены партии, там реформизм считается бесплодным. Там возникает противоречие, которое терзает и восхищает экзистенциалистов, левых христиан, прогрессистов. Как отделиться от партии, представительницы пролетариата? Как вступить в партию, служащую больше интересам Советского Союза, чем интересам французского рабочего класса?

Если эту проблему поставить правильно, то для нее можно найти несколько решений. Если считать, что Советский Союз, несмотря ни на что, защищает дело пролетариата, то нужно поступать в партию и сотрудничать с ней. Если, наоборот, считать, что реальное освобождение имеет больше шансов в западном лагере, что разделение мира является единственным шансом на мир и Франция оказывается географически на стороне буржуазных демократий, то тогда нужно пытаться освободить профсоюзы от влияния тех, кто честно поступил на службу Москве. Наконец, можно принять среднее решение — внутренний прогрессизм и внешнюю нейтральность, без разрыва с Западом. Ни одно из этих решений не требует метафизических рассуждений, ни одно не превращает интеллигента во врага пролетариата. Однако при одном условии: решение должно быть принято в соответствии с исторической обстановкой, а не в соответствии с марксистскими пророчествами. А экзистенциалисты и прогрессивные христиане смотрят на эту реальность только сквозь это пророчество.

Желание быть солидарным с пролетариатом свидетельствует о существовании благих чувств, но не помогает ориентировке в этом мире. В середине XX века больше не существует мирового пролетариата. Если вступить в русскую пролетарскую партию, то надо бороться с американской пролетарской партией, если только не считать представителями американского рабочего класса несколько тысяч коммунистов и негритянский и американский лумпен-пролетариат. Если быть членом французских профсоюзов с коммунистическим центром, то надо восставать против немецких профсоюзов, которые единогласно высказались против коммунизма. Если присоединяться к голосу большинства, то Франции тридцатых годов надо быть социалистом, коммунистом в пятидесятых, а в Англии нужно быть лейбористом.

Миллионы рабочих, занятых физическим трудом на заводах, не имеют **одного** непосредственного мнения и **единой** воли. В зависимости от страны или обстоятельств, они могут быть склонны то к насилию, то к примирению. **Подлинный** пролетариат определяется не жизненным опытом промышленных рабочих, а одной из доктрин исторических.

Почему философы, стремящиеся в середине XX века, после Второй мировой войны, охватить самое конкретное, возвращаются к марксистскому пророчеству о пролетариате, и почему это происходит во Франции, которая насчитывает больше крестьян и мещан, чем пролетариев? Путь Сартра к пара-коммунизму может казаться диалектическим; он заключает в себе и «за» и «против». Так как человек «пустая страсть»,

то все «проекты» тоже надо было бы в конечном анализе считать одинаково бесплодными. Сияющая картина бесклассового общества сменяет описание общества пресмыкающегося. Так это было у писателей — натуралистов; политический оптимизм нередко чередовался с описанием человеческой низости: голубой цветочек будущего на навозе настоящего.

Экзистенциальный психоанализ, так же как и марксистская критика, исключает все другие доктрины разоблачая их низменные интересы, скрывающиеся под словесным великодушием. Этот метод может привести к своеобразному нигилизму: почему наши убеждения должны быть чище других убеждений? Ссылка на коллективное или индивидуальное волеизъявление в фашистском стиле выход из этого всеобщего отрицания. «Изжитая несубъективность» пролетариата или закон истории дает другой выход.

Итак, экзистенциалистическая философия вдохновлена моралью. Сартра преследует забота о подлинной человечности, обобщении, свободе. Всякое положение парализующее проявление свободы противно назначению человека. Подчинение одного индивидуума другому искажает диалог между равными сознаниями, ибо они равно свободны. Этический радикализм, связанный с незнанием социальных структур, располагал Сартра к словесной революционности. Ненависть к буржуазии отвлекла его от прозаических реформ. Пролетариат не должен договариваться с «негодяями», опирающимися на свои приобретенные права. Таким путем философ, исключая всякий тоталитаризм, вводит признание рабочего класса, не видя, что тут скрыто непреодоленное противоречие.

Вдохновение прогрессивных христиан иного рода, и те вопросы, в которых они обращаются к своей совести, нередко бывают трогательными. Для не-католика трудно подойти к этому вопросу без того, чтобы его не обвинили в фальши или фанатизме. Меры, принятые против священников — рабочих, потрясли христиан; кроме того этими мерами воспользовались люди, безразличные к религии, увидевшие в этом возможность дискредитировать Церковь.

Первый факт, дающий возможность понять поведение христиан — прогрессистов, это связь многих французских пролетариев с коммунистической партией.

Так, автор статьи «Церковная молодежь»³³⁾ пишет:

«При сложившихся у нас удобных, но отвлеченных и искаженных взглядах на тот мир рабочих, в котором должна утвердить себя Церковь, вы не можете рассчитывать на ее благотворное влияние. Поэтому мы пойдем до конца, во что бы то ни стало. До конца, т. е. до того, пока не установим факта **органической связи** коммунизма со всем миром трудящихся.»

Откуда эта органическая связь? Автор книги не дает исторических объяснений; слияние профсоюзов во времена Народного Фронта, движение сопротивления, создание ячеек во время освобождения, все эти приведенные автором аргументы могут быть применены с успехом и во многих других случаях. Коммунистическая партия «в некотором роде

³³⁾ Les Evénements et la Foi, 1940–1952, Paris. Ed. du Seuil, 1951, p. 35.

научно открыла причины угнетения рабочего класса», она организовала этот склонный к насилию класс «для действия, успех которого в далеком будущем ценнее всех частичных современных результатов». Наконец, коммунизм будто бы предложил рабочему населению «ту философию, о которой Жан Лакруа писал, что она является имманентной философией пролетариата».³⁴⁾

«То, что мы ищем», пишет так-же «Церковная молодежь», — «и что мы ищем страстно, — так как если мы этого не найдем, то впадаем в отчаяние, — это новая, здоровая историческая сила, не запятнанная никакими грязными комбинациями прошлого, которая может совершить то, о чем другие только мечтали и старались использовать в своих интересах. Именно такая сила существует: мы открыли ее интенсивность, ее возможности по мере того, как события нас сближали с народом. Единственный современный мир, достойный надежды, это мир рабочих. . . Нет, рабочие не сверх-люди и не святые; они бывают очень слабы перед соблазном, мерзостями, пример которых подают сильные мира сего, возводя их в добродетели. И не смотря на это рабочие несут в себе юность всего мира — мира нового в сравнении с тем, который распадается на наших глазах, но который, несмотря на отделивающие его века роднится с теми цивилизациями, в которых деньги, капитал еще не все захватили и не все испортили».³⁵⁾

Рабочие несут в себе юность мира, коммунистическая партия с ними органически связана, но: — «возможно только такое выдвижение рабочего класса, которое соответствует планам и средствам, подсказанным рабочим их жизненными условиями и условиями их борьбы».³⁶⁾ Из этого выводится заключение: «Рабочий класс вновь станет христианским — мы твердо на это надеемся, — но произойдет это, по всей вероятности, только после того, как он сам покорит человечество, покорит его своими собственными силами, движимый той имманентной философией, носителем которой он является».³⁷⁾ И еще: «Благодаря рабочему движению человечество обретает новую юность».³⁸⁾

Мне кажется ненужным отмечать чисто интеллигентские ошибки, встречающиеся в этих текстах; эти ошибки свойственны не какому-нибудь определенному лицу, — они свойственны определенной среде. Согласиться с тем, что марксизм в том виде, в каком его проповедуют коммунисты, является научным объяснением несчастий рабочих, значит то же, что спутать физику Аристотеля с физикой Эйнштейна или «Происхождение видов» Дарвина с современной биологией. Марксизм сталинцев, наивно воспринятый левыми христианами, приписывает режиму, как таковому, ответственность за угнетение и бедность. В частной собственности и в механизме рынка он видит то зло, от которого страдает рабочий класс. То, что здесь названо наукой, есть всего лишь идеология.

Точно также марксизм не есть «имманентная философия пролетариата». Может быть, заводские рабочие и склонны считать, что все общество находится в руках и эксплуатируется владельцами средств

³⁴⁾ Там же, стр. 36-37.

³⁵⁾ Там же, стр. 18-19.

³⁶⁾ Там же, стр. 59.

³⁷⁾ Там же, стр. 57.

³⁸⁾ Там же, стр. 56.

производства. Обвинение собственников заводов, непонимание причин бедности и переложение всей вины на капитализм иногда привлекает рабочих, склонных к упрощенным суждениям; эти суждения и поддерживает коммунистическая пропаганда. Но утверждение, что только революция позволит освободить рабочий класс, далеко не выражает имманентной мысли пролетариата; она относится к доктрине, в правоте которой коммунистам далеко не всегда удается убедить своих последователей — рабочих.

Итак, марксизм отнюдь не есть наука о несчастьях рабочих, а коммунизм не есть имманентная философия пролетариата; марксизм скорее можно назвать философией интеллигентов, привлекающей часть пролетариата; коммунизм и пользуется этой псевдо-наукой, чтобы достичь своих собственных целей — захвата власти. Рабочие сами не верят в то, что они избраны для спасения человечества. Они тоскуют скорее о приближении к буржуазии.

Из этих ошибок вытекает третья, — в вопросе о классовой борьбе и наступлении нового мира. Мы не собираемся оспаривать те добродетели, которые приписывают рабочим левые христиане: мы признаемся в нашем неведении. Когда мы читаем, что «рабочий класс — истинный народ, и только из любви к свободе он когда-то сознательно или бессознательно отошел не столь от Церкви, сколько от тех учреждений и внешних форм, в которые буржуазия ее замкнула»,³⁹⁾ когда мы читаем, что «большинство народа... верно Нагорной проповеди»,⁴⁰⁾ — то мы не склонны ни отрицать — доброта простых людей не легенда, — ни соглашаться, — т. к. миф о избранном классе явно замечен в этих фразах.

Католик имеет право думать, что для большинства режим коллективной собственности и планирование лучше, чем капиталистический режим. Это мнение вне церковного порядка, с ним можно соглашаться или не соглашаться. Католик имеет право думать, что история движется к избранному им типу режима; он имеет право признавать, как факт, борьбу социальных классов за распределение национального дохода или за организацию общества. Но если католик называет наступление социализма **смыслом истории**, если в его мыслях власть коммунистической партии преобразуется в освобождение трудящихся, если он придает духовный смысл классовой борьбе, — то тогда он стал марксистом и тщетно пытается связать новую христианскую ересь с правоверным католичеством.

То, что бессознательно прельщает христианина в рабочей массе и марксистской идеологии, — это пережитки, отголоски религиозного опыта; пролетарии и активисты, как первохристиане, живут в ожидании нового мира: они остались чистыми, милосердными, потому что никогда не эксплуатировали себе подобных; класс — носитель юности человечества восстает против старой гнили. Левые христиане субъективно остаются католиками, но революция заслоняет их религиозность. «Мы не боимся, мы уверены в нашей вере, уверены в нашей Церкви. И кроме того, мы знаем, что она никогда долго не сопротивлялась истинному прогрессу человечества... Если рабочие заговорят с нами о

³⁹⁾ Там же, стр. 78.

⁴⁰⁾ Там же, стр. 79.

религии, если они даже просят крестить их, то, пожалуй, начнем с того, что спросим их, задумывались ли они над причинами бедственного положения трудящихся и участвуют ли они в борьбе, которую ведут их товарищи для общего блага?».⁴¹⁾

Последний шаг сделан: проповедь Евангелия подчинилась революции. Думая вернуть рабочих в лоно христианства, прогрессисты сами оказались «омарксованными».

Вера католиков вполне совместима с симпатиями к прогрессивным партиям, к рабочему движению, к планификации; но она несовместима с марксистским пророчеством, потому что оно видит путь к спасению в исторической эволюции. Освобождению, к которому стремится деятельность коммунистов, можно дать объективную оценку. Возможно, что иногда будет справедливее предпочесть революционное насилие, не смотря на его высокую цену, медленному ходу реформ. Но то, что идеальное освобождение есть условие всякого прогресса, первый этап искупления, — можно говорить только при чисто религиозном понимании истории.

Коммунисты искренне утверждают, что они атеисты, но они движимы верой: они стремятся не только к разумной организации эксплуатации природных богатств и к обобществлению жизни, — они мечтают также овладеть космическими силами, управляющими человеческими обществами, разгадать тайну истории и отвлечь самодовольное человечество от трансцендентных размышлений.

Идеальное освобождение прельщает левых католиков постольку, поскольку оно выражается терминами, заимствованными у христианской традиции. Оно же прельщает экзистенциалистов, потому что пролетариат будто-бы предлагает угнетенным одиночеством сознаний философам мистическое единство. Идеальное освобождение прельщает и тех и других, потому что оно несет в себе поэзию неизвестного, поэзию будущего, поэзию абсолютного.

ПРОЗАИЧНОСТЬ РЕАЛЬНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ

Во Франции мало прогрессивных христиан в строгом смысле этого слова. Заграницей их почти совсем нет. Многие французские католики принадлежат к левому крылу, но это тоже чисто французское явление. Что же касается фразеологии французских философов, — экзистенциалистов, то ни в одной западной стране не найти подобной ей. Из этого можно было бы заключить, что мечты об идеальном освобождении и презрение к реальному освобождению характерны только для французской, или только для парижской атмосферы.

Но я все же не уверен, что это явление не имеет значения вне Сен-Жермен-де-Прэ. Искушение идеальным освобождением — это реакция на разочарование в реальном освобождении. Искушение это охватывает небольшой круг; но боюсь, что разочарование распространено широко. Трудящиеся Запада становятся мелкими мещанами; они не обновили цивилизации, а, скорее, помогли распространению сниженной

⁴¹⁾ Там же, стр. 61-62.

культуры. Такое положение, будь оно только временным, все же способно разочаровать интеллигентов.

Теоретики рабочего движения в прошлом веке изобрели три метода, которые упрощенно можно назвать методом революции, методом реформы и методом революционного синдикализма. Первый метод имел успех в России и Китае, второй — в большинстве западных стран, а третий — нигде. Этот третий метод во многих отношениях наиболее привлекателен. Он предполагал проведение революции на месте работы сознательными, гордящимися своим классовым сознанием рабочими, отказывающимися подчиняться опеке капиталистов или сливаясь с мелкой буржуазией. Но рабочие нигде не руководили производством. Иначе это и быть не могло.

Технический прогресс расширяет роль исследовательских институтов и администрации, он требует от инженеров большей компетентности, он уменьшает количество разнорабочих, но также и рабочих-профессионалов и повышает количество рабочих — специалистов, которым достаточно нескольких недель обучения.

Что могли получить рабочие, взявшие на себя руководство промышленностью? Избрание директоров? Частые заседания комитетов или общих собраний служащих предприятий? Это было бы и абсурдно или смешно. Можно себе представить постепенное изменение предприятия, более справедливое распределение доходов, справедливое вознаграждение за труд. Но уничтожение заработной платы, о котором время от времени говорят демагоги, возможно только символически. Если называть заработной платой вознаграждение за определенное время работы или за сдельную работу, которую выплачивает частный предприниматель, то рабочие заводов Рено или заводов имени Горького не получают заработной платы. Но если революция не совершается в предприятиях, то она становится делом политики, профсоюзов, партий. В британских профсоюзах рабочие окружены заботой огромной, мирно настроенной администрации, главы которой часто заканчивают свою карьеру в Палате лордов или в комитетах директоров угольных копей или электростанций. Было ли раскрепощение английского пролетариата делом самих пролетариев? В каком-то смысле, да. Лейбористы выдвинулись не без борьбы, они всегда финансировались и поддерживались тред-юнионами; но тред-юнионы представляют рабочих, которые в своем большинстве пассивны; они не хотят нести ответственности как в государственных предприятиях, так и в частных. Английские рабочие почти с такой же настойчивостью требуют повышения заработной платы при правительстве Этли, хотя их вожди и стали министрами, как они требовали этого при Черчилле. Лейбористское министерство — это их министерство почти в том же смысле, как и министерство сэра Уинстона: в обоих случаях лейбористы хорошо чувствуют себя в правительстве, так как они морально не отделяют себя от нации.

Барьеры, воздвигнутые историей между классами, пожалуй еще сильнее стерлись в других нациях. Говоря о Швеции, наблюдатели часто упоминают о бесклассовом обществе, настолько сознание принадлежности к какому-то **определенному** классу притупилось в этой стране.

Презирать результаты, достигнутые недоктринерским социализмом, — это невыносимая фальшь со стороны тех, кто печалится о несчастьях пролетариев. Как нам не удивляться умолчанию об этом тех интеллигентов, которые все свои надежды возложили на рабочее движение.

Что нам постоянно повторяют издатели «Esprit»? Что пролетариат является носителем общечеловеческих ценностей и что, следовательно, его борьба есть борьба всего человечества. Отсюда многочисленные формулировки, выражающие многочисленные и неясные чувства. Мы можем быть «благодарны Марксу, так как он дал нам понять, что прогресс философии связан с прогрессом пролетариата — носителя превосходящих его ценностей». «По всем этим причинам рабочее движение это явление, в котором надо сегодня участвовать, чтобы быть способным размышлять».⁴²⁾ «Если пролетариат является носителем будущего, то именно в той мере, в какой его освобождение окажется общим освобождением, а не свержением власти, заменяющим тиранию капитала диктатурой труда, возведенного в божественное достоинство».⁴³⁾

Что же это за «рабочее движение», в котором, по его утверждению, участвует профессор философии? Это — повышение жизненного уровня, усиление рабочих профсоюзов, социальное законодательство, гуманизация промышленных взаимоотношений. Эти реформы не выдвигают рабочий класс в первые ряды. Рабочий, соприкасающийся с миром реальной материи, обреченный на ежедневный труд, не может быть защищен от подлости тех, кто живет в мире слов. Технический прогресс, который руку заменяет машиной и физическое усилие — знанием, не «продвигает» рабочего вперед. Работающий ручным трудом человек опускается по социальной лестнице не по вине капитализма и социализма, а по вине детерминизма, той науки, которая применяется в промышленности.

В каком-то смысле рабочее движение реально. Уже прошло то время, когда люди непривилегированные, лишенные всякого образования, замкнутые в маленькие общины, изолированные от остального мира, находились вне исторических судеб. Теперь люди умеют читать и писать, они живут в близком соседстве в больших городах, им льстят власть имущие, чтобы властвовать от их имени. Но, как всем известно, эра масс является одновременно и эрой империй, крупных хищников, заговоров. Убийства в тени дворцов императоров или начальников полиции, принадлежат к той же эпохе, что и нюрнбергские манифестации или первомайские парады в Москве. Сила рабочих организаций влечет за собой возрастающую пассивность каждого рабочего в отдельности. Настоящая рабочая культура чахнет по обе стороны железного занавеса по мере того, как пролетарии омещаниваются и жадно поглощают жуткую литературу так называемой народной печати или «социалистического реализма».

Формулы «тирания капитала» и «рабочая цивилизация» еще более двусмысленны, чем формула «рабочее движение». Можно угадать мысли тех, кто их употребляет. Почему бы людям не принести все самое лучшее в жертву служения идеалу, коллективу? Рискую показаться

⁴²⁾ Жан Лакруа, Esprit, 1951, №№ 7-8, стр. 207.

⁴³⁾ Esprit, 1951, №№ 7-8, стр. 217.

циником, я думаю, что социальный порядок не может положиться на добродетель и незаинтересованность граждан. Чтобы добиться максимальных результатов, планировщики уже давно восстановили неравенство заработной платы и даже доходов: советский директор оставляет себе большую часть фондов накопления излишков предприятия.

Поношение денег появляется в антикапиталистической и антибуржуазной литературе с того момента, когда молодой Маркс написал свои первые произведения. Тут-то левые и присвоили себе идеал всеобщего благополучия, отвергнутый мыслителями, мечтавшими о возвращении аристократических цивилизаций. Враги современного мира, Леоны Блуа, Вернанос, Симона Вейль имеют право обличить капитал. Но на какое чудо рассчитывают эти прогрессисты, возмущенные тем, что машины не смогли в течение двух веков победить тысячелетнюю нищету, что пролетарские классы не пользуются еще справедливым распределением богатств? Не надеясь больше на внезапное преобразование древнего человека, они должны рассчитывать на чудодейственное возращение земных благ и, для этого, предлагать самым энергичным, самым честолюбивым своим последователям награды в виде тех же благ. Конечно, планификация и коллективная собственность уничтожают некоторые формы доходов, но не уничтожают стремления к благам земным, короче говоря — стремления к деньгам. Будь то социалистическая или капиталистическая, всякая современная экономика обязательно окажется монетарной.

В каждом обществе существует меньшинство, безразличное к деньгам и готовое жертвовать собой; оно более многочисленно в революционных партиях или в режимах только что вышедших из революции, чем в установившихся режимах. Но оно особенно слабо в тех цивилизациях, где на первое место ставится временный успех, удача в делах. Социальная природа не поддается желаниям идеологов. Запрещение членам коммунистической партии получать оплату, превышающую заработки рабочих, удержалось только во время первого воодушевления. В течение пятилеток к социалистическому багажу прибавилась древняя формула: «Обогащайтесь». Коммунисты получили право пользоваться одновременно властью и земными утехами. Элита, называющая себя пролетарской, в награду за свои услуги, оказываемые коммунизму, считает для себя естественным жить так, как жила вчерашняя аристократия. Возможно, и даже вероятно, что советские граждане больше не возмущаются привилегиями своих директоров; точно так же и американские граждане не возмущаются привилегиями капиталистов.

Нам скажут, что в Советском Союзе деньги не властвуют, так как власть не находится в руках богачей. Правда, там люди обладают властью не потому что они богаты: правящий класс опирается на партию и на идею. Законность, на которую ссылаются правители, с точки зрения подчиненных, имеет меньше значения, чем способ осуществления власти. По ту сторону железного занавеса экономическая и политическая власть находится в одних и тех же руках; по эту сторону она распределена между солидарными и соперничающими группами. Разделение власти является условием свободы.

Революционеры из идеализма наделяют рабочий класс сверхчеловеческой миссией — покончить со слишком явными недостатками ин-

дустриальных обществ. У них не хватает смелости признаться в том, что пролетариат, по мере своего неизбежного обмещанивания, теряет те добродетели, которые казалось обосновывали его призвание.

Неудовлетворение реальным освобождением и прозаическая благо-разумность свободных профсоюзов вызывают у интеллигентов склонность к прелестям идеального освобождения. Реальное освобождение трудящихся в Великобритании или Швеции скучно, как английское воскресенье; идеальное же освобождение советского рабочего привлекательно, как прыжок в будущее, как катастрофа. Может быть телевизоры лишат освобожденных московских пролетариев ореола мучеников за человечество?



Экзистенциалисты и левые христиане, повидимому, согласны с формулировкой Франсиса Жансона: «Призвание пролетариата не лежит в истории, оно состоит в том, чтобы произвести преобразование истории». ⁴⁴⁾ Клод Лефор в свою очередь заявляет: «Так как политическая борьба трудящихся имеет существенную цель — свержение эксплуатации, то ее провал будет ее абсолютной неудачей». ⁴⁵⁾ Так как не существует точного определения эксплуатации (с какого момента неравенство доходов или рабочий договор между предпринимателем и служащим подразумевает эксплуатацию?) — то это выражение Клода Лефора двусмысленно. Какое бы значение ему не придавали, оно всегда будет неверным: пролетариат имел частичные успехи, но никогда не имел полного успеха. Ничто не предназначает промышленных рабочих к миссии преобразования истории.

Что предназначило рабочих, по мнению философов и христиан, для этой единственной в своем роде судьбы? Страдания, свидетельствующие о социальной несправедливости и человеческом несчастье. Страдания западных пролетариев еще сегодня должны вызывать угрызения совести у привилегированных. Но что эти страдания значат по сравнению с позором и символом нашего времени — по сравнению со страданиями «замученных меньшинств» — евреев, уничтоженных III Рейхом: троцкистов, сионистов, космополитов, прибалтийских народов и поляков, преследуемых гневом генерального секретаря коммунистической партии: заключенных в концентрационных лагерях и осужденных на медленную смерть; негров в резервациях Южной Африки: перемещенных лиц, и лумпен-пролетариев в Соединенных Штатах или во Франции? Если несчастье вызывает миссию пролетариата, то она сегодня относится к жертвам расовых, идеологических, религиозных преследований.

В XX веке коммунизму стало трудно использовать «противоречия» между оплатой труда рабочих и предпринимателей: в недоразвитых странах это трудно, потому что там пролетариата почти нет; в капита-

⁴⁴⁾ *Esprit*, 1951, №№ 7-8, стр. 12.

⁴⁵⁾ *Temps modernes*, июнь 1952, № 81, стр. 182.

листических странах это трудно, потому что пролетариат там недостаточно революционен. Противоречие это имеет гораздо больший успех, когда оно раздувает национальные страсти и требования народов, находившиеся раньше под властью европейцев. XX век — это скорее век расовых или национальных войн, чем классовой борьбы в классическом смысле этого слова.

Тот факт, что пролетарии, как таковые, менее склонны к насилию, чем народы лишенные независимости, легко объясним, если только забыть школьные доктрины. Как бы то ни было, промышленные рабочие связаны рабочей дисциплиной. Они иногда восстают против машин или хозяев, в особенности в периоды первичной концентрации, безработицы или дефляции. Эти взрывы опасны для ослабевших государств и для правительств, склонных к капитуляции. Организованные рабочие связаны промышленным аппаратом и профсоюзами. Результаты деятельности и тех и других увеличиваются одновременно: промышленный аппарат производит все больше товаров, а профсоюз предоставляет все большую часть их в распоряжение трудящихся. Последние невольно соглашаются со своим положением. Секретари профсоюзов без особого отвращения примиряются с обществом, которое не отказывает им в участии в государственной власти и в распределении доходов.

Крестьяне, стремящиеся к владению землями, и недовольные поэтому крупными собственниками, склонны к иному виду насилия. Вид собственности имеет решающее значение в деревнях, он относится к владению землей. Чем больше развивается современная промышленность, тем меньшее значение имеет статут собственности. Заводы имени Кирова или Дженераля Моторс никому не принадлежат. Разница только в системах назначения директоров и в распределении власти.

Если предположить, что формула «преображения истории» имеет какой то смысл, то мне кажется, что рабочий класс оказывается наименее способным для выполнения этой задачи. В индустриальных обществах революции меняют представления рабочих о их положении и положении командующих ими. Они меняют и взаимоотношения между двойной иерархией — бюрократически-технической и профсоюзной — политической. Результаты великих революций XX века — подчинение профсоюзной иерархии — иерархии технической.

В III Рейхе и в Советском Союзе руководители рабочих организаций передают трудящимся приказы государств, а не требования трудящихся — государству. Правда, в этих режимах властодержцы утверждают, что они назначены всеобщей волей класса или расы. Члены Политбюро — это избранники истории. И вот, под тем предлогом, что генеральный секретарь партии называет себя вождем пролетариата, некоторые западные философы вдруг находят справедливым его мероприятия (принудительные займы, сдельную оплату), т. е. те мероприятия, в которых они упрекнули бы капитализм; эти философы соглашаются и с теми мерами, которые они обличили бы, если бы их проводили демократы. Рабочие Восточной Германии, бастующие против повышения норм, становятся изменниками своего класса. Если бы господин Гротеволь не основывался на Марксе, он был бы палачем пролетариата. Восхитительная сила слов!

Тоталитарные режимы создают единство технической и политической иерархии. Эти режимы можно приветствовать или проклинать,

но в них нельзя увидеть новшества, не игнорируя весь вековой опыт. Свободные общества Запада, в которых власть разделена и государство нецерковно, являются исторической редкостью. Революционеры, мечтающие о полном освобождении, ускоряют возвращение к привычному древнему деспотизму.

О ПОЛИТИЧЕСКОМ ОПТИМИЗМЕ

Левые, революция, пролетариат — эти модные понятия суть запоздалые отголоски великих мифов, когда-то вдохновлявших политический оптимизм: **прогресс, разум, народ**.

Левому крылу, которое охватывает значительную часть общественного целого, приписывают постоянство целей и неизменность признания; это крыло может существовать при условии, что будущее всегда более ценно чем настоящее и что путь в будущее раз навсегда установлен. Миф левых подразумевает миф прогресса, он принимает его взгляд на историю, но не обладает той же уверенностью в себе: левые всегда будут сталкиваться с правыми, стоящими на их пути, а эти правые никогда не будут ни побеждены, ни обращены в новую веру.

Эту борьбу с неопределенным исходом миф революции принимает как неизбежность. Только сопротивлением можно разбить интересы или классы, враждебные «ликующему завтра». Внешне Революция и Разум прямо противоположны: разум подразумевает диалог, а революция — насилие. Можно спорить и в конце концов убедить **другого**; но можно отказаться от убеждений и взяться за оружие. Насилие было и продолжает быть последним аргументом разума, выведенного из терпения. Те, кто точно знает, в какую форму должны облечься общественные учреждения, раздражаются слепотой окружающих, отчаиваются в силе слова; но они забывают, что те же препятствия, которые сегодня воздвигает против них природа человеческого общества, появятся завтра и поставят революционеров — новых хозяев государства — перед выбором между компромиссом и деспотизмом.

Миссия, предназначенная пролетариату, свидетельствует об ослаблении веры в те свойства, которые раньше приписывались всему народу. Верить в народ значило верить в человечество. Верить в пролетариат значило верить в избранность обездоленных. Нечеловеческие усилия благословили пролетариат на спасение мира. Народ и пролетариат — это символы правды простых людей. Но народ, по существу своему, понятие всеобъемлющее: можно представить, что и привилегированные включены в это целое. Зато пролетариат — это класс среди классов, он восторжествует, уничтожив другие классы, он сольется с социальным целым только после кровопролитной борьбы. Говорящий от имени пролетариата видит перед собой непрестанную вековую борьбу рабов со своими господами, он не ожидает больше постепенного становления естественного порядка, он рассчитывает на последнее восстание рабов во имя уничтожения рабства.

Все эти три понятия можно истолковать разумно. **Левые** — это партия, не примиряющаяся с несправедливостью; против права властодержцев она выдвигает права человеческой совести. **Революция** — это

лирическое и привлекательное событие (особенно в воспоминаниях); она подчас становится неизбежной; одинаково неразумно как желать ее прихода во имя ее самой, так и всегда его осуждать: ничто не говорит, что правящие классы чему-нибудь научились или что всегда возможно устранить недостойных правителей, не преступая законов и не прибегая к бомбометанию. **Пролетариат**, в точном смысле слова — это рабочая масса, созданная крупной промышленностью; он ни от кого не получал задания «преобразить историю»; это задание изобретено интеллигентом, родом из Германии, иммигрировавшим в Великобританию в середине прошлого века; но пролетариат XX века это уже не гигантская масса жертв общественного порядка, когорты трудящихся, организованная вождями промышленности и обузданная демагогией.

Эти понятия перестают быть разумными, становятся мифическими вследствие ошибки интеллигентов.

Для того, чтобы сохранить непрерывную преемственность левых в разные периоды истории, забывается диалектика режимов, перемещение ценностей от одной партии к другой; забывается, что правые присвоили себе ценности либералов и противопоставляют их планированию и централизации; наконец, забывается необходимость находить благоразумный компромисс между противоречивыми целями. Исторический опыт XX века показывает частоту и причины революций промышленной эры. Было бы ошибкой приписывать революции логичность, которой в ней нет, видеть в ней завершение движения, согласного разуму, и ожидать от нее благ, несовместимых с ее природой. Бывало, что после взрыва общество возвращалось к миру и итог оказывался положительным. Однако средство это, как таковое, всегда противоречит преследуемым целям. Насилие одних над другими иной раз неизбежно, но оно всегда будет явным отрицанием взаимного признания, которое должно объединять членов одного коллектива. Искореня уважение к традиции, революция рискует уничтожить основы мира между гражданами.

Пролетариат должен был требовать и добиваться места в современных обществах и иначе он действовать не мог. В прошлом веке он казался козлом отпущения индустриальных обществ; но экономический прогресс сделал его на Западе самым свободным, самым богатым рабом из всех, известных нам в истории; престиж обездоленного должен был перейти от пролетариата к более угнетенным чем он — к меньшинствам. Слуга машин, солдат Революции, пролетариат, как таковой, никогда не бывает ни символом, ни подопечным, ни вождем какого бы то ни было режима. Для мистификации интеллигентов называют пролетарским тот режим, в котором власть ссылается на марксистскую идеологию.

Все эти ошибки имеют одно начало: оптимизм мечтаний и пессимизм при оценке действительности.

Доверяют левым, которые всегда набирают все тех же людей на службу все тому же делу. Непрестанно ненавидят вечных правых, защищающих свои низменные интересы, неспособных разгадать предзнаменований будущего. Руководители левых находятся в середине иерархии, они мобилизуют нижестоящих для того, чтобы прогнать вышестоящих; они полупривилегированны, они являются представителями непривилегированных до момента победы, которая их сделает приви-

легированными. Из этих общих мест мы не будем делать циничных выводов: ни политические режимы, ни экономические системы не равноценны. Здравый смысл заставляет нас относиться осторожно к двум смысловым терминам, неточно определяющим связь вещей, не придавать им славы, свойственной только чистым идеям. Слишком часто удавалось деспотии укрепиться, ссылаясь на свободу. Поэтому опыт подсказывает нам не сравнивать программы политических партий, а сравнивать их дела; избегать как простодушной веры, так и осуждения в той безнадежной борьбе, в которой слова скрывают истинный смысл вещей, в которой на каждом шагу мы видим измену ценностям, перед которыми недавно преклонялись.

Ошибочно ожидать спасения от восторжествовавшей катастрофы, но ошибочно и отчаиваться в победе на мирном поприще. Насилие позволяет перескочить этапы, оно освобождает энергию, способствует выявлению талантов; но оно же отвергает традиции, которые ограничивали самовластье государства, распространяет вкус и привычку к насилию. Нужно немало времени, чтобы излечить недостатки, унаследованные от революции, даже если она и излечила недостатки свергнутого режима. Когда законная власть пала, тогда ответственность за общую судьбу берет на себя группа, но чаще — один человек; делает он это для того, чтобы революция не умерла, как говорят верные. Фактически в борьбе всех против всех должен победить один человек, чтобы восстановить ценнейшее благо — безопасность. Почему то событие, которое подобно войне исключает всякий диалог, открывает все возможности, отрицает все нормы, должно окрылять надеждой человечество?

Бурный оптимизм — это предназначение пролетариата к исключительной миссии; преувеличенный пессимизм — это порицание других классов. Мы знаем, что в каждую эпоху какая-то нация была плодотворнее других. По формулировке Гегеля, Мировая Душа поочередно воплощается в разных нациях. Чередование реформации, буржуазной революции и социальной революции может толковаться в том смысле, что Германия XVI века, Франция XVIII века и Россия XX века одна за другой оказывались орудиями Разума. Но эта философия не приписывает ни одному обществу таких политических и моральных качеств, которые ставили бы его выше всех законов. Существуют исключительные личности, но не существует исключительных коллективов.

Классы еще менее, чем нации, соглашаются с делением на избранных и отверженных. Классы могут охватывать такие большие группы лиц, как, например, промышленных рабочих; в этом случае они участвуют в исторической судьбе своими страданиями, а не своей волей. Но они могут сливаться с победоносным меньшинством, аристократией и буржуазией; в этом случае они должны выполнять известную функцию, нечто создавать, а не заниматься преображением общества. Пролетариат, подчиненный тяжелой заводской дисциплине, не меняет своей сущности от перемены хозяина; точно так же, как он не изменит и природу обществ.

В этом суть спора. Исторический оптимизм несет в себе оттенок пессимизма и требует потрясения векового общественного порядка. Он считает возмутительным существующее, он хочет, чтобы будущее было иным по своей сущности. Поэтому он рассчитывает на прогрессив-

ные партии, на насилие, на особый класс, чтобы вызвать этот постепенный или внезапный переход к царству свободы. Он постоянно разочарован, но он сам себя осуждает на разочарование, потому что характерные черты социальной структуры, против которой он восстает, кажутся ему неизменяющимися.

Можно полагаться на народное голосование, а не на происхождение, при назначении политических руководителей; можно поручать государству, а не частным лицам управление средствами производства, но ни уничтожение наследственной, ни уничтожение капиталистической аристократии не меняют сущности *homopoliticus*.

Существование городов постоянно находится под угрозой разрушения извне. Для того, чтобы противостоять нападению, города должны быть укреплены. Для того, чтобы сопротивляться распаду, власть должна поддерживать солидарность и дисциплину граждан. Так теоретик неизбежно склоняется к здравому взгляду на политику. Человек ему представляется непостоянным и славолюбивым; он никогда не доволен своей судьбой, он стремится к власти, хочет быть уважаемым. Это неполное, упрощенное, но неоспоримое в этом смысле суждение. Каждый, кто вступает в политическую борьбу и ищет редких сокровищ, может наткнуться на республику, удовлетворить этим свое честолюбие и отомстить своим счастливым соперникам. Общественный порядок и государственная власть — это не единственные цели политики. Человек — существо не только политическое, но и моральное, поэтому общество может стать гуманным только при условии, что в нем участвуют все. Но основные человеческие побуждения долговечнее политических режимов; никакое чудо не превратит хомус политикус в человека, заботящегося только о народном благе и не заставит его быть мудрым, т. е. довольным тем местом в обществе, которое ему досталось по случаю или по заслугам. Неудовлетворенность, не позволяющая обществам принять устойчивые формы, тщеславие, гложущее как великих преобразователей, так и низких интриганов, будут по-прежнему волновать то общество, которое преобразовали левые, которое создала революция и в котором победит пролетариат. После победы левых, революции пролетариата, возникнет столько же проблем, сколько удалось разрешить победителям. При уничтожении привилегий аристократии, авторитет переходит к государству, то есть к тем людям, которым государство поручило определенные посты. С исчезновением прирожденных привилегий возникают привилегии денежные. Уничтожение местных самоуправлений укрепляет prerogatives центральной власти. Мало что меняется от того, что двести чиновников заменили двести семейств. Когда революция нарушает уважение традиций, возбуждает ненависть к привилегированным, то массы готовы преклониться перед мечом вождя в ожидании того дня, когда улягутся страсти, когда придет пора вновь восстановить законность и стать вновь благоразумными.

Три мифа — левые, революция и пролетариат — рассеиваются не вследствие своих неудач, а вследствие своих успехов. Левые определили свое отношение к Старому режиму свободомыслием, научной организацией общества, отрицанием наследственных статусов: они явно выиграли первую партию. Но сегодня они не могут больше идти в том же направлении: они должны уравнивать и инициативу, равно справедливое вознаграждение всех и поощрение, власть бюрократии и

права личности, экономическую централизацию и сохранение индивидуальных свобод.

В западном мире революция находится в прошлом — позади, а не впереди нас. Даже в Италии и во Франции нет больше Бастилии, которую нужно штурмовать, или аристократов, которых нужно вешать на фонарных столбах. Возможная в далеком будущем революция должна была бы укрепить государство, ограничить личные интересы, ускорить социальные перемены. В противоположность старому идеалу общества, с устойчивыми законами и правами, правые и левые в середине XX века стали сторонниками перманентной революции, которой хвастается американская пропаганда и которую (в другом смысле) приписывают советскому обществу. Консерватизм в стиле Берка, ограниченный узким кругом интеллигентов, пытается затормозить не экономический прогресс, а разложение вечной морали.

Конечно, расстояние, отделяющее исполнение от замысла, огромно. Общества, рационализированные с помощью науки, не стали более миролюбивыми и не кажутся более разумными, чем прежние. Если правда, что одной несправедливости достаточно для того, чтобы покрыть позором любой режим, то в наше время нет ни одного необесчещенного режима. Следовало бы вычислить процентное отношение доходов, стоящих ниже допустимого минимума, следовало бы сравнить распределение доходов и виды отправления власти сто лет тому назад с современными, чтобы убедиться, что увеличение коллективного дохода делает общество более равноправным и менее тираническим. Однако все современные общества остаются во власти древней фатальности труда и власти, поэтому и кажутся неприемлемыми для оптимистов.

Когда мы наблюдаем применение в жизни какой-нибудь конституции или экономической системы, у нас, может, создается неверное, поверхностное впечатление, что по-прежнему в них царит случай, прошлое, безумие. Образ коллективной жизни людей кажется абсурдным для тех, идеалом которых является царство технического разума.

Это разочарование вызывает в интеллигентах потребность осмысления действительности или возмущение ею. Они пытаются найти причины разрыва между вчерашними мечтаниями и сегодняшней реальностью; они пересматривают эти мечты и проецируют их на совершенно иные, злободневные реальности. В Азии эти мифы продолжают вызывать будущее, каковы бы ни были поддерживаемые ими иллюзии. В Европе эти мифы не действенны, они вызывают словесное возмущение вместо действия.

Разум сдержал свои обещания, и даже превзошел их, но он не изменил сущности человеческого коллектива. И вот, для того, чтобы обуздать человека, постоянно восстающего против прогресса, приписывают истории — таинственному демиургу — такую мощь, которой нет ни у партий, ни у классов, ни у насилия. Может быть все эти три фактора вместе завершат со временем то преобразование общества, на которое не перестает надеяться тоскующий по религиозным истинам рационализм.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

**ИДОЛОПОКЛОНСТВО ПЕРЕД
ИСТОРИЕЙ**

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Люди церкви и люди веры

Марксизм имеет очень небольшое значение в западной культуре, даже во Франции и в Италии, в которых значительная часть интеллигенции открыто перешла к сталинизму. На Западе трудно найти экономиста достойного этого звания, которого можно было бы признать марксистом в строгом смысле этого слова. Некоторые экономисты видят в «Капитале» предугадание кейнсианских истин, другие — экзистенциалистический анализ частной собственности или капиталистического режима. Ни один из экономистов не предпочитает категории Маркса категориям буржуазной науки, когда ему приходится объяснять современный мир. Точно так же на Западе трудно найти значительного историка, труд которого был бы основан или вытекал бы из диалектического материализма.

Правда, ни один историк, ни один экономист не мыслил бы так, как он мыслит сейчас, если бы не было Маркса. Экономист осознал эксплуатацию или человеческую стоимость капиталистической экономики, что можно справедливо приписать влиянию Маркса. Историк не осмелится больше закрывать глаза на грубую действительность, которая руководит жизнью миллионов людей. Никто больше не воображает, что он понимает общество, если он не знаком с организацией труда, с техникой производства, с взаимоотношениями между классами. Но из этого еще не следует, что можно понять развитие искусства или философских систем, исходя из развития орудий производства.

Марксизм, в своей первичной форме, сохраняет свое значение при идеологических конфликтах нашего времени. Осуждение частной собственности и капиталистического империализма, уверенность в том, что экономика свободного рынка и власть буржуазии сами стремятся к социалистической плановости и власти пролетариата, — все эти фрагменты доктрины принимаются не только сталинцами или симпатизирующими им, но и огромным большинством тех, кто хочет быть прогрессивным. Даже в англо-саксонских странах так называемая прогрессивная интеллигенция⁴⁶⁾, никогда не читавшая «Капитал», почти не задумываясь распишется под этими предрассудками.

⁴⁶⁾ Русский термин в тексте.

Марксизм превзойден в научном плане; но в плане идеологическом, в том виде, в котором он распространен во Франции, он приобрел невиданное до сих пор влияние; это влияние он приобрел благодаря своему толкованию истории. Люди, пережившие катастрофы, подобные тем, которые потрясали Европу в этом веке, не могут не задавать себе вопросов о смысле этих грандиозных и трагических событий. Сам Маркс пытался найти законы, по которым действует, держится и меняется капиталистический режим. Ни войны, ни революции XX века не укладываются в теорию, которую Маркс не столько открыл, сколько внушил нам. Никто не запрещает употреблять термины «капитализм», «империализм», «социализм», — чтобы называть совершенно иные реальности. Таким образом слова, вместо того, чтобы помочь нам понять течение истории, заранее ей придают определенный смысл. Так катастрофы преобразуются в средства спасения.

В поисках надежды в нашей безнадежной эпохе философы удовлетворяются оптимистическим взглядом на катастрофы.

НЕПОГРЕШИМОСТЬ ПАРТИИ

Марксизм — это синтез: он объединяет все главные темы прогрессивной мысли. Он ссылается на науку, гарантирующую конечную победу. Он воспекает технику, потрясающую вековой ход развития человеческого общества. Он себе присваивает вечное стремление к справедливости, он предсказывает торжество обездоленных. Он утверждает, что развитием драмы управляет детерминизм, но что это детерминизм диалектический, подразумевающий и противоречия между следующими друг за другом режимами, и резкий перелом при переходе от одного режима к другому, и конечное примирение между внешне противоречивыми требованиями. Пессимист в настоящем, оптимист в будущем, марксизм распространяет романтическую веру в плодотворность катастроф. Человек любого темперамента, любой склонности ума может найти в марксизме тот аспект, который соответствует его вкусам.

Этот синтез всегда был привлекателен, но недостаточно серьезен. Людям неосененным благодатью марксизма всегда было трудно согласовать понятие всеобщности исторического процесса с материализмом. Конечное совпадение идеального и реального бытия было понятным, пока сама история понималась как прогресс абсолютного духа. Но и метафизический и исторический материализм становятся странными и противоречивыми, когда дело касается совпадения необходимости с прогрессом. Откуда берутся силы для взлета в мире, скованном законами природы? Почему история, построенная на производственных отношениях, должна прийти к бесклассовому обществу? Почему материя и экономика дают нам уверенность в том, что утопия осуществляется?

Сталинизм осложняет внутри-марксистские трудности, подчеркивая грубый материализм и изгоняя любую схему исторической эволюции. Священная история, которую марксизм выводит из будней обычных фактов, ведет человечество от примитивного коммунизма к социализму будущего: падение частной собственности. Эксплуатация,

классовая борьба были необходимы только для развития продуктивных сил и достижения человечеством высшей ступени господства над природой самосознания. Капитализм ускоряет свое падение, накапливая средства производства и несправедливо распределяя богатства. То положение вещей, при котором разразится революция, будет крайне своеобразным: огромное число жертв угнетения, ничтожное число угнетателей, безмерно возросшая мощь производства и т. д. После этого перелома идея прогресса станет действительностью. После пролетарской революции социальному прогрессу не будут больше нужны политические революции.

Во времена немецкой социал-демократии и II Интернационала теория саморазрушения капитализма считалась основой учения. Эдуард Бернштейн был осужден конгрессами — соборами Интернационала как ревизионист, потому что он усумнился в одном из ключевых аргументов этой теории (концентрации капитала). Но догматики не пошли дальше теории и вытекающей из нее стратегии (революция как завершение диалектики капитализма). В те времена расхождения в мнениях внутри любой партии или между национальными партиями считались законными: тактика партии еще не была объявлена священной. Но не так обстоит дело при сталинизме.

Революция 1917 г. в России и провал революции на Западе создали неожиданное положение, которое неизбежно вызвало пересмотр доктрины. Понятия относящиеся к смыслу истории были сохранены. Но так как пролетарская партия впервые восторжествовала там, где условия капиталистической зрелости еще не были достигнуты, то было признано, что не одно только развитие производственных сил определяет возможность революции. Но никто не смел сознаться в том, что шансы на революцию уменьшаются по мере развития капитализма. Пришлось смягчить тезис: Революция с большой буквы происходит в виде революций, вспыхивающих по самым разнообразным причинам. Движение от капитализма к социализму совпадает с историей партии большевиков.

Другими словами, для того, чтобы примирить события 1917 г. с доктриной, пришлось отказаться от мысли, что история во всех странах проходит те же этапы; пришлось заявить, что русская большевистская партия является единственным представителем пролетариата. Захват власти партией — это воплощение прометеевского порыва, в котором угнетенные сбрасывают свои оковы. Революция прогрессирует каждый раз, когда партия завоевывает новое государство, если даже живые пролетарии не узнают ни себя, ни своей партии в этой революции. Первым объектом веры III Интернационала стало отождествление мирового пролетариата с русской большевистской партией. Коммунист, будь он сталинец или маленковец, — это во-первых тот человек, который не делает разницы между делом Советского Союза и делом революции.

История партии **есть** священная история, которая приведет к искуплению человечества. Как может партия иметь недостатки, свойственные обычным начинаниям? Всякий человек, даже большевик, может ошибаться. Но партия не может и не смеет ошибаться, так как она проповедует и воплощает в себе историческую правду. Но деятель-

ность партии применяется к непредвиденным обстоятельствам. Одинаково верные ей активисты спорят о решении, которое следовало бы принять. Эти внутрипартийные споры законны, если они не затрагивают вопроса о полномочиях, данных пролетариатом партии. Но когда в партии разделяются мнения по очень важному вопросу, например, о коллективизации сельского хозяйства, то одно из течений олицетворяет собой партию, т. е. пролетариат и историческую истину, а другое — побежденная оппозиция — становится изменником священному делу. Абсолютный авторитет по отношению к «авангарду пролетариата», который присвоила себе небольшая группа людей, делает возможным разрешение противоречия между абсолютной ценностью, которая постепенно воплотилась в партии, и теми реальными отклонениями от нее, которые протекают в истории не укладывающейся в структуру марксизма.

Так как партия всегда бывает права, то она должна в каждый момент определять правильный путь между сектантством и приспособленчеством. Где же проходит этот истинный путь? На равном расстоянии от скал приспособленчества и сектантства. Но ведь само положение этих скал определяется по отношению к правильной линии. Выход из этого порочного круга возможен только при помощи декрета власти, определяющей как истину, так и заблуждения. Этот декрет неизбежно будет произвольным, вынесенным человеком, наделенным властью судить как отдельных людей, так и коллективы; несоответствие между миром, каким он должен быть согласно основной доктрине (если бы она была права) и миром, каков он есть на самом деле, делает истину зависимой от неточных и непредвидимых решений арбитра, авторитет которого обеспечен властью находящейся в его руках.

Вначале каждая экономическая система определялась видом собственности. Эксплуатация трудящихся при капитализме вытекала из частной собственности на орудия производства; за эксплуатацией следовала бедность, а развитие производственных сил должно было постепенно вытеснить все классовые прослойки. Революция должна была начаться в конце этого процесса, и задачей социализма должно стать справедливое распределение награбленных капитализмом богатств. И вот революция 1917 г. берет на себя роль заменителя концентрации капитала; в это же время, несмотря на предсказания вульгарного марксизма, повышается жизненный уровень масс в Европе и в Соединенных Штатах и новые средние классы заполняют то пустое пространство, которое возникает благодаря техническому прогрессу в рядах старых классов.

Эти хорошо известные факты не разбивают еще коммунистического толкования истории. Можно говорить о философских причинах, чтобы характеризовать экономически-социальные системы режимом собственности, даже если жизненный уровень зависит не столько от этого режима, сколько от продуктивности. Эти факты однако вынуждают нас признать разницу между тонким, или эзотерическим, и грубым смыслом слов.

Мы рассмотрели пример такого различия двух оттенков значения слова «освобождение» — реального и идеального. Рабочий заводов Форда эксплуатируется, если вообще существует эксплуатация, согла-

сно **определению**, связанному с частным владением орудиями производства и доходами предприятия. Рабочий Путиловского завода «освобожден», если работает на коллектив; согласно этому **определению**, он перестает быть эксплуатируемым. Но «эксплуатация» американского рабочего не исключает ни свободного выбора секретарей профсоюзов, ни споров с предпринимателем о заработной плате, ни высокой оплаты труда. «Освобождение» русского рабочего не исключает ни внутригосударственного паспорта, ни подчиненных правительству профсоюзов, ни более низких заработков чем на Западе. Советские власти знают, что капиталистическая эксплуатация не означает ни нищеты рабочих, ни уменьшения той части национального дохода, которая им предназначена. Чем больше становится разница между тонким и грубым смыслом слова, тем труднее для властодержцев признаться во всеуслышание в реальности этого различия. Они вынуждены показывать массам такую картину мира, в которой тонкий и грубый смысл понятий совпадают. Рабочий Детройта, Кавентри, Бийанкура, согласно московской пропаганде, всегда будет несчастным, а рабочий Харькова и Ленинграда всегда будет иметь в своем распоряжении блага, недостижимые на Западе. Так как советское государство обладает монополией рекламы и так как «освобожденным» пролетариям запрещено выезжать за границу, то нарочито искаженная картина мира может с известным успехом быть навязана миллионам людей.

Это различие между тонким и грубым смыслом встречается относительно многих терминов. Например всякая, даже военная победа коммунистической партии, является мирной победой. Социалистическое государство по своей сущности миролюбиво, ибо империализм есть следствие капиталистических противоречий. Война как таковая не осуждается; она осуждается, когда она несправедлива, то-есть не приводит к победе социализма — к победе коммунистической партии. С другой стороны, в грубом смысле слова, мир — обозначает отсутствие войны. В Кремле или в политбюро французской коммунистической партии хорошо знают тайный внутренний смысл доктрины войны и мира. Но чаще всего в пропаганде употребляют слово «мир» в грубом его смысле, чтобы льстить пацифизму масс.⁴⁷⁾

Этим различием между двумя смыслами слов объясняется странное осуждение сталинизмом понятия объективности. Рассматривать факты сами по себе, вне коммунистической доктрины, значит делать буржуазную ошибку. Но если законно рассматривать частные явления в связи с целым, то из этого никак нельзя вывести законность подмены значения этих явлений им противоречащими, под предлогом более глубокого их понимания. Усиление полиции не указывает на отмирание государства; точно так же подчинение профсоюзов государству не указывает на приближение социализма. Поэтому те, кто хотят рассматривать организацию власти, взаимоотношения работодателей и служащих в чистом виде, — становятся на путь еретиков.

⁴⁷⁾ В наших глазах империализм присущ всякому государству, которое пытается господствовать над своими соседями и насильно распространить среди них свою систему учреждений. С точки зрения коммунистов только капиталистические страны могут быть империалистическими: распространение советского социализма, даже при помощи русской армии, не является формой империализма.

Никто не знает, до каких пределов распространяется безусловный авторитет партии. В эру Жданова и Сталина последний разрешал споры в вопросах наследственности, формулировал теорию искусства, вмешивался в лингвистику и прорекал истину о прошлом и будущем. Никогда еще «историческая правда» не была так несовместима с буквальным значением слов. Имя Троцкого было вычеркнуто из анналов революции и создатель Красной Армии задним числом перестал существовать.

Диалектики, ответственные за речи, распространяемые бесчисленными громкоговорителями, умеют отличать подлинную доктрину от идеологий, полезных для прельщения какого либо класса или нации. Доктрина, как таковая, утверждает, что всякая религия — суеверие, но соглашается со свободой религии. Поэтому митрополита можно использовать в пропаганде за мир, чтобы объединить православные церкви. Доктрина отрицает национализм и предвидит всемирное бесклассовое общество. Но когда нужно победить гитлеровскую агрессию, воскрешается память об Александре Невском или Суворове, воспеваются добродетели великорусского народа. Тридцать лет тому назад царские завоевания были империалистическими; сегодня они «прогрессивные», благодаря превосходству цивилизации, которую несут русские войска, и революционному будущему, обещанному Москвой. Является ли миссия великорусского народа идеологией, выработанной психотехниками для данных условий, или это есть элемент доктрины?

Не будучи в состоянии определить доктрину, верные соблюдают строгую дисциплину в области языка и, вероятно, сохраняют относительную свободу в области мысли. М. К. Милош⁴⁸ анализировал поводы и системы оправдания интеллигентов, присоединившихся или сомневающихся в народных демократиях. Интеллигенты Польши или Восточной Германии на собственном опыте познали советскую действительность. Они могут выбирать между покорностью, безнадежным сопротивлением или эмиграцией. Западные интеллигенты свободны.

Мотив вступления в партию и глубина веры зависят от человека; но истинное общение верных возможно лишь в церкви, а не обмене мыслями и чувствами. Истинные коммунисты признают, что русская партия большевиков и западные партии, ссылающиеся на нее, воплощают дело пролетариата, т. е. социализма.

Это своеобразное вероисповедание не исключает самых различных толкований. Один думает, что партия это неизбежный помощник ускоренной индустриализации и что она отомрет с повышением жизненного уровня; другой — что социализм распространится во всем мире и Запад будет неизбежно обращен в новую веру или завоеван, но не потому, что он морально или духовно стоит ниже, а потому, что он исторически осужден на гибель. Иной считает существенным социалистическую аккумуляцию, а идеологическое кликушество — печальным аккомпаниментом дела, руководимого разумом. А этот, наоборот, считает «логократию» предзнаменованием нового времени: механизированные общества, потеряв веру в Бога, будут объединены под игом советского богословия.

И оптимисты, движимые бесконечным ожиданием, пессимисты, при-

⁴⁸) *La Pensée captive*, Paris 1953.

мирившиеся с судьбой человечества, с одинаковой верой участвуют в деле, построенном по нечеловеческому масштабу, за которое ответственна партия. Они знают о существовании концентрационных лагерей, о закабалении культуры, но они отказываются нарушать клятву верности, данную этому грандиозному начинанию. Можно стать на точку зрения историка и рассматривать современность так, как он рассматривает давно прошедшее — с большого расстояния; тогда мы можем быть увидим, что наши правнуки покорятся будущему с благодарностью; так почему же нам не последовать уже сегодня мудрому примеру наших потомков?

Эта правоверность необъяснима; но это не мешает ей властвовать и побеждать. Престиж марксистских идей возрастает еще в силу одного факта: партия — хозяин советского государства и необозримой империи. Тот, кто принимает коммунистические идеи не преклоняясь перед этим фактом, колеблется в нерешительности: то ли громить его во имя чистоты идеи, то ли оправдывать его той же идеей. Сталинец не всегда точно знает, во что он верит; но он твердо верит, что большевистская партия или президиум исполняют историческую миссию. Эта вера могла казаться смешной в 1903 г., странной в 1917, сомнительной в 1939. С тех пор она была освящена богом битв. Какая другая партия была бы достойна воплощать дело мирового пролетариата?⁴⁹⁾

РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ИДЕАЛИЗМ

Успех — это испытание совестливости революционеров; восстав во имя идеала против установленного порядка, они в свою очередь становятся привилегированными. После вступительного действия, составленного из лирики мечтаний и насилия, общество возвращается к будничной жизни. Но если бы режим созданный большевиками не оказался в руках Сталина и не взялся бы за создание гигантской индустрии, и то он должен был бы разочаровать верных.

Как вне его, так и внутри колеблются между двумя положениями: или во что бы то ни стало утверждать, что новый режим, оставаясь верным своей идее, приближается к своей цели; или разоблачать разрыв между предсказаниями пророков до захвата власти, и государством, построенным бюрократами. По ту сторону железного занавеса первое положение более привлекательно, но разочарование выражается не в отказе, а в умственной эквилибристике. Оправдываются необходимостью, отказываются ее принимать за идеал. По эту сторону железного занавеса, наоборот, и в частности во Франции, второе положение чаще встречается среди интеллигентов.

Революционеры не-сталинцы часто мечтают о революции, которая порвала бы так же радикально с капитализмом, как и со сталинизмом, которая избежала бы бюрократического вырождения, примитивного догматизма, полицейского прессы. Они представляют собой разновид-

⁴⁹⁾ Казалось бы достаточно понять, что не существует ни мирового пролетариата, ни дела мирового пролетариата, чтобы рассеять всякое недоразумение.

ность троцкистов, если согласиться называть этим термином марксистов, приветствующих некоторые стороны советского режима. Троцкисты склонны становиться на защиту Советского Союза в его борьбе с капиталистическими государствами. Относясь враждебно к капиталистическому миру, который им дает свободу жить и высказываться, они тоскуют по миру иному, который их бы безжалостно уничтожил; но этот мир далекий и чарующий воплощает их мечты и судьбы пролетариата.

Революционеры не-сталинцы с момента укрепления сталинской диктатуры не играют больше значительной политической роли. В парижских кругах они занимают первые ряды. Экзистенциалисты, Жан-Поль Сартр и Морис Мерло-Понти, придали своего рода философскую серьезность их революционному идеализму, который осужден и трагической судьбой Троцкого и реализмом Сталина.

Будь то христиане или рационалисты, — все бунтовщики, жаждущие революции, возвращаются к произведениям молодого Маркса; так протестанты, духовный голод которых не могла больше насытить Церковь, вновь перечитывали Евангелие — «Экономическо-политический манускрипт», к критике гегелевской философии права. «Немецкая идеология» — содержит основное откровение, на которое ссылаются экзистенциалисты для того, чтобы сохранить известную дистанцию по отношению к советскому режиму и для того, чтобы не упустить ничего из критики капитализма.

Этот способ мышления лучше всего отражен в «Гуманизме и терроре» Мерло-Понти. Журналы «Esprit» и «Temps modernes» большей частью повторяют аргументы, развитые в этой книге.

Вкратце, это следующие мысли. Марксистская философия истинна; она абсолютно истинна, и при том в двойном смысле. Она указала на условия, необходимые для «гуманизации» общества. Она наметила путь, которым можно достичь «радикального решения проблемы сосуществования» и пролетарской революции. Только «подлинная интросубъективность», «всемирный класс», то есть пролетариат ставший партией, убьет капитализм и, освободившись сам, освободит всех людей.

Не будем опровергать эту философию, а спросим себя, выполняет ли пролетариат под руководством коммунистической партии ту миссию, которую ему приписала философия. Причины, заставляющие нас сомневаться в верности Советского Союза пролетарскому гуманизму, весьма вески. Но ведь ни один класс, ни одна партия, ни одна личность не могут заменить собой пролетариата: неудача пролетариата станет неудачей самого человечества. Поэтому следует быть снисходительным к советскому лагерю, но зато следует отказать в снисходительности капиталистическим и буржуазным демократиям, которые предоставляют свободу незначительному числу людей, которые прикрывают фактическое насилие — колониализм, безработицу, низкие заработки — лживыми идеологиями.

«Если рассмотреть внимательно марксизм, то видно, что он не является одной из гипотез, которая завтра может быть заменена другой; это просто перечень условий, без которых не может быть ни человечества в смысле взаимоотношений между людьми, ни разумности в хо-

де истории. В каком-то смысле это не философия истории, но отказаться от нее, значит поставить крест над смыслом истории. Тогда останутся только мечты или авантюры».⁵⁰⁾ Этот крайне догматичный и наивный текст весьма откровенен. Он высказывает убеждение многих интеллигентов: марксизм сливается с философией истории, он содержит окончательную истину.

В чем состоит, по мнению Мерло-Понти, эта окончательная истина? Она не содержит ни примата производственных отношений, ни определенной схемы исторического развития: нужно обращаться к пережитому, чтобы оценить политическо-экономические системы; взаимное признание является характеристикой чисто человеческого общества.

Обе эти мысли приемлемы, если устранить двусмысленность первой и заметить формальный характер второй. Правда, критика других идеологий, основанная на Марксе, имеет ценность для политического сознания. Было бы позором оправдывать капитализм идеалом безупречной конкуренции, а парламентские режимы — фикцией самоуправления. Из этого не следует, что человек ничего не значит вне своей социальной роли, что человеческие взаимоотношения поглощают сущность всякого и каждого. Под прикрытием действительно ценной критики, Мерло-Понти вводит отрицание трансцендентности и внутренней жизни.

Изъятое из философии понятие «признания» не становится ни более точным, ни более конкретным, чем понятие «свобода». Каковы требования этого признания? Как совместимо многообразие с признанием? Ни на один из этих вопросов нет ответа в «Гуманизме и терроре».

Идея и сам термин «признание» взяты скорее из философии Гегеля, чем из произведений молодого Маркса. В этой философии признание определяется, исходя из диалектики раба и господина, войны и труда. Предположим, что Мерло-Понти повторяет эту диалектику и тоже рассчитывает на технический прогресс и на универсальное государство, чтобы с ней покончить. Но в отличие от Маркса, в его распоряжении нет целостного понимания истории. Маркс строил свою критику на определенном понимании истории и человека, и это понимание заранее считалось истинным: реальность не соответствовала тому представлению, которое человек приобрел о себе в философии Гегеля. Искались не цели, а пути и средства. Маркс посвятил свою жизнь не философским размышлениям, а анализу экономики и общества, чтобы усмотреть путь разума в путанице событий. Феноменологическая доктрина, описывающая опыт каждого, но ничего не говорящая о том, является ли чередование обществ в истории прогрессом гуманности, должна придать определенный смысл слову «признание». Без этого оно не может ни судить о настоящем, ни предрешать будущее.

Всем сложным обществам свойственно неравное распределение богатств и власти, соперничество между индивидуумами и группами за обладание редкими сокровищами; скажем, употребляя выражение нашего автора, что всех их характеризует «власть одних и смирение других». Если хотят радикально уничтожить неравенства и соперничества, если власть одних не должна больше требовать смирения других,

⁵⁰⁾ Humanisme et Terreur, p. 165.

то тогда после-революционное государство требует полного преобразования социальных условий для всех решительно. Так молодой Маркс спекулировал устранением разницы между субъектом и объектом, между сущностью и существованием, между природой и человеком. Но тут мы выходим из сферы рационального мышления и переводим на философский язык тысячелетнюю религиозную мечту — ожидание конца времен.

Но если оставаться на земле, нужно точнее описать организацию государства и экономику, которая обеспечит это взаимное признание. Маркс писал век тому назад, когда рождался современный пролетариат, когда ткацкие заводы были символами современной промышленности, когда акционерное общество было почти неизвестно. Он мог обвинять частную собственность и механизм рынка во всех смертных грехах, приписывать народной собственности и планификации несравненные добродетели, не ссылаясь при этом на опыт. Но объяснять сегодня Советский Союз марксистским стремлением «радикального решения проблемы сосуществования», значит то же, что определять колонизацию желанием обращения язычников в христианство.

Каким образом революция внезапно может изменить условия существования пролетариев? Как она начнет эру взаимного признания? В зависимости от философской или социологической точек зрения, можно получить два ответа. В идеологическом плане учреждения определяются по отношению к идее: если рабочий «отчужден», работая на частное лицо, то унижение исчезнет с того дня, когда все рабочие будут непосредственно на службе у коллектива, благодаря коллективной собственности и планификации. В плане социологическом можно рассматривать судьбу людей вульгарно, сравнивая режимы, уровень жизни людей, их права, их обязанности, дисциплину, которой они подчиняются, открытые перед ними возможности продвижения вперед. Это сопоставление приводит нас к понятиям идеального и реального освобождения, или к эзотерическому и грубому смыслу слов. В эзотерическом — в тонком смысле — в России не существует больше классов, так как все трудящиеся стали наемными рабочими, включая и Маленкова; а согласно доктрине — эксплуатация там невозможна. В вульгарном смысле — режимы различаются по степени их гуманности, а не по их происхождению; каждый режим предполагает известный вид неравенства, известную долю принуждения и не видно конца на пути гуманизации общества.

Какой из этих ответов избирает Мерло-Понти? Ответ в тонком стиле, не употребляя три критерия вместо одного: коллективную экономику, самодеятельность масс, интернационализм. К несчастью, последние два из этих критериев слишком неопределенны, на них нельзя опереться. Массы никогда не бывают совершенно самостоятельны в своих действиях. Массы, которые приветствовали Гитлера, Муссолини или Сталина, все же подвергались пропаганде, хотя и не прямому насилию. Является ли господство коммунистической партии в Восточной Европе, обеспеченное там присутствием Красной Армии, истинным выражением интернационализма или карикатурой на него?

Принимая без критики предрассудок интеллигенции⁵¹⁾, философ

⁵¹⁾ Русский термин в тексте.

утверждает, что частная собственность на орудия производства не совместима с взаимным признанием людей. Как и многие прогрессивные мыслители, он наивно подписывается под устарелыми дерзаниями; он игнорирует современный опыт, не придающий особого идеологического значения противопоставлению двух видов собственности, когда дело касается больших промышленных предприятий. Как американские «компании», так и советские заводы очень-очень отличаются от того явления, которое Маркс обличал под именем частной собственности.

Чтобы установить разницу между революционным идеализмом и реализмом сталинцев, достаточны следующие критерии: кристаллизация общественного неравенства, непрекращающийся террор, превозношение национальных чувств — все это не соответствует смыслу тех ценностей, которые должна была принести с собой революция. Но тут философ делает из своих сомнений и беспокойств парадоксальный вывод. Разве можно осудить Советский Союз, если неудача его начинаний становится неудачей марксизма, следовательно, неудачей самой истории? Полюбуемся типичным для интеллигенции⁵²⁾ ходом мысли. Мы начали с признания человека человеком; приписали пролетариату, и только ему одному, революционную сущность; перешли к революции, тайно согласились с утверждением коммунистической партии, что только она одна представляет собой пролетариат. А когда мы наконец разочаровываемся, увидев воочию дело сталинцев, то мы не ставим под сомнение ни одного из прежних утверждений: ни миссию пролетариата, ни технику большевистской партии, ни власть вылившуюся в тотальную планификацию. Если революция, совершенная во имя Маркса, вырождается в тиранию, то в этом не виноваты ни Маркс, ни его толкователи. Ленин был прав и Мерло Понти тоже прав. Виновата история. Не проще ли признаться в том, что истории вовсе не было, а мир в целом — это бессмысленная путаница.

Почему главное испытание, испытание марксизмом и историей, должно происходить в середине XX века и совпадать с советским экспериментом? Если пролетариат не становится универсальным классом и не берет в свои руки судьбу человечества, то почему нужно разочаровываться в будущем, а не признать, что философы ошиблись, приписывая заводским рабочим исключительную миссию? Почему «гуманизация» общества не может быть общим и вечно незавершенным делом человечества, не могущего уничтожить разницы между реальным и идеальным, но и не желающим с этим примириться? Почему захват власти одной монопольной государственной партией должен быть неременным условием для выполнения неясно сформулированного задания?

Так мы делаем ошибку, от которой Маркс предостерегал: мы судим об обществах по их идеологии, а не по судьбе, которую они уготовили людям. «Окончательная заслуга марксизма и прогресс западного сознания — это умение сопоставлять идеи с социальной действительностью, которую они должны вдохновлять, умение сопоставлять вашу точку зрения с точкой зрения других, нашу мораль — с нашей политикой». Лучше сказать нельзя. Но почему революционеры должны избегать этого сопоставления?

⁵²⁾ Русский термин в тексте.

ПРОЦЕССЫ И ПРИЗНАНИЯ

Большие процессы, которые в 1936-1938 г. г. привели к осуждению соратников Ленина и повторились в государствах-сателлитах после раскола с Тито, кажутся многим западным наблюдателям символами сталинского мира. Они похожи на процессы инквизиции, они отстаивают правоверие, разоблачая ереси. В этой религии, обожеествляющей историю, правоверность проявляется в толковании прошедших и будущих событий, а ереси — это отклонения от этих толкований, нарушения дисциплины или ошибки личного поведения. Так как эта религия не признает внутренней жизни, чистоты душевной и благих намерений, то всякое фактическое отклонение является одновременно и ересью и расколом.

Что бы ни говорили, но в этих процессах нет ничего таинственного. Многочисленные показания нам сообщили, как добываются признаний. Физик Вейсберг, польский партизан Стыпольский, американский инженер Вегелер, — вот некоторые из многих свидетелей, детально рассказавших о своих приключениях. Они описали методы, которыми в течение великой чистки в 1936-1938 г. г., в Москве в конце войны, в Будапеште при венгерской народной демократии, коммунистов и некоммунистов заставляли признаваться в преступлениях, которых они не совершали, причем эти преступления иной раз бывали чистой выдумкой, иногда реальными действиями, названными преступными, но в сущности невинными, как невинны и совершившие их.

Техника признаний не подразумевает у обвиняемых существования неопределенного чувства вины, солидарности между следователями и виновными в понимании доктрины. Техника эта уже применялась к небольшевикам, к социалистам-революционерам и иностранным инженерам, раньше чем ее применили к опальным оппозиционерам. Первоначально она объяснялась просто — удобством. Она служит убеждению массы в том, что враждебные партии состоят из преступников, не останавливающихся ни перед чем чтобы удовлетворить свою ненависть или тщеславие; что капиталистические государства устраивают заговоры против родины трудящихся; что трудности социалистической стройки — это результат злодеяний врагов. Не только одно советское правительство ищет себе козлов отпущения; все народы, находящиеся в опасности или пораженные в битвах, обвиняли в своих несчастьях изменников. Признания виновных вносят поправку в этот древний образ действия; жертва, на которой должен сконцентрироваться гнев толпы, сама подтверждает справедливость своего наказания.

Это объяснение относится и к делу Зиновьева, Каменева, Бухарина. Дело революции и родины неотделимо от сталинской группы после того, как вчерашние герои признались, что они вели подрывную деятельность против партии, подготавливали или проводили саботаж и террористические покушения и, наконец, поддерживали связь с полицией III Рейха. Во всех процессах встречается это объяснение, необходимое для целей правительственной пропаганды. Средства, при помощи которых добываются признаний, аналогичны в разных случаях и применяются к личности подсудимого — то более психологические, то более физические. Самые утонченные пытки сводятся к элементарным

принципам: простое искусство, сказал бы Наполеон, проявляющееся в его исполнении.

Почему на Западе так много рассуждают на эту тему? Оставив в стороне практическое значение чисток в Советском Союзе, следует подумать над двумя вопросами. Не считают ли прокуроры, подобно инквизиторам, что они побуждают еретиков к исповеданию истины, даже если для этого и применяется насилие? И не отражает ли эта истина некую «сверх-реальность», даже в том случае, когда приводимые факты в действительности неверны? С другой стороны, не чувствуют ли подсудимые себя виновными, не в буквальном смысле, потому что Бухарин ведь не подготавливал убийство Ленина, а Зиновьев не встречался с представителями Гестапо, но в тонком смысле, когда оппозиция с точки зрения судьи, как и с точки зрения подсудимого, приравнивается к измене?

Мы не собираемся анализировать психологию старых большевиков и распознавать, что в ней объясняется принуждением, что неясным сознанием вины или даже желанием обвиняемого в последний раз послужить партии (в стиле японских камикадзе). Нам важно найти в этом разительном примере колебание между неясно выраженной правове­рностью и революционным идеализмом, представление о смысле истории, свойственное как правове­рным так и идеалистам — источник их общих ошибок.

Кто же будет правове­рным сталинцем — тот, кто дословно верит обвинительному акту и показаниям подсудимых? Существует ли такой правове­рный? На верхах иерархии его, несомненно, не найти. Сам Сталин, и его товарищи, и судьи знают о вынужденности признаний и о подтасовке фактов. Партийные активисты, узнавшие чистку на собственном опыте, присутствовавшие при составлении своего собственного дела или дела своих друзей, вряд ли верят в искренность этих признаний, хотя и подтверждающих друг друга, но не имеющих никаких материальных доказательств. Приводимые доказательства вины должны бы вызвать сомнение: что это за странные террористы, которые создавали свои ячейки, но не совершали покушений; что это за вредители, руководившие целыми промышленными секторами и работавшие одновременно как подпольщики? Можно ли думать, что средний русский человек, не большевик, но подчиняющийся установленной власти, буквально верит этим криминальным романам? Признает ли он, что кремлевские врачи действительно были убийцами в белых халатах, или что они были невинно осуждены? Нельзя полностью исключить такой доверчивости, так как она существует и во Франции; но я сомневаюсь в том, что она широко распространена. И даже, если бы она и была распространена, то техника этих процессов все равно не становится от этого более понятной. Если русские люди верят этим признаниям, то значит они готовы поверить чему угодно, а тогда вообще не стоило огорода городить.

Во всяком случае, настоящий правове­рный не обязан буквально верить таким признаниям, ибо в таком случае сам Сталин и те, кто до­пускается к эзотерической истине, не были бы правове­рными. Чтобы не впасть в чистейший цинизм, внутрипартийные круги должны прибегать к такому же толкованию, какое выразил Виктор Серж в «Деле

Тулаева», М. А. Кестлер развил и популяризовал в «Ноль и бесконечность», а Мерло-Понти повторил феноменологично-экзистенциалистическим языком в «Гуманизме и терроре», резко критикуя Кестлера⁵⁸).

Принципы этого толкования просты: судья не совершит ошибки, посчитав оппозиционера изменником; оппозиционер после своего поражения может посчитать, что право на стороне его соперника-победителя. Первое умозаключение свойственно всем революционерам: оно неизбежно в периоды пароксизмов чисток. Тот, кто отходит от партии или от человека, воплощающего все дело, переходит в другой лагерь и работает на контрреволюцию. Бухарин, борясь с коллективизацией сельского хозяйства, был на стороне крестьян, которые отказывались вступать в колхозы; он помогал тем, кто саботировал правительственную программу; он фактически объединился с внешними врагами, которые пытались ослабить родину революции. Оппозиционная логика заставляла его защищать и восстанавливать капитализм в деревнях. Он действовал так, как будто он перешел в контрреволюционный лагерь; так как от политиков требуют отчета в действиях, а не в намерениях, то он объективно изменил партии, а следовательно, и социализму. Этот, так называемый, метод «цепной реакции» большевики применяют тем более охотно, что среди революционеров весьма распространен культ партии. Абсолютной ценностью обладает только партия. Отойти от партии на словах, на деле, или хотя бы в намерении, значит совершить величайший грех.

Соратник Ленина, побежденный в борьбе фракций, может искренне подписаться под этим рассуждением. Он, может быть, продолжает думать, что коллективизация могла быть проведена иначе, но у него нет больше политической платформы, нет точки зрения. Всякое расхождение со взглядом партии на его положение стало невозможным. Если он не пересмотрит всей своей системы мышления — цепной реакции, идущей от сталинского социализма через пролетариат в партию, — он должен признать приговор истории, решивший в пользу того, кого он продолжает ненавидеть от всего сердца. Быть может, «капитулируя», он не отказывается от своего достоинства и не признается в своей слабости. Нет ни духовной жизни, ни божественного правосудия; нет истории без революции, ни революции вне пролетариата, вооруженного партией; нет партии вне сталинского руководства. Отказываясь от оппозиции, революционер, быть может, в глубине души остается верным своему прошлому.

Эта тонкая интерпретация, вариации которой очень легко развивать, в общем свойственна как людям церкви, так и людям веры. В чем же они отличаются друг от друга? Я вижу три главных различия.

⁵⁸) Мерло-Понти упрекает Кестлера в том, что он плохой марксист, потому что он мыслит марксизм в механистических терминах, вместо того, чтобы признать единственной абсолютной реальностью пережитую intersубъективность и ставить перспективы тех и других в это живое сосуществование. Кестлер мог бы ответить, что коммунисты (за исключением Лукаса, который всегда стоял обособленно) никогда не мыслили марксизм в такой тонкой терминологии. Кроме того, Мерло-Понти делает ошибку, подобную ошибке механистов. Последние считают конечный социализм неизбежным. Он ставит своей конечной целью взаимное признание, единственно возможное оправдание истории, к которому должна вести пролетарская революция. Что же касается процессов, то оппозиция экзистенциально-марксистской диалектики и механизма не имеет значения.

1) Правоверный обычно знает, что факты подложны, но он не имеет права в этом признаться во всеуслышание. Он подчиняется или должен подчиниться дисциплине языка. Идеалист же имеет право называть процессы «словесными церемониями», более или менее ясно намекать, что факты существуют только в обвинительных актах и признаниях. Это различие имеет общее значение. Правоверный в глубине души знает о существовании концентрационных лагерей; на словах он знает только об исправительных лагерях. Скажем еще, что первый знает только факты, переведенные на язык доктрины, а второй — необработанные факты.

2) Правоверный точно так же, как и идеалист, не уверен в деталях событий. Он равнодушно соглашается с исчезновением Троцкого, изгнанного его торжествующим врагом из анналов революции. Он не сомневается в «главных линиях» толкования истории, которому его учит партия. В зависимости от активиста «генеральные линии» толкуются более или менее широко или уточненно. Но они всегда содержат те же существенные элементы: роль пролетариата и воплощение его в партии, классовую борьбу, противоречия капитализма, фазу империализма и неизбежное завершение в бесклассовом обществе (каждый из элементов имеет несколько версий). История русской партии большевиков и братских партий поистине священная история. Маленький северный кореец с священным трепетом изучает конфликт различных тенденций внутри болгарской коммунистической партии⁶⁴). Партия иной раз переделывает эпизоды прошлого для того, чтобы лучше объяснить их значение непосвященным, или потому, что она задним числом осознала их истинное значение. В основном, история в том виде, как ее показывает партия, соответствует истине, но истине, стоящей выше материальной истинности фактов.

Идеализм желает, чтобы эта история была истинной, но он в этом не уверен. Он отдает предпочтение Советскому Союзу, потому что он ссылается на ту доктрину, которая одна только может придать смысл истории. Так как он позволяет себе видеть необработанные факты, то он наблюдает и такие явления, которые не соответствуют его упованиям. В партии, которая лжет, он не видит надежды для человечества; но из этого он не извлекает убеждения, что партия говорит правду. Может быть, в истории вообще нет правды.

Если правоверный сомневается в деталях, то идеалист сомневается в основном.

3) Правоверный пытается максимально расширить объект своей веры, связать непредвидимые совпадения и случайности с главным направлением авантюры. Он хотел бы, чтобы инициатива индивидуумов, действия групп, перипетии битв объяснились диалектикой классов и экономических сил. Все события должны занять определенное место в священной истории, центром которой является партия. Тогда внешние или внутренние враги партии действовали бы соответственно логике единой мировой борьбы. Случайность исчезла бы, если бы Сланский пошел на измену вследствие буржуазного происхождения.

Идеалист тайне признает расхождение между «главными линия-

⁶⁴) Эту деталь рассказал мне француз, бывший два года в плену в Северной Корее.

ми» истории и случайностью событий. В конечном счете, следует верить, что история кончится благополучно, ибо иначе получается «безумная путаница». Дожидаясь этого счастливого конца, человек может быть введен в искушение обстоятельствами. Какова правильная линия в каждое мгновение? Никто этого не может сказать с уверенностью, и решение, честно принятое сегодня, может в будущем оказаться преступлением. А намерения не имеют значения: завтра я окажусь беспомощным перед судом истории.

Искренний или словесный догматизм правоверного угрожает одинаково как не-коммунисту, так и уклонисту или ренегату. Если человек церкви обладает полнотой истины, то почему бы ему не заставлять язычника исповедовать новую веру? Это исповедание примет форму автобиографии, написанной неверующим, которому навязали понятия и словарь верующего (так как доктрина отрицает духовную жизнь, то исповедание выражается во внешнем). Американский инженер Вегелер в тюрьмах Будапешта рассказывает свое прошлое; отцы иезуиты — свое — в китайских тюрьмах. И те и другие вынуждены по-новому осмыслить свое существование, пользуясь категориями своих тюремщиков; чего уже достаточно, чтобы стать виновными. А для того, чтобы не было ни малейшего сомнения в этой вине, они обязаны прибавлять чисто вымышленные факты: инженер встречался с полковником — специалистом по шпионажу до своего отъезда из Соединенных Штатов; монахи участвовали в империалистических заговорах; монахини — сестры милосердия признаются в том, что они «убивали маленьких детей китайских пролетариев».

Идеалист не доводит до такого абсурдного ужаса логику политической системы. И однако тезис идеалиста, представленный М. Мерло-Понти, кажется еще более неприемлемым, чем тезис правоверного. Несмотря на то, что большинство критиков не поняло аргументации философа, их возмущение (в интеллектуальном смысле этого слова) мне кажется справедливым.

О ТАК НАЗЫВАЕМОМ РЕВОЛЮЦИОННОМ ПРАВОСУДИИ

Мы всегда удивляемся, что мыслитель оказывается снисходительным к тому миру, который никогда бы его не принял, но безжалостным к тому, который его почитает. Восхваление фанатизма не-фанатиком, философия обязанностей, ограничивающаяся указанием обязанностей для других и ни к чему не обязывающая самую себя, производят страшное впечатление дисгармонии. Только либеральное общество разрешает такой анализ советских процессов, какой проводят Мерло-Понти, Виктор Серж и Кестлер. Их подчеркнутое безразличие к либерализму, если оно не облагорожено высоким учением Христа, становится своего рода отступничеством. Обычно не доверяют людям, которые делают вид, что они не верят в ценность своего дела. Почему философ рассуждает так, как будто свобода, при отсутствии которой он был бы осужден на молчание или покорность, не имеет цены?

Все толкование истории, которую Мерло-Понти называет марксистской и которая внушает надежду радикального решения вопроса, осно-

ываается на известной уже нам теории пролетариата. А эта теория, абстрактная сама по себе, применяется для оправдания революций в докапиталистических странах, где пролетариат представлял собой слабое меньшинство населения. Почему китайская революция, проведенная интеллигентами, руководившими крестьянскими массами, обещает нам наступление эры «человеческого сосуществования» современного пролетариата, реализованное пока что наполовину?

Сравнение между двумя видами режимов проведено с бессознательной недобросовестностью. Мы видели, что, в принципе, под предлогом стремления к «радикальному решению вопроса», для советского режима требуется снисхождение. Отношение к режиму, выраженное формулой: «Кому как верят, так и мерят» приемлется с трудом даже при уверенности, что один из лагерей когда-нибудь воплотит истину; но оно становится невыносимым, когда не решаются утверждать верность советского государства революционному призванию. Мы в праве напомнить о всех насилиях в истории Запада и в истории всех известных цивилизаций; но тогда нужно сопоставлять и те способы насилия, которые применяют сегодня различные типы режимов. Какими свободами обладают советские граждане и какими граждане Запада? Какие гарантии даются подсудимым по ту и по эту сторону железного занавеса?

Если уничтожение свобод оправдывается особыми заслугами советского режима, например, скоростью экономического прогресса, то это нужно не только сказать, но и доказать. На деле же философ ограничивается легковесной аргументацией: во всех обществах существуют несправедливость и насилие; возможно, что в советском обществе в данный момент имеется их больше, чем в других, но величие цели заставляет нас не осуждать их. Правда, революции можно и нужно простить преступления, которые были бы непростительными, если бы они совершались в установившемся режиме; но как долго можно оправдывать их революцией? Если через тридцать лет после захвата власти «закон о подозрительных» в робеспьеровском стиле продолжает еще применяться, то когда же он устареет? Продолжение террора в течение нескольких десятилетий вызывает по крайней мере один вопрос: в какой степени террор связан не с самой революцией, а с вышедшим из нее социальным порядком?

Метод цепной реакции, благодаря которому оппозиция может стать изменой, влечет за собой постоянство террора. Мерло-Понти посвящает много страниц объяснению того, что уже объяснили Виктор Серж и Кестлер и что совсем не таинственно: оппозиционер действует в некоторых случаях как враг партии и, следовательно, является в глазах правителей изменником. Но это обобщение оппозиционера с изменником запрещает в конце концов всякую оппозицию. Жорж Клемансо ослаблял то правительство, которое он критиковал, но добившись власти, он приводит войну к победному концу. У большевиков всегда были две формулы, одна для того, чтобы требовать монолитности, а другая для того, чтобы поддерживать конфликты идей и тенденций, которые свидетельствуют о жизнеспособности партии (Ленин охотно пользовался второй формулой, когда рисковал остаться в меньшинстве). Когда применяется та или иная формула? В 1917 г. ни Сталин, который до прибытия Ленина вел сдержанную политику, ни Зиновьев и Каменев,

которые были сторонниками октябрьского переворота, не обвинялись в измене. Их не заставляли признаться в том, что они находились на службе у Керенского или союзников. Система цепной реакции доходит до своего логического и абсурдного завершения только в тот момент, когда конфликт между тенденциями исчез или погрузился в недра бюрократии, где маленькая группа или, быть может, один человек, властно распоряжаются жизнью и честью миллионов людей.

Что бы ни думал сам философ, но возмущение было вызвано не тем, что он выразил феноменологически-экзистенциалистическим языком старые формулы революционных и террористических сект: — «кто не со мной, тот против меня»; всякая оппозиция есть измена; малейший уклон ведет в противоположный лагерь. Возмущение было вызвано тем, что он счел нормальным продолжение этого террора в тот момент, когда система мышления, захваченная властью, добивает пораженных и воспекает победителей. Как только толкователь истории становится одновременно и генеральным секретарем партии и начальником полиции, благородство борьбы и риска исчезает. Властодержцы хотят быть одновременно и проповедниками истины. Место революционного террора занял цезаропапизм: для этой бездушной религии оппозиционеры на самом деле становятся еретиками; они хуже преступников⁵⁵).

Известно, что в революционный период подсудимым отказывают в гарантиях, которыми они пользуются в нормальное время. Можно понять, почему Робеспьер покончил с Дантоном, прежде чем погиб сам, и почему в обоих случаях чрезвычайные трибуналы судили от имени какой-либо фракции. Юридическая форма решения, принятого заранее вне залы суда, отвечает, по-видимому, стремлению сохранить видимость и легальную непрерывность и при государственных переворотах.

Законодательство закрепляет известное распределение имущества и власти; это несомненно. Но из этого не следует, что либеральное правосудие солидарно с капитализмом и что последний компрометирует ценность либерализма. То, что философ называет либеральным правосудием, это то правосудие, которое выработало в течение веков строгое определение проступков, право на защиту подсудимых, непризнание обратной силы законов. Сущность правосудия выявляется в его либеральных формах; революционное правосудие только карикатура на него. Конечно, в некоторых случаях возможно признать неизбежность чрезвычайных трибуналов, но не следует представлять их в виде нового правосудия, в то время как они полное его отрицание.

Если утвердившаяся государственная система хвастается революционным правосудием, то это значит, что никто больше не остается в безопасности и диалектика признаний оборачивается чисткой, миллионами подсудимых, сознающих в мнимых преступлениях. Революция и террор могут быть совместимы с гуманистическими намерениями; но перманентная революция, террор возведенный в правительственную систему, не совместимы с ними. Цель коммунистического насилия не так важна, как органический, неизменно-тоталитарный его характер;

⁵⁵) В лагерях лучше обращаются с уголовниками, чем с политическими: политическое преступление более тяжелое.

насилие находится на службе у партийцев, т. е. привилегированных, а не у пролетариата.

Этот род мысли как правоверных, так и идеалистов, ведет к подтверждению приговора истории. Достаточно себе представить Троцкого на месте Сталина, как роли изменника и судьи переменятся. Внутри партии соперников судят только события. Победитель убежден, что он прав; это можно понять, но почему философ должен подписаться под этим утверждением? Нельзя ли, приняв ту же историческую точку зрения, провести сельскохозяйственную коллективизацию, избегая ссылок и голода?

Мнение того, кто в 1929 году указывал на последствия тех мер, которые собиралась применить партия, — а последствия эти действительно имели место, — не опровергается конечным успехом операции; оно не опровергается и тогда, когда указывают раз и навсегда, что человеческие жертвы не имеют значения для «успеха»⁵⁶⁾.

Всегда возможны несколько толкований человеческого поведения в зависимости от того, считаемся ли мы с намерениями действующих лиц, с обстоятельствами в прошлом или с последствиями действий. Если не интересоваться намерениями действующих лиц, как это бывает принято в политике, то все еще можно толковать действия по-разному; можно учитывать момент принятия решения или, наоборот, толковать намерение, исходя из далеких последствий, которые успели реализоваться. Великий человек это тот, кто выдерживает суд будущего, которое ему было не известно. Но историк изменил бы своей профессии, если бы он постоянно возвращался к прошедшему времени. Дело Бисмарка не опровергается трагедией III Рейха.

A fortiori этот способ оценки становится возмутительным, когда трибунал, состоящий из живых людей, употребляет его против других живых людей. Толкование последствий с точки зрения победителя ведет к самым тяжелым несправедливостям. Задним числом ошибка становится изменой⁵⁷⁾.

Если бы Германия победила, голлисты стали бы изменниками, а коллаборанты законопослушными. Вероятно это было бы так. Коллаборанты и голлисты мечтали о двух разных, несовместимых Франциях, спор между которыми должны были решить битвы, в которых главным

⁵⁶⁾ Мерло-Понти принципиально не хочет, чтобы история была права. Гитлер — победитель остался бы негодяем. Нацистский национальный коллектив не гуманен, пролетарский коллектив гуманен. Аргумент не очень убедителен: если пролетариат уже сейчас является «подлинной intersубъективностью», то почему это достоинство должно распространяться на партию, в которой мы тщетно ищем пролетариат?.. Правда, пролетариат может потерпеть неудачу, следовательно, история как таковая не является верховным судом. В отличие от правоверного, идеалист не преклоняется заранее перед приговором будущего; он оставляет за собой право осуждать классы, сопротивляющиеся тому, что он считает воплощением надежд человечества, и даже осуждать само будущее, если оно не будет соответствовать этим надеждам.

Но несмотря на все это, идеалист не избегает идолопоклонства перед историей, потому что он приписывает то же достоинство и исторической схеме и идее «признания», потому что он приравнивает дело человечества к делу партии, потому что хотя бы гипотетически она подтверждает суд победителя.

⁵⁷⁾ «Факт победы союзников обличает коллаборацию как инициативу и пре-
вращает ее, чем бы она ни полагала быть, в желание измены».

образом участвовали не они. Происшествия были арбитром⁵⁸). И те и другие признали этого арбитра, который, впрочем, подтвердил факт, а не право. Когда ведется смертельная борьба, следует говорить не о судилище, а о военном счастье.

Борющиеся стороны всегда склонялись толковать поведение противника посредством своей системы понятий. Если бы коллаборант мыслил как голлист, он конечно был бы подлецом. Признать неуверенность при принятии решений, многочисленность возможных взглядов на неизвестное будущее, — это не значит отрицать неискupимость вины или избегать ответственности; это значит принимать их без ненависти, не отрицая чести противника.

Правоверные и идеалисты начинают с того, что отделяют действие от действующего лица, от его намерений и от обстоятельств; они его определяют в **своем** толковании событий. Так как они утверждают абсолютную ценность своей цели, осуждение других или побежденных ничем не ограничивается. Но если перенестись в момент принятия решения и пересмотреть обстоятельства, то для произвольного толкования останется гораздо меньше места. Если признаться в незнании конца, в частичной законности противоречивых интересов, то ослабится строгость догматизма, судящего во имя истины.

Тот, кто утверждает, что он выносит окончательный приговор, тот шарлатан. Если история есть верховный судья, то она вынесет приговор только в последний день. Но если совесть (или Бог) судит историю, то и тогда будущее не имеет больше веса, чем настоящее.



Тридцать лет тому назад ведущая школа Советского Союза считала своим долгом от имени марксизма анализировать инфраструктуру общества, развитие производственных сил и борьбу классов. Она не признавала ни героев, ни битв, она заменила их глубинными, безличными, неизбежными силами. Но теперь вновь вспомнили о нациях, войнах, генералах. В каком-то смысле это хорошая реакция. Полное возвращение к прошлому не должно упускать из виду ни детерминизма машин, ни личной инициативы, ни серий политических событий, ни столкновений армий. Но введение этих действий в историю, понимаемую по-коммунистически, переносит нас в странный мир, в котором все объясняется посредством безжалостной логики, не имеющей никакой связи с реальностью.

В истории, подчиненной детерминизму производственных сил и отношений, классовой борьбы, империалистических и националистических стремлений, должны найти себе место и мелкие события. Каждому индивидууму приписывается роль, соответствующая его социальному положению; каждый эпизод превращается в выражение конфликта или необходимости, предусмотренных доктриной. Нет ничего случай-

⁵⁸) Это не значит, что в высшем плане нельзя увидеть ценности дела.

ного и все имеет значение. Капиталисты раз и навсегда подчиняются своей сущности: Уолл стрит и Сити устраивают заговоры и против мира и против родины социализма. Мир вынужденных признаний — это карикатура на исторический мир коммунистов; это мир классовой борьбы и тайной полиции.

Капитализм и социализм перестают казаться абстракциями. Они воплощаются в партиях, индивидуумах, бюрократиях. Западные миссионеры в Китае являются империалистическими агентами. Люди — это то, что они делают. Значение их действий открывается в том мнении, которое высказывает о них обладатель истины. Можно было бы сказать, сказав формулу Сократа, что зло не совершается невольно; не потому, что намерения некоммунистов порочны, а потому, что они не принимаются в счет. Только социалист, знающий будущее, сознает смысл того, что делает капиталист, и утверждает, что тот **объективно** желает того зла, которое он в действительности причиняет. Ничто не запрещает приписывать подсудимым действия, которые иллюстрируют подлинную сущность их поведения: терроризм или саботаж.

Мы вышли из диалектики Гегеля и пришли к криминальным романам; эта комбинация нравится интеллигентам, даже самым крупным из них. Случайность и неясность их раздражают. Коммунистическое толкование никогда не потерпит неудачи. Приверженцы чистой логики напрасно станут напоминать, что теория, уклоняющаяся от попыток опровержения, выпадает из системы истины.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Смысл истории

Две как будто противоположные, но на самом деле нераздельные ошибки лежат в основе идолопоклонства перед историей. Люди церкви и люди веры позволяют уловить себя в сети абсолютизма, чтобы тут же предаться неограниченному релятивизму.

Они мысленно выбирают конечный или абсолютно значимый момент истории: одни называют его бесклассовым обществом, другие — признанием человека человеком. И те и другие не сомневаются в существенной оригинальности этого момента будущего по отношению ко всему, что ему предшествовало. Это «привилегированное положение» должно все осмыслить. Они заранее уверены в том, что знают тайну неоконченного приключения; они смотрят на путаницу вчерашних и сегодняшних событий с претензиями судьи, стоящего выше конфликтов и величественно распределяющего похвалы и порицания. Историческое существование в подлинном переживании противопоставляет друг другу индивидуумы, группы, нации, борющиеся за несовместимые интересы или идеи. Ни современник, ни историк не могут безгранично оправдывать или осуждать тех или иных. Не потому, что мы не знаем, что есть добро и что — зло, но потому, что мы не знаем будущего и всякое историческое событие приносит с собой беззаконие.

Борющиеся преображают то дело, для которого они готовы отдать свою жизнь, и они имеют право игнорировать двусмысленность нашего поведения. Доктринеры церкви или веры, которые оправдывают это преобразование, оправдывают одновременно, — что бы они не говорили, — исступление фанатизма и чисток. Крестоносец социализма толкует поведение других согласно своему пониманию истории и поэтому не находит достойных себе противников: против будущего, которое он воплощает, встают только отсталые или циники. Так как он проповедует всеобщую истину единственной точки зрения на историю, то он присваивает себе право толковать прошлое по своему усмотрению.

Ошибки, связанные с абсолютизмом и релятивизмом, опровергаются логикой ретроспективного знания истории. Историк, социолог, юрист находят разные смыслы в действиях, учреждениях, в законах. Они не открывают смысла всего. История абсурдна, но никто из живущих не может охватить ее конечного смысла.

МНОЖЕСТВЕННОСТЬ ЗНАЧЕНИЙ

Действия людей всегда разумны. Когда они перестают быть таковыми, действующих исключают из человеческого общества, их называют сумасшедшими, их считают чуждыми человеческому роду. Но разумность не приводит к однотипности и не гарантирует, что целое, каждый элемент которого понятен сам по себе, будет казаться осмысленным наблюдателю.

Почему Цезарь перешел Рубикон? Почему Наполеон открыл свой правый фланг в битве под Аустерлицем? Почему Гитлер напал на Россию в 1941 г.? Почему спекулянт продавал франки после выборов 1936 г.? Почему советское правительство приказало провести коллективизацию сельского хозяйства в 1930 г.? Во всех случаях ответ дается в соответствии решений к целям, — захватить власть в Риме, привлечь левое крыло австро-русской армии, уничтожить советский режим, воспользоваться девальвацией, уничтожить кулаков и увеличить коммерческую часть урожая. Цезарь стремился к диктатуре или царствованию, Наполеон или Гитлер — к победе, спекулянт желал набрать побольше денег, а русское правительство — пищевые резервы для снабжения городов. Но этот последний пример уже доказывает недостаточность соотношения средств и цели. Можно в крайнем случае сказать: «одна цель — победа», или «одна цель — нажива». Планировщик всегда должен выбирать между различными целями: в ближайшем будущем самый высокий урожай, возможно, дали бы крестьяне-собственники, но они составили бы враждебный советскому режиму класс и сами потребовали бы значительную часть урожая.

Даже когда цель ясна, толкование события никогда не ограничивается одним соображением. Как понять поведение полководца, не осветив каждое его решение сведениями, находящимися в его распоряжении, возможными реакциями противника, расчетом шансов того и другого, не реконструировав организацию армии и военную технику? При переходе от военного искусства к политике сложность увеличивается. Решение политика, как и полководца, понятно только тому, кто расшифровал конъюнктуру: авантюры Цезаря, Наполеона, Гитлера раскрывает в своем значении только в целом охватывающем определенную эпоху, нацию, а возможно и цивилизацию.

Исследование может вестись в трех направлениях или иметь три измерения:

1) Определение средств и целей ведет к знанию действующего лица и структуры общества. Цель всегда бывает этапом к следующему объекту. Даже если бы единственной целью в политике была власть, нужно было бы уточнить род власти, к которой стремится властолюбец. Техника достижения власти при парламентском режиме имеет мало общего с техникой действий при тоталитарном режиме. Властолюбие Цезаря, Наполеона, Гитлера, каждое своими характерными чертами, объяснимы только такими событиями и в таких событиях, как кризис римской республики, французская революция или веймарская республика.

2) Для понимания человеческого поведения, необходимо определение ценностей, потому что они никогда не бывают чисто утилитарными. Рациональная расчетливость спекулянта характеризует некото-

рый вид деятельности, свойственный определенному виду цивилизации; эта деятельность всегда ограничивается понятием благосостояния. Но воин или рабочий, homo politicus или homo oeconomicus подчиняются также и религиозным, и моральным или бытовым ценностям; их действия выражают иерархию предпочтений. Социальный режим всегда бывает отражением отношения к космосу, к обществу или к Богу. Никакой коллектив не приводил всех ценностей к одному знаменателю богатства или власти. Престиж людей или профессий никогда не измерялся исключительно деньгами.

3) Считается бесполезным исследовать движения Наполеона под Аустерлицем; но подчеркивают болезнь или утомление того же Наполеона под Москвой или под Ватерлоо. Как только наблюдают неудачу какого-нибудь индивидуума или серию действий исторической личности, или поведение группы, от поведения или действий переходят к системе **импульсов**, вытекающей из полученного ими воспитания или прожитой жизни.

Историк охотнее всего идет в первом направлении, социолог во втором, антрополог культуры в третьем, но каждый из этих специалистов нуждается в помощи других. Историк должен освободиться от себя самого, сделать усилие, чтобы открыть другого в самом себе. Но это открытие подразумевает известное общение между историком и историческим объектом. Если мир, в котором жили люди давних времен, не имел бы ничего общего с тем миром, в котором живу я, если бы эти два мира, взятые отвлеченно, не могли бы представиться мне двумя вариациями на ту же тему, то мир другого стал бы для меня всецело чуждым и потерял бы всякое значение. Для того, чтобы вся история была для нас понятной, живые должны найти родственную связь с мертвыми. В этот момент анализа поиски смысла сводятся к определению абстрактных элементов — импульсов, категорий, типичных ситуаций, символов или ценностей, — которые, являясь составными частями человечества, реализуют условия, необходимые для понимания наблюдаемых действий, для понимания историками исчезнувших цивилизаций.

Множественность измерений доступных пониманию означает богатство реальности, а не помеху знанию. В каком-то смысле, каждый фрагмент истории неисчерпаем. «Каждый человек несет в себе полную форму человеческого состояния». Один коллектив может открыть смысл всех других коллективов, при условии, что он будет полностью понят. Исчерпывающий анализ одной только военной кампании был бы для гения достаточен, чтобы определить правила стратегии; изучение одного общества — чтобы выяснить основные принципы всех конституций. Никто никогда не исчерпал всех тайн самого близкого и родного человека.

Другая множественность проявляется внутри каждого человеческого измерения: установка событий, существенная для понимания, не встречает определенных границ ни в мелочах, ни в целом. Поэтому смысл двойственен, неуловим, каждый раз иной, зависимый от рассмотренного целого.

Решение атаковать Советский Союз, принятое в конце 1940 г., объясняется стратегическим соображением — победить Красную армию, прежде чем Великобритания будет в состоянии высадиться на Западе;

но и политическим намерением — разрушить большевистский режим, свести славян к состоянию покоренного народа, и т. д. Это намерение в свою очередь может быть объяснено направлением ума Гитлера, литературой, которую он поверхностно изучал, которая говорила о вековых перипетиях столкновений между славянами и германцами. Исходя из одного действия, мы проходим всю европейскую историю не видя ни необходимости ни права остановиться. На Западе франко-немецкая война 1939 г. увлечет нас к верденскому разделению, к каролингской империи до галло-римских королевств, а от них — к римской империи и т. д.

Ни изучением документов, ни непосредственным опытом не охватить исторического атома. Битва, в которой участвовали тысячи или миллионы бойцов, переживаются каждым из них по своему. Текст договора физически одна вещь. Но в своем значении он множественен: один для тех, кто его составлял и применял, иной для противников, которые его подписали с задними мыслями. Как единое значение он объединяется, как и битва, только в уме вспоминающего его историка или исторической личности.

Бесконечная регрессия в обоих направлениях не подразумевает первичной бесформенности материи. Человеческий характер событий исключает самозамыкание атомов; никогда не ставя конца исследованию, он выражается также и системами, намечающимися в реальности. Историк не собирает пылинки. Элемент и целое — взаимно дополняющие понятия. Было бы совершенно неверным представлять себе одну материей, а другое формой; или одно — данным, а другое выводом. Аустерлицкая битва является всеохватывающим целым по отношению к действию гренадера или кавалерийской атаки в центре поля битвы; по отношению к кампании 1805 года она является единичным событием, как 1805 г. — событием по отношению к наполеоновским войнам.

Нет основного различия между битвой под Аустерлицем, кампанией 1805 г. и наполеоновскими войсками. Можно ли сказать, что аустерлицкая битва может быть охвачена одним взглядом или была охвачена взглядом одного человека, а кампания 1805 г. или наполеоновские войны — не могут? Но в таком случае битва на Марне принадлежит к той же категории, что кампания 1805 г., скорее чем к категории аустерлицкой битвы. На самом деле, всякое событие охватывает какое-то время и какое-то пространство, точно так же, как их охватывает и целое. Для того, чтобы высказать существенное возражение, нужно, чтобы событие было мгновенным или индивидуальным. Но таковым оно не бывает.

Эта однородность исторических реконструкций не исключает различий, которые кажутся резкими, когда мы рассматриваем конечные итоги. Но, по мере того как системы расширяются, эти границы становятся менее резкими, а внутреннее единство менее четким. Временно-пространственное единство битвы под Аустерлицем, единство действий, подведенных под этот заголовок, были явны для современников и остаются таковыми для историков. Единство на высшем уровне не было почувствовано теми, кто его пережил; связь между элементами косвенна, двусмысленна. Вместе с увеличением расстояния между опытом людей и восстановлением событий историком, увеличивается и опасность произвола.

Человеческое поведение внутри армий упорядочивается системой организации и дисциплины, иной раз проектом полководца. Человеческое поведение на поле битвы есть результат столкновения между проектами: проектами командиров, которые определяют общие движения и проектами бойцов, каждый из которых хочет смерти другого. Поведение первого типа часто осмысливается по отношению к каким-нибудь правилам или законам, которые в свою очередь определяются верованиями или практическими необходимостями. Поведение второго типа покрывает собой не только бряцание сабель или перестрелку. Оно относится, подобно конфликтам и играм, к известному роду поведения при столкновении; в некоторых отношениях оно тоже «упорядочено». Битва редко избегает всякой условности, а организация всегда оставляет место соперничеству. Таким же образом конституция фиксирует методы, соответственно которым избираются правители и законодатели. Она вызывает соревнование индивидуумов и групп за распределение мест или должностей, она пытается предупредить население, вводя свои законы.

Существенное отличие присуще не столько категориям поведения, сколько идеальным и реальным системам. Идеальной может быть система доктрины или конституции; реальной — система, созданная людьми, правящими по этой конституции или живущим по этой доктрине. Историк или социолог рассматривает и специфический смысл какого-нибудь текста в идеальной системе конституции или доктрины, и смысл, переживаемый в сознании людей. Юрист или философ более склонны рассматривать произведения искусства в их специфическом значении, историк — в их психическом или социальном проявлении.

Эти две интерпретации ни противоречивы, не исключают одна другую. Связь между моментами философской дедукции или юридической аргументации различается от взаимоотношений, которые устанавливает психолог или социолог. Они открывают свое значение только тем, кто соглашается проникнуть в мир метафизики или юриста.

Специфический смысл был пережит людьми в некоторую определенную эпоху, когда коллективу были свойственны переживания, присущие определенным религиозным верованиям. Ни один философ не был чистым духом, отрешенным от своей родины и своего времени. Критическая рефлексия не может заранее ограничивать права исторического или социологического толкования, не напоминая о неустраняемой разнородности между специфическим и переживаемым смыслом. По существу, изучение источников не может затронуть чисто философского значения или чисто художественной ценности какого-нибудь произведения искусства. Состояние общества объясняет черты произведений, но никогда не объясняет тайну шедевра.

Множественность значения, вытекающая из неопределенности систем и различие между специфическим и пережитым смыслом, влечет за собой **обновление** исторической интерпретации. Оно является защитой против самой худшей формы релятивизма, которая связана с догматизмом. Начинают с того, что игнорируют специфическое значение, пытаются привести философские произведения к тому значению, которое они приобретают в сознании не-философа; истолковывают пережитые значения по отношению к так называемому доминирующему

фактору, как, например, классовая борьба; наконец — приписывают человечеству, сведенному к одному измерению, единое направление, установленное историком. Множественность реальных и идеальных систем исключает фанатизм, не понимающий разнообразия ролей, которые исполняют индивидуумы в сложном обществе и перекрещивания систем, между которыми вклиняются действия. Историческая реконструкция оказывается незаконченной, потому что она не открыла всех взаимоотношений и не исчерпала всех значений.

Но обновление толкования влечет за собой своего рода релятивизм: любопытство толкователя влияет на определение систем и специфических смыслов. Характер этого релятивизма меняется в зависимости от того, относится ли он к событиям или произведениям. События по отношению к действующим лицам вечно остаются одними и теми же, даже если научный прогресс социологии и расширенный опыт допускают новое понимание. Относительность специфических смыслов зависит от природы соотношений между произведениями, иными словами, от историчности, свойственной каждому духовному миру. За этой множественностью, не исключая ее, может открыться единство смысла.

О ИСТОРИЧЕСКИХ ЕДИНСТВАХ

«Философия истории подразумевает, что история человечества не является просто суммой внеположных фактов — решений и индивидуальных действий, идей, интересов, учреждений, — но что она в данное и последующие мгновения является единством движений по направлению к высшему состоянию, которое придает смысл целому»⁵⁹). Конечно, история не является «просто суммой внеположных фактов»; но является ли она «единством в мгновении»? Элементы общества солидарны, они взаимно влияют друг на друга, они не составляют одного целого.

Разделение между экономическими, политическими, религиозными факторами вводится концепцией ученого или необходимостью подразделить работу. Первичное данное, поражающее беспристрастного наблюдателя, — это взаимная зависимость. Историк начинает не с противопоставления или системы, а со связи систем и соотношений. Орудия производства, организация труда, юридические формы собственности и обмена, учреждения выплывшие из экономической истории, все это относится с одной стороны к науке, которая постепенно освободилась от философии и религии, — с другой — к государству, обеспечивающему исполнение законов. Человек, который продает и покупает, возделывает землю, работает с машинами, в глубине души остается тем же, который верует, думает, молится. Взаимная зависимость секторов науки, требующая сотрудничества различных дисциплин, позволяет усмотреть на горизонте научной работы нечто вроде единства. Можно сомневаться, что даже для простых обществ удастся когда-нибудь установить один единственный принцип, из которого вытекали бы

⁵⁹) M. Merleau-Ponty, *op. cit.*, pp. 165-166.

все виды существования и мышления. (То же сомнение возникает относительно человеческой жизни). Сложные общества представляются нам одновременно и неразделимыми и многообразными: в них ни одна часть не обособлена, ни одна система не составляет однозначно определенного целого.

Как можно превзойти единство взаимозависимости? Одна из гипотез говорит о том, что какой-нибудь сектор реальности или деятельности человека **определяет** другие секторы реальности или другие виды деятельности. Производственные отношения составили бы таким образом основную структуру, от которой зависели бы политические учреждения и идеологии.

Если бы такая теория подразумевала, что экономика **предопределяет** политику и идеологию, не находясь в свою очередь под их влиянием, то с точки зрения критики познания такая теория была бы невыносима. Она была бы, так сказать, противоречивой, во всяком случае, несовместимой с непосредственными наблюдениями. Экономические факторы, как таковые, нельзя изолировать ни материально, ни познавательно. Они охватывают средства производства, следовательно, науку и технику, соотношения продукции, т. е. организацию труда, право собственности, различия между классами (которые зависят также и от количества населения, и от видов иерархии и авторитета власти). Взаимодействие элементов внутри экономического фактора не позволяет допустить, что он может быть определяющим, не будучи в то же время частично определяемым. Взаимная зависимость социальных секторов или человеческих действий очевидна.

Следовательно, различию между базисом и надстройками нельзя придавать философского значения. Где находится точная граница между тем и другим? Можно согласиться с тем, что удобнее принять, при изучении коллективов, за исходную точку организацию работы, а не религиозные верования. Как можно утверждать, а priori или а poste, что человек осмысляет мир в зависимости от стиля своей работы, но что этот стиль работы не отражает в себе свойственного человеку представления о вселенной.

Индивидуум или группа вынуждены бороться с природой и добывать у нее пропитание для того, чтобы не погибнуть. Вот почему экономическая функция получает некоторого рода приоритет. Но так как самые простые коллективы никогда не исполняют эту функцию не организовавшись предварительно соответственно своим верованиям, которые нельзя свести только к работе, то этот приоритет не может быть односторонней причинностью.

Каково **эмпирическое** значение этого приоритета? Каковы черты, общие для коллективов, достигших определенного технико-экономического возраста? Каковы различия между обществами, существовавшими до и после открытия паровой машины, электричества, атомной энергии? Подобные вопросы относятся к социологии, а не к философии.

Можно определить социальные типы и в зависимости от имеющихся средств производства. Специалисты праистории, т. е. доисторических времен, согласны с понятием этого порядка, так как они классифицируют эпохи и группы культур по употреблявшимся орудиям основной деятельности. Что касается сложных обществ, то можно выявить условия, неизбежно зависящие от какого-то определенного со-

стояния техники и таким образом очертить границы, внутри которых происходят политические и идеологические изменения.

К тому же, не было еще доказано, что экономический фактор доминировал во все исторические эпохи. Макс Шелер предполагал, что примат крови, примат силы и примат экономики отмечают три главных периода в истории человечества. Узы крови скрепляли небольшие общины до появления наций и империй. Если предположить, что средства производства более или менее постоянны, то тогда события руководятся прежде всего политикой. Сила возвышает или разрушает государства, она пишет летопись славы и кровопролитий, в которой первые роли играют полководцы. В новое время экономические соображения становятся решающими, потому что постоянно меняющаяся техника стала мерилom богатства индивидуумов и групп.

Такие предположения — это не философские истины, а гипотетические обобщения. Они не противостоят идее, что объем коллективных доходов определяет границу возможных вариаций общественной организации.

Теория действенности различных элементов истории приводит только к довольно расплывчатым и редко доказуемым формулам, которые никогда не могут исчерпать всей сложности отношений.

Нельзя видеть в одном типе отношений причину всех перемен или ответственность за социальную структуру. Никто не может утверждать, что изобретение электрических и электронных машин, или использование атомной энергии не распространит своего влияния даже на высшие формы литературы или живописи. Но также никто не сможет утверждать, что все **существенное** в литературе, живописи или в политических учреждениях **определяется** техникой. Нельзя заранее поставить границ действию какой-либо причины, но не потому, что все в ней сливается, а потому, что общество характеризуется своей литературой в такой же мере, как и своей промышленностью; микрокосмос отражает всю вселенную. Но эти границы будут до тех пор неуловимыми, пока мы пользуемся различными точками зрения, пока человек не определил еще всего себя единым заданием, пока общества еще не распланированы по одному всеохватывающему проекту.

Поэтому историк, в отличие от социолога и философа, ищет единства не в причине, а в своеобразии исторического индивидуума — в эпохе, в нации, в культуре. Каковы исторические индивидуумы? Можно ли найти единство в потоке времени или в оригинальности индивидуума?

Никто не отрицает реальности европейских наций в начале XX века. Но и эта реальность двусмысленна. Однородность языка и культуры Великобритании, Франции или Испании далеко не совершенна. Многие национальности, определяемые языком, образом жизни или культурой не имеют еще в середине XX века собственного государства. В национальных государствах, суверенных по праву, жизнь граждан и решения правительства подвержены влияниям внешних событий. Говоря языком Тойнби, нация не является сверхъестественным полем для изучения. Становление Франции неотделимо от становления Англии или Германии; оно не является выражением одной души или, по крайней мере, эта душа постепенно открывается в диалоге и во взаимном обмене. Что касается исторического единства, то тут можно поста-

вить себе три вопроса, выраженные языком абстракции; они относятся к **независимости, нераздельности и оригинальности** этих единств. Два последних вопроса касаются главным образом единств национального типа; первый вопрос имеет большое значение, когда мы переходим к «сверхвещественным полям» Тойнби.

Оскар Шпенглер отвечает положительно на эти три вопроса. Он говорит, что каждую культуру можно сравнить с организмом, который развивается по своему закону и неизбежно идет к концу, замкнутый сам в себе, неспособный ничего воспринять извне, не изменив своей сущности, так как каждая из его сущностей выражает в многочисленных трудах его душу, несравнимую с другими, неизменную от рождения до смерти. Эти утверждения сильно расходятся с фактами. Сравнение культуры с организмом, это не только неопределенное сопоставление, но и дурная метафизика. Видеть в каждой культуре оригинальность даже в математических науках и полностью не признавать накопления или прогресса знаний, значит не признавать очевидных фактов. Отрицание взаимного влияния культур произвольно, ибо заимствования орудий, идей и учреждений неоспоримы. Буквально понятый главный тезис книги Шпенглера сам себя отрицает: он делает невозможной ту попытку, которая на нем основывается.

Ответы Арнольда Тойнби на эти три вопроса имеют особый оттенок. В начале „Study of History“, цивилизации, в отличие от наций, показаны как «сверхвещественные поля». Но по мере того, как развивается произведение и все больше выявляются контакты между цивилизациями, разница между нациями и цивилизациями выражается скорее в степени развития, чем в их сущности. Внутренняя связанность цивилизаций скорее утверждается, чем доказывается. Тойнби охотно повторяет, что разные элементы цивилизации связаны между собой и что нельзя изменить один из них, не оказав влияния на другие. Но Тойнби показывает скорее их взаимную зависимость, чем гармонию. В каждую эпоху цивилизация сохраняет элементы, заимствованные в прошлом и не отвечающие современному духу. Любая цивилизация принимает учреждения или произведения искусства, созданные другими. Где проходит граница между античной цивилизацией и цивилизацией западного или восточного христианства? Какова связь между христианством и эрой техники?

Для Тойнби трудно вывести внутреннюю связанность цивилизаций, потому что он неясно определяет особенности каждой из них. Действительно, в чем проявляется и что определяет оригинальность цивилизаций? Судя по текстам Тойнби, нужно было бы ответить: религия. В некоторых случаях эта особенная религия не заметна: какие верования окрасили Японию и сделали ее иной, чем Китай? Когда это ясно видно, например, в двух европейских цивилизациях западного и восточного христианства, то Тойнби все-таки не удается показать, как из их единого духа веры образуются различные существенные черты и различные судьбы исторических индивидуумов. Неизвестно, является ли внешний примат религии приматом причинного порядка или он выражает иерархию ценностей, выбранную самим толкователем среди различных человеческих действий. Когда в последнем томе своих произведений Тойнби говорит о возможном слиянии цивилизаций, в далеком

будущем, в одну всемирную церковь, то тут ученик Шпенглера превращается в внучатого племянника Боссю⁶⁰).

Если устранить оба метафизических постулата Шпенглера — органическую метафизику культуры и догматическое отрицание универсализма духа и истины, то на пути к человеческому единению больше не остается препятствий. Автономия развития, внутренняя связность и оригинальность цивилизаций сохраняются намеченными в фактах, но не настолько, чтобы выявить их единое значение. По своей природе, цивилизации не отличаются от других исторических индивидуумов, но они более автономны и, вероятно, менее целостны, чем системы меньших размеров; они нечто большее, чем внеположность, и нечто меньшее, чем целое.

Это определение, выраженное в отрицательной форме, сходится с другим, которое можно было высказать прямо. История похожа на индивидуальное существование: в ней нет ни реального, которое можно было бы наблюдать эмпирически, ни смыслового единства. Действия индивидуумов включены в многочисленные системы. Наши мысли отнюдь не замыкаются сами в себе, они содержат вековое наследство. Наблюдая некоторое существование с его начала и до конца, мы находим в нем все тот же определенный, незаменимый стиль, который легче понять интуитивно, чем определить. Биографии переносят события в личность, намекают на относительное постоянство характера; выражаясь нейтральнее, показывают тип реакции и создают эстетическое впечатление единства, точно так же, как психологи или психоаналитисты показывают двусмысленное единство судьбы, которую каждый постольку же создает, поскольку ей подчиняется. Что мещанин из Экса был также художником Сезанном, это есть факт, установленный опытом; единство человека и художника не иллюзорно, но его почти невозможно объяснить.

Элементы истории коллективов, хотя и в меньшей степени, но все-таки связаны друг с другом, как и эпизоды индивидуальной судьбы. Коллектив можно понять, исходя из его базиса: начав от организации труда и дойдя до системы верований, наш ход мысли может быть и не встретит непреодолимых препятствий, но он не откроет нам необходимую непрерывность последовательности.

Другими словами, единство смысла не понятно без определения ценностей или иерархии человеческих действий. Марксисты, воображающие, что «экономический фактор» дает это единство, путают примат причинности и примат интереса; они тайно обращаются к последнему, когда им указывают границы действия первого. Шпенглер представляет себе это единство значения, но доказывает его только при помощи биологической метафизики. Наконец, Тойнби утверждает, что путем эмпиризма он обретает эквивалент шпенглеровской доктрины: действительно, автономия, связность, оригинальность цивилизаций по мере изысканий понемногу растворяются. Если история, которую он описывает, сохраняет в конце концов какую-то структуру, то это только потому, что философ понемногу занял место историка и что диалек-

⁶⁰) Французский священник, проповедник и писатель (1627-1704), автор «Разсуждений о всемирной истории».

тика империй и церквей, царства земного и царства Божьего, направляет и организует его повествование.

Действительно, по отношению к Богу каждая жизнь имеет единство значения, потому что все, т. е. то, что только имеет значение, играет роль в диалоге творения и Творца, в драме спасения души. Экзистенциальный психоанализ утверждает аналогичное единство в выборе, который каждое сознание делает для себя: это не есть единством одного действия, — у сознания всегда остается свобода начать все сызнова, — это есть единство значения, которое окрашивает все существование; обдуманная наблюдателем по отношению к одному-единственному вопросу, соответствующей в атеистической философии проблеме спасения. Приключения людей во времени будут иметь единый смысл, поскольку весь коллектив ищет спасения.

Логика приводит нас к тому же, что подсказывает нам целый ряд доктрин: философия истории есть секуляризация богословия.

О КОНЦЕ ИСТОРИИ

Наука об обществе начинает с того же, что и философия: подменяет факты необработанные множеством фактов, наблюдаемых непосредственно или в документах, или в каком-нибудь аспекте реальности, определенном проблемой; а эта проблема, в свою очередь, составляет часть какой-либо деятельности; так, экономической деятельностью будет поведение, которое в борьбе с природой пытается дать коллективу средства пропитания и избавить его от нищеты; политической деятельностью — поведение, которое пытается сформировать коллектив, организовать общую жизнь людей, т. е. установить правила сотрудничества и руководства.

Такое различие не реально. Всякая деятельность, которая пытается создать или увеличить доходы группы людей, содержит в себе политику, так как она требует сотрудничества индивидуумов. Точно так же, политический порядок содержит в себе экономический аспект, так как он распределяет блага между членами коллектива соответственно коллективному труду.

Формулы, которые ввела в моду философия истории, — власть человека над природой и примирение людей между собой, — отсылают нас к первичным проблемам экономики и политики. Если определить в экономических и политических терминах выражение «Привилегированное положение, придающее смысл целому», то оно сливается с окончательным решением задачи, то есть с концом истории.

Общества никогда не бывают рациональными в том смысле, в каком бывает рациональной созданная наукой техника. **Культура** придает социальному поведению и учреждениям — семье, работе, распределению власти и привилегий — бесконечно разнообразные формы, отвечающие метафизическим верованиям или обычаям, освященным традицией. В простых обществах различие между родами феноменов вводится философией наблюдателей; но оно потенциально дано, так как семья всегда подчиняется сложным и строгим правилам, ежедневные

привычки никогда не бывают произвольными, иерархия всегда подтверждается миропониманием.

В вопросе нравов различие представляется как результат опыта и трудно себе представить, как тут можно определить **«привилегированное положение»**. Многочисленные формы семьи не отвергают идею естественного права; они заставляют нас применить такую степень абстракции, что эмпирически наблюдаемое разнообразие покажется нормальным. Конец истории таким образом должен бы быть не строго определенным семейным статутом, но разнообразием, не противоречащим, не делимым от сущности человека.

Верования в растения, в животных и в богов, точно так же как и структура семьи и государства, влияют на силы и отношения производства. **Привилегированное положение**, которое обозначало бы конец экономических авантур, должно быть лишено всех «культурных» черт, ничего не могло бы связывать его с определенным коллективом. Точно так же истинная вера, выражаемая в ее историческом проявлении, окрашивается случайными элементами.

В чем же должно состоять это **привилегированное положение** и как оно может отличаться от абстрактных ценностей, осуждающих общественные учреждения, но не представляющих сами по себе определенного типа организации?

Новый факт, который побудил перенять в рациональном понимании богословское понятие конца истории, это технический прогресс. Не все философы описывают, подобно Троцкому, близкое время такого изобилия, что проблема распределения разрешится сама собой: хорошее воспитание и уверенность в завтрашнем дне будут достаточны для того, чтобы ограничить потребности каждого. Но все философы должны воображать, что развитие науки и средств производства изменит одно из существенных жизненных условий: коллективное богатство позволит давать каждому, не отнимая от другого. Бедность большинства не будет условием культурной утонченности немногих. Гуманность в понимании лучших не помешает распространению гуманности на всех.

Изобилие не немислимо и не абсурдно. Экономический прогресс, который мы наблюдаем уже в течение двух или трех веков, измеряется ростом производительности. За час работы рабочий вырабатывает все возрастающее количество ценностей. Этот прогресс более заметен во вторичном секторе (индивидуальном), менее заметен в третичном секторе (транспорт, торговля, обслуживание). В первичном секторе он, по-видимому, замедляется с какого-то момента, если мы согласимся, что закон понижающейся производительности применим к сельскому хозяйству. Следовательно, изобилие требует ограничения количества населения. Возьмем постоянное количество населения и продукцию сельского хозяйства, отвечающую всем требованиям: изобилие значило бы удовлетворение всех требований и к мануфактурной продукции. Многие возражают, что эти требования по своей природе неограничены. Но предположим, что они не правы и что можно достичь насыщения второстепенных нужд. В таком случае понятие желания, неограниченное по своей природе, должно было бы ограничиваться третичным сектором: как могут быть насыщены желания в последнем секторе, если они содержат потребность досуга?

Как бы мы не умножали число гипотез — постоянное население, удовлетворение второстепенных нужд — ни при каких условиях проклятие труда не будет снято. Всегда нужно будет распределять между собой необходимый труд и честно распределять доходы, которые останутся неравными по отношению к предметам роскоши.

Но вернемся на землю. Удовлетворение первичных нужд и значительной части вторичных не было достигнуто ни в каком известном нам из истории обществе. Но эта цель уже не за горами в Соединенных Штатах. Правда, там приходится больше обрабатываемой земли на жителя, чем в любой другой стране: недонаселение облегчает приближение относительного изобилия. Однако американский опыт позволяет определить возможный предел фантазии.

Если не прекратятся изобретения, которые в наше время бывают потрясающими, и если не будет атомных катастроф, то технический прогресс обещает обеспечить приличные жизненные условия для всех, а также возможность для всех участвовать в культуре. Но несмотря на то, что химики будут «делать» пищу, а физики сырье-суррогат, что электронные машины заменят контролеров машин, — за обогащение все же нужно будет платить. Из доходов, реализованных на заводах, следует оплачивать организацию и услуги индустриального общества; тот экономический прогресс, который мы наблюдаем в середине XX века в прогрессивных странах, требует больше служащих, чем рабочих. Но общество, состоящее из служащих, не обязательно должно быть довольным самим собой.

Состояние равновесия, о котором говорят некоторые социологи⁶¹⁾, — это синоним понятия экономического прогресса, как его себе представляют в современном опыте. Равновесие не изменит сущности «экономической проблемы», стоящей перед коллективом: необходимость отнимать у трудящихся некоторую часть их заработка для капиталовложений, необходимость распределять не одинаково интересные и не одинаково оплачиваемые должности, необходимость поддерживать строгую дисциплину и добиваться уважения к бюрократически-технической иерархии. Развивая утопию еще дальше, можно себе представить, что ручной труд не будет обязателен только для известного меньшинства, но что каждый будет проводить часть своего дня или жизни на заводах. Таким образом мы переходим за границы исторического горизонта, но не преступаем границ человеческих возможностей. Даже при этой крайней гипотезе, когда, при «состоянии равновесия», не нужно будет больше увеличивать продукцию, а только поддерживать достигнутый ею уровень, когда некоторые требования, которым подчиняется сегодня экономическая жизнь, были бы смягчены, — даже и тогда ни одно из них не было бы уничтожено.

Но и при режиме абсолютного изобилия «экономическая проблема» не была бы полностью и радикально разрешена. Доходы распределялись бы в деньгах, а не в ценностях, получаемых со склада; оплата учитывала бы нужды, но была бы необходима известная премия за продуктивность; никому не отказывали бы в технико-промышленном образовании, но оставалось бы неравенство между людьми, зависящее от их талантов и места, на которое их поставил бы коллектив.

⁶¹⁾ Жан Фурастье.

Состояние равновесия не было бы радикальным решением «политической проблемы», которая сводится к примирению равенства людей как таковых с неравенством должностей в коллективе. Отсюда следует, что основная задача осталась бы прежней: добиться от подчиненного признания начальства без насилия и без умаления достоинства. Смягчение соперничества за распределение национального дохода между индивидуумами и группами привело бы к тому, что борьба лишилась бы своей свирепости. Однако опыт советует быть осторожным: требования полубогачей часто бывают самыми большими. За роскошь, за власть или за идею борются с такой же страстностью, как и за деньги. Согласовываются интересы, но не философские воззрения.

Если предположить, что жизнь всякого и каждого будет обеспечена, то коллективы не будут больше казаться эксплуатирующими предприятиями, постоянно находящимися под угрозой своих соперников. Неравенства жизненного уровня между нациями, решительный фактор XX века, будут стерты. Но будут ли вырваны пограничные столбы? Будут ли народы чувствовать себя братьями? Вторая гипотеза требует предположить, что человечество не разделено на суверенные нации и что нации стали миролюбивыми, благодаря гибели государств или наступлению всемирной империи. Эта гипотеза не вытекает из первой гипотезы — гипотезы изобилия, будь это изобилие относительно или абсолютно. Ссоры между племенами, нациями и империями были во многих отношениях связаны с ссорами классов, но не были их простым выражением. Расовая ненависть переживет классовые различия. Коллективы будут сталкиваться и в тот день, когда их перестанет привлекать добыча. Стремление к власти так же врождено, как и стремление к богатству.

Можно себе **представить** как «радикальное решение» политической проблемы, так и радикальное решение экономической проблемы. Можно даже найти равноценность в понятиях «состояние равновесия» и «абсолютное изобилие». При политическом состоянии равновесия внутри коллективов все участвовали бы в гражданстве; правители командовали бы, не применяя силы, а подчиненные подчинялись бы, не чувствуя своего унижения. Мир между коллективами сделал бы границы ненужными и гарантировал права человека. Абсолютному изобилию соответствовала бы универсальность государства и однородность граждан, — понятия не противоречивые, но находящиеся за историческим горизонтом. Они подразумевают полную перемену всех данных общественной жизни.

Технический прогресс зависит от развития науки, т. е. от разума, примененного к открытию тайн природы. Он не повлечет за собой известного изобилия, если к нему мысленно не прибавить постоянного числа населения, а это подразумевает власть разума над инстинктом. Он не гарантирует мира ни между индивидуумами, ни между классами, ни между нациями; этот мир немыслим, если не представить себе возможности взаимного признания людей при единстве их сущности и социальном разнообразии; короче говоря, нужно признать власть разума над всяким и каждым, и над соблазном произвести переворот и применить насилие. Человечество на этой земле не сможет примириться само с собой, пока роскошь нескольких будет оскорблять бедность почти всех. Но увеличение доходов и уменьшение неравен-

ства оставляют людей и общества неизменными; первых — непостоянными, а вторых — иерархичными. Победа над природой допускает, но не предопределяет власть разума над страстями.

Определенное таким образом понятие конца истории не совпадает ни с абстрактным идеалом (свобода, равенство), ни с конкретным порядком вещей. Нравы, в широком смысле этого слова, не ставят задач и не содержат решения. Режим, каков бы он не был, всегда будет окрашен историческими обстоятельствами. Колеблясь между абстракциями изолированных и формальных ценностей и частными характеристиками каждого общества, понятие конца истории помогает уточнить условия, при которых возможно было бы одновременно удовлетворить многочисленные требования, которые мы ставим обществу. Конец истории есть идея разума; он характеризует не индивидуального человека, а усилия группы людей в историческом времени. Он является «проектом» человечества, поскольку человечество хочет быть разумным.

ИСТОРИЯ И ФАНАТИЗМ

Следуя по этапам развития толкования истории, мы пришли к понятию конца истории (или доисторического времени); более или менее формальным эквивалентом этого понятия являются такие выражения, как «привилегированное положение, которое осмысляет целое». Предыдущий анализ нам позволил углубить критику, которую мы наметили в предыдущей главе, критику философии людей церкви и людей веры.

Можно себе **представить** радикальное решение вопросов общественной жизни, независимо от того, считаем ли мы это возможным или нет: но всегда останется искушение подменить понятие разрешения противоречий то ли абстрактной формулой (равенство, братство), то ли единичной и прозаической реальностью.

М. Мерло-Понти, как мы видели, поочередно делает эти две ошибки. Предоставленная сама себе идея признания так же пуста, как идея свободы и братства, если только она не требует социальной однородности тех, кто признает друг друга: в таком случае, признание невозможно между солдатами и офицерами, рабочими и менеджерами, и общество как таковое остается бесчеловечным.

Для того, чтобы дать содержание понятию признания, тот же автор прибегает⁶²⁾ к критериям, которые с одной стороны слишком конкретны (народная собственность), с другой — неопределенны (спонтанность масс, интернационализм).

В сталинской философии «привилегированное положение» или «конечное положение» не растворяется в идеале, а опускается до уровня прозаического события. С точки зрения правоверного, как только коммунистическая партия захватила власть, перелом совершился и мы находимся на пути к бесклассовому обществу. Но на самом деле ничего

⁶²⁾ См. Humanisme et Terreur, стр. 145 и послед.

не разрешено: те же самые необходимости накопления, неравного вознаграждения, поощрения усилий и трудовой дисциплины существуют и после революции. Но с точки зрения правоверного, все эти виды рабства индустриальной цивилизации переменили смысл, так как царствует пролетариат и строится социализм.

Спутав идеал или эпизод с целью, одновременно и близкой и священной, люди церкви и люди веры безразлично, с презрением отбрасывают правила мудрости, которые выработали государственные люди для того, чтобы использовать на добро коллектива эгоизм и страсти индивидуумов. Ограничение власти, уравнивание сил, гарантии правосудия, — все дело политической цивилизации, которое медленно строилось в течение веков и еще не было закончено, бросаются ими с равнодушием лунатиков. Они соглашаются на абсолютное государство, которое будто бы находится на службе революции; они не интересуются разнообразием партий, автономией рабочих организаций. Они не возмущаются тем, что их адвокаты осуждают своих клиентов и обвиняемые признаются в мнимых преступлениях. Может быть революционное правосудие ведет к «радикальному решению проблемы сосуществования», в то время как «либеральное правосудие» применяет несправедливые законы?

Кто движется в истории и не знает ее конца, тот останавливается иногда в нерешительности перед желаемым предприятием, цена которого кажется слишком высокой. Люди церкви и люди веры не знают этих сомнений. Высокая цель извиняет ужасные средства. Моралист в отношении настоящего, революционер становится циником в действии: он возмущается полицейским насилием, бесчеловечными темпами производства, строгостью буржуазных трибуналов, казнью подсудимых, вина которых не доказана несомненно. Ничего, кроме полной «гуманности», не успокоит его жажды справедливости. Но если он решится вступить в партию, так же безжалостно относящуюся к существующему порядку, как и он сам, он готов простить во имя революции все, что он неутоимо разоблачал. Революционный миф перебрасывает мост между моральной щепетильностью и террором.

Эта двойная игра в строгость и снисходительность весьма распространена. Идолопоклонство перед историей в наше время оформляется, а возможно и порождается интеллигенцией. Под предлогом постижения смысла истории не замечают порабощения мысли и действия.

Многогранность смыслов, которые мы придаем действиям, показывает не слабость, а границы нашего знания и сложность реального. Изучая мир, двузначный по своему существу, можно прикоснуться к истине. Знание неполно не потому, что мы не обладаем всезнанием, а потому, что в объект знания включено множество значений.

Множественность ценностей, по отношению к которым мы должны судить социальный порядок, не способствует окончательному выбору. Нравы представляют бесконечное разнообразие. Идеалы требуют универсальной действительности. Экономические или политические системы лежат между ними. Они не бывают ни бесконечно разнообразны, как обычаи, ни неподвижны, как принципы человеческого права. Они не допускают согласия с анархическим скептицизмом — все общества одинаково ненавистны и каждый, в конце концов, решает по своему

настроению; они осуждают также утверждение, что кто-то обладает единственной тайной человеческого общества.

Решение «экономической проблемы» и «политической проблемы» можно себе представить, потому что можно уточнить постоянные данные той и другой. Но это постоянство не позволяет нам воображать, что можно внезапно перейти от порядка необходимости к порядку свободы.

Конец истории, согласно религиозному откровению, может произойти при обращении душ или по повелению Бога. Относительное или абсолютное изобилие, примирение между коллективами, добровольное подчинение подчиненных правителям ускользают от определения. Реальности, которые мы наблюдаем, сопоставляются с конечной целью, когда мы измеряем разницу между существующим и тем, что должно быть. Благодаря этому сопоставлению существует возможность разумного выбора, но только при условии, что предмет нашего исторического выбора никогда не будет поглощен идеей конечного решения.

Эта идея выносит приговор циничным и натуралистическим идеологиям, принимающим человека за животное и учащим обращаться с ним, как с таковым. Она позволяет осуждать учреждения, которые сами по себе отрицают человечность людей. Она никогда не позволяет утверждать, каким именно должен быть социальный порядок в определенную эпоху и каковым должно быть в данный момент наше обязательство.

Существенная историчность политического выбора не основана ни на отрицании естественного порядка, ни на противопоставлении фактов и ценностей, ни на отчужденности великих цивилизаций по отношению друг к другу, ни на возможности диалога с тем, кто отказывается от дискуссии. Попробуем признать принцип высшего права в ходе истории; постараемся избежать диалога с собеседником, который жаждет власти и не придает значения своим же противоречиям; не будем признавать особого духа культур, неспособных к общению. И все же политический выбор нельзя будет отделить от частных обстоятельств; иногда он будет благоразумным, но никогда не будет доказуемым; по своей природе он всегда будет отличаться от научных истин и моральных императивов.

Невозможность доказательства происходит из-за неблагодарных законов социальной жизни и из-за множественности ценностей. Нужно требовать больших усилий, чтобы поднять производительность; нужно установить власть, чтобы побудить ссорящихся индивидуумов к сотрудничеству. Эти неизбежные необходимости показывают разницу между историей, которую мы переживаем, и концом истории, который мы себе представляем. Труд и подчинение, как таковые, не противны назначению человека, но они становятся таковыми, когда их порождает насилие. Ни в каком обществе, ни в какую эпоху насилие не было полностью устранено. В этом смысле политика всегда шла путем наименьшего сопротивления и будет поступать так же до тех пор, пока не изменятся люди.

То, что считается оптимизмом, чаще всего оказывается ошибкой разума. Можно разумно предпочитать планификацию торговле; но тот, кто ждет изобилия от планификации, ошибается относительно дейст-

вий чиновников и значения имеющихся ресурсов. Не абсурдно предпочитать авторитет одной партии медлительности парламентских обсуждений; но тот, кто рассчитывает на диктатуру пролетариата во имя осуществления свободы, ошибается в реакции людей и не видит неизбежных последствий концентрации власти в руках нескольких человек. Можно превратить писателей в инженеров человеческих душ и взять художников на службу пропаганды; тот, кто удивляется, что философы в плену у диалектического материализма, а писатели, подчиненные социалистическому реализму не гениальны, тот ошибается относительно сущности творчества. Никогда специфический смысл великих произведений не указывался государственной властью. Почтатели истории умножают разрушения не потому, что они движимы благими или дурными намерениями, но потому, что они одержимы ложными идеями.

Человеческая реальность, находящаяся в становлении, имеет свою структуру: отдельные действия включаются в системы, индивидуумы связаны с режимами, идеи организуются в доктрины. Нельзя придавать поведению или мыслям других людей те значения, которые произвольно выведены из **нашего** понимания событий. Последнее слово никогда не бывает сказано, и нельзя судить противников так, будто наше дело совпадает с конечной истиной.

Истинное знание прошлого вызывает к долгу терпимости; фальшивая философия истории рождает фанатизм.



Что же в конечном счете значит так часто повторяющийся вопрос: имеет ли история смысл? В первом значении на него имеется непосредственный ответ. История понятна, как действия и произведения людей, поскольку в них виден общий образ мыслей и действий.

Во втором значении история многозначна. Событие становится понятным после его перенесения в целое; произведение искусства выводится из творческого вдохновения автора, или из значения его творчества для современника или далекого потомка. Смысл так же множествен, как и направление любознательного внимания, как количество измерений реальности. Вопрос, в сущности, касается частного. Каждый исторический момент имеет **несколько** смыслов, может ли сама история иметь только **один** смысл?

Множественность, которую нужно преодолеть, тройная: множественность цивилизаций, режимов и деятельностей (искусство, наука, религия).

Множественность цивилизаций определится в тот день, когда все люди будут принадлежать к одному гигантскому обществу; множественность режимов в тот день, когда общественный порядок будет организован по «проекту» человечества; множественность деятельности, наконец, в тот день, когда универсально действенная философия определит назначение человека.

Будет в конце концов построено универсальное государство, соответствующее постоянным требованиям людей? Вопрос касается буду-

щих событий и мы не можем догматически ответить ни да, ни нет. Для того, чтобы **политическое** будущее имело **один** смысл, необходимо чтобы у человечества было одно призвание, чтобы общества, чуждые друг другу, не только сменялись, одно за другим, но чтобы они были последовательными этапами единого искания.

Разреши́т ли это универсальное государство тайну истории? Да, разреши́т по мнению тех, кто не видит другой цели, кроме рациональной эксплуатации планеты. Не разреши́т — по мнению тех, кто отказывается смешивать существование в человеческом обществе со спасением души. Каков бы ни был ответ, его формулирует философия, а не знание прошлого.

История в конечном счете имеет тот смысл, который ей приписывает философия, а не знание прошлого; она **воображаемый музей**, если человек, строитель памятников, исчерпывает свои силы на создание неожиданных, высоких форм и образцов; она есть **прогресс**, если только бесконечное исследование природы способно поднять человека над царством животных. Смысл, который философия придает исторической аванюре, определяет структуру становления, но он не определяет будущего.

Философ, а не историк, знает чего ищет человек. Историк, а не философ сообщает нам, что человек нашел и что, быть может, он найдет завтра.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Иллюзия необходимости

«История только тогда приобретает смысл, когда существует нечто вроде логики человеческого сожителства, которая не то что запрещает всякое авантюристическое отклонение, но как бы естественным отбором отмечает те отклонения, которые отвлекают людей от неизменных человеческих требований»⁶³).

Мы до сих пор избегали вопроса о детерминизме или предопределении, который часто путают с вопросом о конечном смысле; если предположить, что нам удалось дать определение понятию «существование соответствующее неизменным требованиям людей», то имеем ли мы право заявлять о неизбежности его?

Можно не впадая в абсурдность признать, что будущее можно предвидеть, что оно заранее определено и несмотря на это утверждать, что оно не соответствует «неизменным требованиям людей». Можно также себе представить, что мы можем знать, каковы должны быть человеческие взаимоотношения; но все-таки мы не можем ни утверждать, ни отрицать, что события сами по себе устранят «приключения, которые нас отвлекают».

Под словом «смысл» подразумевают как **направление**, в котором изменяются общества, так и **привилегированное положение**, являющееся завершением нашего идеала. Секуляризованное богословие истории утверждает согласие между этой эволюцией и нашим идеалом. Оно обязано своим успехом этому утверждению, несмотря на всю его бессмысленность.

Можно ли при помощи наблюдения найти эквивалент хитрости разума, который пользуется человеческими страстями для достижения своих целей? Стремится ли непреодолимый детерминизм интересов или экономических сил к разумному завершению?

РИСКОВАННЫЙ ДЕТЕРМИНИЗМ

Пересмотрим примеры, приведенные нами в предыдущей главе. Цезарь перешел Рубикон, австрийские министры послали ультиматум

⁶³) М. Мерло-Понти, *op. cit.*, стр. 166.

Белграду, Гитлер дал приказ начать операцию «Барбаросса»: каждое из этих действий понятно по отношению к действующему лицу и положению, в котором оно находилось. Ходячее объяснение, как оно представляется нам в рассказе, выявляет причины, поводы и обстоятельства, подсказавшие решение или вынудившие его. Нередко историк склонен говорить о причинах, когда он объясняет событие намерениями ответственного действующего лица или обстоятельствами. Но лучше говорить более понятным языком.

Ничто не запрещает поставить себе другой вопрос. Могло ли решение Цезаря, австрийских министров, Гитлера быть иным, чем оно было? Мы не ставим под вопрос принципа детерминизма. Утверждение, что мировое положение в мгновение А позволяло мгновению Б выразиться иначе, чем оно было выражено, не касается чисто исторической проблемы. Были ли решения Цезаря, австрийских министров, Гитлера зависимыми только от обстоятельств? Если другие люди на их месте поступили бы иначе, не следовало бы из этого, что ход событий мог сложиться иначе? Можно ли доказать, что последствия решений, принятых австрийскими министрами или Гитлером, указаны временем, так что в конечном счете «все возвратится на круги своя»? Если бы война 1914 г. разразилась на пять или десять лет позже, то было бы ее окончание таким же? Восторжествовала ли бы тогда в России революция под руководством Ленина и Троцкого?

Мы формулировали эти замечания в отрицательной форме (нельзя доказать, что...). Ту же мысль можно выразить утвердительно. Всякое событие, вытекаая из действия **одного** человека, выражает как этого человека, так и обстановку. Психология действующего лица отражает полученное им образование, влияние среды; но решение, принятое в известный момент, не является **необходимым** результатом образования или среды. Положение занимаемое этим человеком, или его поведение, отражаются на всем обществе; так серия неопределимых наперед событий, хоть и не детерминированная обстановкой, порождается индивидуальной инициативой.

Политическая история, история войн и государств, не непонятна и не случайна. Битву точно так же легко понять, как и военные учреждения или способы производства. Историки никогда не приписывали только случаю величие и падение народов. Но военные поражения не всегда доказывают вырождение империй: чужеземные завоеватели разрушали иногда и здоровые цивилизации. Между причиной и следствием нет пропорциональности. События открывают нам только случайный детерминизм; но это связано не с недостатками нашего знания, а со структурой человеческого мира.

Каждый раз, когда определяют какое-нибудь действие по отношению к известному положению, необходимо оставлять некоторую зону неопределенности. Если рассматривать большой отрезок времени или целую цивилизацию, то зона неопределенности заключит в себе возможность людей выбирать, желать, создавать. Среда бросает вызов и общества выражают или не выражают силу принять его. Метафизика жизненного порыва индивидуумов или коллективов не поддается выражению в одном понятии или в одном образе. Судьбу общества объясняют индивидуальными добродетелями группы людей. Если мы попытаемся измерить определимость этой судьбы, то мы будем вы-

нуждены спросить себя, какова вероятность того, что способности, необходимые для успешного ответа на вызов, будут проявляться каждый раз в ответ на него. Цивилизацию, рождающуюся из столкновений среды и воли, можно сравнить со счастьем в игре: редки случаи, когда среда дает человеку шанс выигрыша и когда человек может воспользоваться этим шансом.

Роль вероятности в историческом объяснении видна лучше при наблюдении с менее высокого уровня. Отношение Людовика XVI к финансовому кризису и генеральным штатам, отношение Гитлера в 1940 г. к воюющей Великобритании и таинственному и грозному СССР не было заранее определено конъюнктурой. Другой король мог бы сопротивляться, послать свои войска против парижских бунтовщиков; другой полководец поддерживал бы в течение нескольких лет перемирие на востоке, стараясь принудить западные державы к миру. Но ни поведение Людовика XVI, ни поведение Гитлера не непонятны. И то и другое проистекает из образов мышления, свойственных наследнику старой монархии или демагогу, достигшему высшей власти. Никто не может отрицать достаточности того, чтобы какой-нибудь король, случайно награжденный по наследству иным характером, действовал бы иначе, и тогда решения Людовика XVI оказались бы случайными по отношению к событиям. Достаточно, чтобы выработанная Гитлером стратегия исходила из иных расчетов, была бы выработана другим диктатором или даже тем же, но иначе осведомленным и находящимся под другим влиянием, чтобы развитие второй мировой войны оказалось новым, единственным в своем роде, неожиданным.

Человек, которому приходится принимать решение, возложенное на него историей, выражает свое общество или свою эпоху; но политическое или военное счастье этого человека никогда не определялось только одним социальным явлением. Падение монархии, революция открыли безграничные перспективы перед способным офицером незнатного происхождения. Карьера Бонапарта характерна для его времени. Но никто не мог предвидеть, что индивидуум, вознесенный на вершину славы, будет именно Наполеоном Бонапарт. Этот факт зависел от бесчисленных причин, способствующих ему и допускающих его; они подобны бесчисленным причинам, которые заставляют шарик остановиться на том, а не на ином поле. Восшествие Наполеона на престол — выигрыш между другими возможными выигрышами в лотерее революции. То, что Наполеон, будучи властелином Франции, вел политику, выразившую его единственную в своем роде личность, а не склонности, свойственные всем коронованным авантюристам, вызвало тот факт, что многочисленные обстоятельства, способствующие его тщеславию, как бы влекут за собой бесконечные последствия, которые будут сказываться до тех пор, пока Франция и Европа будут сохранять в своих учреждениях отпечаток его гения.

Люди действия любят говорить о своей звезде, как бы чувствуя себя во власти какого-то Провидения, злого духа или таинственной и анонимной силы, называемой случаем. Они чувствуют, что рациональная активность состоит в том, чтобы учитывать шансы.

Полководец, политический деятель, спекулянт, предприниматель редко знают конъюнктуру настолько, чтобы быть в состоянии точно скомбинировать средства для достижения цели. Они рискуют и не

могут не рисковать. Ответ противника никогда нельзя полностью предвидеть в тот момент, когда вырабатывается план битвы; факторы, от которых зависит успех какого-нибудь парламентского маневра, слишком многочисленны, чтобы быть полностью учтены; биржевик не предвидит вмешательства властей или политических событий, которые могут изменить обстановку; предприниматель, намечающий программу капиталовложений, рассчитывает на период расцвета. Сложность человеческих действий — столкновение волей, непонятная сложность конъюнктур, отклоняющиеся от норм явления, причины этих отклонений, — все это признается социологическими теориями. Как же не учитывать их при понимании истории? Когда история обращается к моменту выбора, чтобы учесть возможности, она повторяет рассуждения действующих лиц, она реконструирует события в том виде, в каком они переживались; она исследует не развитие некоей неизбежности, а течение реальности.

Однако, вероятность не становится от этого строго объективной: решения связываются с положениями, из которых они вытекали, великие люди «выражают» свою среду, серии событий никогда не бывают в корне различны. Человеческий ум не может разобраться в обстановке или исчерпать перечисление причин. Но ретроспективные расчеты вероятности отвечают проспективным расчетам действующих лиц. Исторический мир сам намечает разграничения между сериями событий, различие между главными данными (число населения, средства производства, оппозиции классов) и личной инициативой, между развитием необходимости и узлами событий, когда рок задумывается, — как над великими датами, отмечающими конец или начало какой-нибудь эры, над несчастными случаями, поворачивающими судьбу какой-нибудь цивилизации. Структура истории так похожа на структуру случайности, что к ней можно применять тот же способ мышления.

Эти формальные замечания не имеют целью расширение роли великих людей или значения непредвидимых случаев. Догматическое отрицание этой роли или этого значения нелепо: в каждом случае следует спрашивать себя, в какой мере человек, избранный политической лотереей, наложил свою печать на течение своей эпохи; завершило ли поражение развал какого-нибудь государства или вызвало этот развал; отразило ли или исказило какое-нибудь событие соотношение сил или движение идей. Ответ никогда не будет значить белое или черное — необходимость или случай: дело героя было подготовлено историей, даже если бы другой придал этому делу иные черты.

Историки склонны либо ограничивать, либо преувеличивать значение непредвиденных обстоятельств или случайных фактов. Эту склонность нельзя считать философией. Она выражает или предрассудок, или направление любопытства. Нельзя с философской точки зрения разрешить проблему, разрешаемую опытом и не имеющую универсально действительного значения. Почему область творчества или действия, предоставляемая индивидуумам или случаю, должна быть во все времена и во всех областях одинаково обширной или одинаково ограниченной?

События не становятся понятнее от того, что их связывают с намерениями или чувствами небольшого числа людей или даже одного че-

ловека. От того, что мы припишем победу большей дальностью пушек или гению генерала, объяснения эти не становятся ни более приемлемы, ни менее приемлемы для разума. Может быть, как утверждают некоторые военные писатели, вооружение и организация сражающихся имеют 90% значения, а остальное, — моральные качества войска и талант стратега — 10%. Этот вопрос касается фактов, а не доктрины.

Обычно бояться, что вмешательство мелких фактов — личных инициатив, столкновений серий событий — могут помешать пониманию целого. Это опасение необоснованно. Если бы мелкие факты оказались иными, чем они были на самом деле, то это не помешало бы пониманию целого. Можно было бы понять победы Наполеона «если бы он был Груши»; можно было бы понять индустриализацию при помощи иностранного капитала при царском режиме, который постепенно становился бы все более и более либеральным и опирался бы на класс крестьян-собственников, если бы не разразилась война 1914 г. или если бы была уничтожена партия большевиков. Какова бы ни была вероятность, придаваемая ретроспективно этим гипотезам, — строго говоря, какова бы ни была значительность данных, которые нужно мысленно изменить, чтобы сделать возможными несовершившиеся события, — история остается понятной. Победа Ленина была, быть может, неизбежным исходом гражданской войны после падения царизма и продолжения войны временным правительством. Победа большевиков, неизбежная в данной обстановке, возможно не принесла того, что ожидал русский народ, что позволило бы построить современную экономику с наименьшими жертвами.

Историк, вновь описывающий какое-нибудь приключение — карьеру Наполеона между 1798 и 1815 г. г., карьеру Гитлера между 1933 и 1945 г. г., — делает понятным целое. Он не утверждает, что в каждое мгновение царил полный детерминизм. Он склонен искать глубокие причины того, что в конце концов произошло. Попытка Наполеона создать империю не удалась, потому что французская база была слишком ограничена; потому что средства сообщения и управления не соответствовали такому предприятию; потому что французская армия возбуждала против себя патриотизм народов, благодаря контрасту между проповедуемыми ею идеями и тем порядком, который она навязывала. Предприятие Гитлера было обречено, так как оно вызывало коалицию между Советским Союзом и англо-саксонскими странами. Такие объяснения годны, так как они отмечают причины, делающие вероятным конечный провал, но не определяют заранее ни детали, ни длительность приключения и не исключают непредвидимых случаев. Распад англо-австро-русского союза спас бы Наполеона в 1813 г.; разрыв между Советским Союзом и англо-саксами спас бы гитлеровскую Германию, как Фридрих II был спасен распадом австро-русского союза. (По многим причинам эти возможности были невероятны в 1813 и 1944 г. г.). Неизвестное оружие, применение атомной бомбы могли бы изменить судьбу (но тут, по другим причинам, возможность была маловероятной).

Связь главенствующих фактов, выявляющаяся на определенном уровне над хаосом событий и индивидуумов, не исключает роли личностей или случайных совпадений. Разумная реконструкция прошло-

го касается реального, она принципиально не учитывает возможности и не ставит вопроса о необходимости. Если поставить вопрос причинности, ответ будет всегда одинаковый: когда даны некоторые обстоятельства, имевшее место последствие должно было произойти с более или менее большой вероятностью. (Если в рулетке одно из полей будет значительно шире других, оно будет выходить чаще).

Детерминистическое толкование и взгляд на случайность в истории не противоречивы, они скорее дополняют один другого. Частичная правда одного становится явной только тогда, когда отдают справедливость другому. Почему бы историк стал отрицать задним числом подлинность переживаемых нами драм? Человек в ходе истории не задумывается, является ли он рабом своей наследственности или образования, а над тем, оставит ли он после себя какой-нибудь след на этой земле. Почему историк должен вообразить задним числом некую фатальность, которой не знают живые?

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ПРЕДВИДЕНИЕ

Исторические события можно предвидеть как раз настолько, насколько они причинно объяснимы. Будущее и прошлое однородны: научные предположения не меняют своего характера и зависимости от того, применяются ли они к тому или другому. Почему многие историки склонны считать прошлое фатальным, а будущее неопределенным?

Чаще всего бывает невозможно предвидеть решение, которое индивидуум выберет среди нескольких возможностей; но можно растолковать принятое им решение, относя его к обстоятельствам, к проектам действующего лица, к требованиям политики или стратегии. Ретроспективное толкование формулирует утвердительно: «Это произошло так-то...» или в виде гипотезы: «Такой-то мотив был основой для последовавшего». Такое толкование истории не позволяет знать то, что произойдет завтра; для этого оно должно быть достаточно абстрактно и поэтому применимо к другим обстоятельствам; если бы действие было результатом постоянной склонности индивидуума или группы, если бы оно было навязано обстоятельствами, то предвидение стало бы возможным, потому что тогда толкование заключало бы в себе причинную связь.

Когда появляется эта связь, то вводится однородность прошлого и будущего, хотя и часто скрытая под употребляемым языком. Так как исход события известен, то его смело выдают за результат одной причины, забывая, что результат и причина происходят из отбора и отсеивания. На возможные факторы отклонений не обращают внимания и выдают за необходимую последовательность то, что было верным только при тех же данных. Начиная с 1942 или 1943 г. предвидели поражение Гитлера, точно так же, как оглядываясь назад, замечают детерминизм: основные данные позволяли предвидеть разрешение конфликта, ибо, по всей вероятности, оно было необходимым. Нужна была бы какая-нибудь случайность — новое оружие, распад великого со-

юза, — чтобы война приняла иной поворот. Глядя в будущее, нельзя исключать таких переворотов.

Никому никогда не удастся предвидеть момент начала и развитие какой-нибудь определенной войны. Возможно, что уже в 1905 или в 1910 г. г. проникательные люди замечали назревание кризиса, из которого возникла европейская война. Они не могли бы сказать, в какое время и при каких обстоятельствах она разразится. Основные данные в 1914 году не заключали в себе неизбежности взрыва; поэтому стоит поинтересоваться людьми, которые в августе 1914 г. подготовили это событие; оно не определялось соотношением сил в европейском концерте, как в годы предшествовавшие событию, так и в последовавшие, если бы его удалось избежать в августе 1914 года.

За этим неопределенным предвиденьем, или определенным непредвиденьем, быть может, возможно увидеть причины, которые делают неизбежными вооруженные конфликты между суверенными государствами, возникающие через неравные промежутки времени. В данный момент нельзя ни утверждать, ни отрицать возможности такой теории. Война кажется связанной с слишком большим числом социальных феноменов, и вряд ли возможно перечислить все те, от которых она зависит. Как целое, она отражает природу международных взаимоотношений. Нужно было бы, вероятно, изменить их сущность, чтобы исключить риск войны.

Факторы населения — рождаемость, смертность, возрастное отношение — можно предвидеть: определяющие переменные немногочисленны, медленно меняются и не затрагиваются внешними влияниями. Нетрудно подсчитать отношение возрастных групп, которое наступит через десять или двадцать лет: формула «при тех же данных» отодвигает возможность военных катастроф, эпидемий, голода, т. е. внезапной перемены «жизненной надежды». Демографические предвидения на двадцать или пятьдесят лет вперед более неопределенны, потому что эволюция не всегда продолжается в том же направлении. За понижением рождаемости — как это имело место во Франции — может последовать внезапное повышение.

Чаще всего пытаются предвидеть в экономическом секторе, хотя еще ни один метод не признан удовлетворительным и не показал неоспоримых результатов. Предвидение на очень короткий срок, в национальных рамках, подразумевает знание главных переменных и условий обмена внутри системы. Это предвидение редко приводит к серьезным ошибкам, потому что тенденции, за исключением особых обстоятельств, не меняются резко. Предвидение достигает полной точности только тогда, когда станут известны бесчисленные пути, по которым проходят продукты, и будут определены переменные, могущие повлиять на движение всей системы. Но при всех случаях оно будет неопределенным: по гипотезе, оно не учитывает пертурбаций, возникающих от внешних влияний; поведение людей, в частности, поведение предпринимателей, зависит от таких коллективных и непредвидимых движений, как доверие или недоверие.

Логика тоже не всегда применима для предвидения конъюнктуры. В 1953 г. специалисты не соглашались между собой относительно развития американского кризиса и даже вызвавших его обстоятельств.

Спорят о природе и значительности какой-нибудь теории конъюнктуры: если признать основной причиной кризисов неустойчивость цветущей экономики, то это еще не доказывает, что переменная, вызывающая новую тенденцию, бывает всегда одной и той же или что к ней применим математический метод. Механизм снежного кома хорошо известен (автоматическое увеличение экспансии и кризиса) и, может быть, зависит от психологии потребителей, предпринимателей, министров, которых постепенно захватывает ограниченный по началу кризис. У каждого кризиса есть своя история. Взаимная солидарность между всеми переменными экономической системы позволяет выработать теорию, но последняя не столько открывает закономерность, сколько возможную связь, в которой определяется реализующееся событие.

Проверенные или оспариваемые предвидения на короткий или средний срок не вызывают принципиальных вопросов. Скептицизм политиков так же сомнителен, как и уверенность специалистов. По опыту можно определить границы точности и вероятности предсказаний, но эти границы меняются в зависимости от режимов.

Эти элементарные замечания приводят нас к интересующему нас вопросу: можно ли предвидеть эволюцию экономических режимов, т. е. переход от одного режима к другому? Можно ли доказать, что капитализм уничтожает сам себя, что социализм неизбежно заменит капитализм, хотя нам и не известно, когда и как?

Невозможность предвидеть американскую конъюнктуру за шесть месяцев вперед не подразумевает невозможности предвидеть исторического будущего в более удаленную эпоху. В зависимости от уровня, события кажутся то предопределенными исчислимым количеством причин, то находящимися под неисчислимыми влияниями. Может быть, расчет американского национального дохода на двадцать лет вперед представляет меньше риска, чем расчет коэффициента продукции через двадцать месяцев (хотя предвидение на двадцать лет подразумевает, что не произойдет никаких пертурбаций; военное или революционное время ставит все расчеты под сомнение). Остается установить, относятся ли внутренние перемены или гибель какого-нибудь режима к фактам, которые можно предвидеть, т. е. определяются ли они немногочисленными причинами, ведущими к определенным следствиям.

Предположим, что некоторый режим, движимый стремлением к наживе и желаниями миллионов потребителей, непостоянен, однако он существует и живет. Для того, чтобы доказать его самоуничтожение, нужно сначала уточнить обстоятельства, при которых он оказался бы парализованным, затем доказать, что эти обстоятельства обязательно вытекают из действий режима. Так называемый закон намеренного понижения процента дохода представляет собой подобную попытку, но в наше время он является всего лишь курьезом. Дело в том, что этот закон предполагает, что доход происходит только от прибавочной стоимости, иначе говоря, от части цены, соответствующей стоимости рабочих рук. Нужно признать закон трудовой ценности, марксистское понимание заработной платы и прибавочной стоимости, согласиться с утверждением, что процент дохода уменьшается, когда уменьшается переменная часть капитала. Образование среднего процента дохода не позво-

ляет признать, что замена рабочего машиной ограничивает возможности роста дохода. Необходимость принятия такого числа гипотез для того, чтобы примирить теорию с опытом, вынуждает отказаться от этой теории.

Закон намеренного понижения процента дохода не позволяет утверждать, что капитализм неизбежно самоуничтожается. Действительно, различные влияния замедляют понижение процента дохода (например, понижение цен на товары, необходимые для содержания рабочего и его семьи). В рамках, намеченных «Капиталом», масса прибавочной стоимости увеличивается с количеством рабочих. Но нам неизвестно, с какой скоростью уменьшается процент дохода и каков минимальный процент, необходимый для жизненности режима.

Но если и не существует теории о неизбежной смерти капитализма, то это еще не доказывает его жизненности. Теория обычно сводится к упрощенной форме. Примеры вечной гармонии строятся безо всякого труда (либералы строили их без конца). Пессимисты неохотно строят модели, подтверждающие их мрачные предвидения: если бы капитализм по существу определялся моделью, он никогда бы не существовал. Пессимисты не теоретики, а историки; они видят перед собой неизбежное падение.

Так экономисты, говорящие о зрелости, полагают, что развитие американской экономики создало положение, при котором полная нагрузка стала если не невозможной, то, по крайней мере, затруднительной. Маркс полагал, что погоня за наживой, — душа и принцип системы, — исчерпает источник наживы. Некоторые экономисты, наблюдавшие исчезновение границ, замедление прироста населения, уменьшение количества доходных капиталовложений по мере прогресса технического оборудования, испугались, что соотношение между пределом выгоды капиталовложений и процентами на капитал приведет к постоянной безработице какой-то части пролетариата.

Двадцать лет тому назад была в моде доктрина зрелости — современная версия самоуничтожения капитализма. Сейчас она из моды вышла: экспансия американской экономики вызывает оптимизм. Можно себе представить, что в известный момент какой-либо торговый режим затормозится ограничением числа доходных капиталовложений. Возможности инвестиций, которые создает технический прогресс, менее часты, ими труднее воспользоваться, чем типичными возможностями начальных фаз индустриализации, когда строились шоссейные дороги, железные дороги и автомобильные заводы. Даже при этой гипотезе экономисты, не претендующие быть пророками, не делают заключения о наступлении апокалиптического крушения капитализма или о неизбежности всеобщей планификации, — они лишь говорят о необходимости вмешательства властей (понижение процентов с капитала, государственные капиталовложения)⁶⁴.

⁶⁴) Я лично считаю противоположную гипотезу более вероятной. За отсутствием прогресса в третичном секторе, более или менее большое затруднение в зависимости от фазисов, мне кажется, относится к перемещению средств производства и, в частности, рабочих рук. Нет решительной причины для того, чтобы функция системы в какой-то момент стала невозможной. Возможности капиталовложений во вторичном секторе не исчезают, достигая определенного развития.

Не говорит ли наш опыт о том, что механизм рынка вытесняется планификацией по мере того, как стареет капитализм? Русская экономика, выраженная поголовным доходом или капиталом на рабочего или распределением рабочих рук между тремя секторами, приблизительно на полвека моложе, чем американская, и несмотря на это она подчинена центральному плану, в то время как последняя не подчинена ему. Распределение режимов в XX веке является фактом историческим, а не зависимым от экономической зры⁶⁵).

Развиваются ли по мере созревания экономических систем, остающихся в большинстве капиталистическими по своей сущности, их функции социалистического характера? Аргументов в пользу этого тезиса много: государство становится ответственным за благосостояние и полную нагрузку; принудительная бережливость (излишки бюджета или самофинансирование) заменяет индивидуальное и непосредственное накопление; все чаще вводятся установленные, контролируемые или гарантированные государством цены и т. д. Несомненно, что вмешательство государства развилось в XX веке во всех капиталистических странах, но все же роль государства не пропорциональна экономическому возрасту страны. Национализации не являются адекватным последствием технико-экономического развития, они обуславливаются политикой и демократическими учреждениями. Социализация экономики в каждой нации имела свою историю, движимую несколькими общими факторами, среди которых всеобщее голосование имело такое же значение, как и рост производства и накопление капитала, сконцентрированного в больших предприятиях.

Но и связь между технико-экономическим развитием и видом собственности тоже не заметна. Ничто не позволяет утверждать, что огромные предприятия должны стать народным достоянием, — если только не согласиться считать таковым статут Джеренал Моторс. (Быть может, это было бы наиболее соответствующее толкование глубокой мысли Маркса социолога, а не Маркса пророка: появление первых акционерных обществ внушило автору «Капитала» заметки о новом капитализме). Капитализм князей промышленности, характерный для текстильных заводов первой половины XIX века и сталелитейных во второй половине, не был уничтожен, — он был вытеснен другими формами, которые кажутся социально-коллективными. Политика, а не техника определила национализацию электрической или газовой сети Франции.

Другими словами, если предвидение самоуничтожения капитализма толкуется в строгом смысле, то оно не подтверждается событиями. Если же оно толкуется в широком смысле и подразумевает только постепенную «социализацию» (все увеличивающееся вмешательство государства, создание не-частных предприятий, даже если они и не государственные), то в этом случае оно хотя и правильно, но не дает нового объяснения современным конфликтам.

Было бы неправильным полностью принимать это последнее толкование, признать что эволюция идет только в одном направлении. Кон-

⁶⁵) Даже противоположное Марксу утверждение — центральная планификация является необходимостью первичной индустриализации — не может быть универсально верным.

центрация не есть простой феномен, который безжалостно подхлестывают технические требования или виды конкуренции. Расширение промышленных единиц в некоторых секторах происходит как результат производства; в других секторах движение направлено скорее в противоположном направлении. Что электроэнергия дает возможность рассеяния капитала, уже давно известно. Что же касается финансовых концентраций в больших корпорациях, то они как будто выражают скорее стремление к силе, чем заботы о доходности. В одних случаях они это делают, защищаясь от конкуренции, в других — по решению плановиков.

Нам скажут, что мы не приняли во внимание центрального аргумента — «противоречий капитализма». То противоречие, о котором говорят чаще всего, противопоставляет производственные силы — отношениям. Что нужно понимать под производственными силами? Системе ресурсов, находящихся в распоряжении какого-нибудь коллектива, научные знания, организационную способность, количество рабочих рук? В этих случаях развитие производственных сил может обозначать несколько феноменов: увеличение количества сырья и числа рабочих; развитие продуктивности, благодаря прогрессу знаний или применению науки в промышленности; увеличение дохода, благодаря открытию ископаемых или повышению производительности. Производственные отношения, по-видимому, охватывают одновременно законодательство, касающееся промышленности; взаимоотношения между участвующими в производстве продукции; распределение доходов и происходящие отсюда столкновения классов. Что же значит противоречие между этими двумя двусмысленными понятиями?

Первая интерпретация может утверждать, что законодательство, устанавливающее вид собственности, с момента определенного уровня достигнутого техническим развитием, тормозит прогресс. Она опровергается фактами: капиталистическое законодательство достаточно гибко, чтобы допустить огромные концентрации промышленности или финансов. Законодательство могло иногда покровительствовать отсталым предприятиям в ущерб более действенным формам. Но законодательство не неизменно: оно нигде не обрекает капитализм на смерть.

Следует ли под производственными отношениями понимать не столько некие юридические отношения, сколько распределение доходов, происходящее от отделения пролетариев от орудий их производства? Говорят грубо: организация продукции коллективна, распределение доходов индивидуально. Но и тут противоречие только на словах.

Переведенное на простой язык, оно приравнивается к одной из известных экономистам теорий — к теории недоедания. В поисках наживы предприниматели уменьшают плату рабочим и за отсутствием сбыта накапливают средства производства в ущерб потреблению продуктов питания и жизненному уровню масс⁶⁶⁾. В историческом развитии, неравное распределение доходов в таких странах могло создать излишнее накопление денег, вложение их за границей, и косвенно затормозить производственные силы. В данное время так называемые капиталистические режимы знают, как при помощи налоговой системы изменить само-

⁶⁶⁾ Это опасение больше подходит к советскому социализму, чем к западному капитализму.

тек в распределении доходов. Реальные заработки уже долгое время изменяются только параллельно с продуктивностью труда. Не видно ни малейшего повода для того, чтобы увеличилось напряжение между индустриальной системой и распределением доходов.

Мы отнюдь не хотим подсказывать оптимистического взгляда на капитализм, мирно эволюционирующий к высокому уровню всеобщего благосостояния. Режим частной собственности и свободного рынка непостоянен по своей сущности; он содержит опасность депрессий, и реакции на кризис вызывают часто необратимые структурные перемены. Технический прогресс неизбежно меняет размеры и организацию предприятий и одновременно некоторые результаты их деятельности. Зрелый капитализм вызывает появление не толпы нищих, которым нечего терять кроме своих цепей, а толпы мещан, — рабочих или чиновников, которые часто восстают против стоимости свободного соревнования. Мы не исключаем возможности, что развитие приближается к менее капиталистической экономике; мы лишь утверждаем, что это развитие не подчиняется непоколебимому детерминизму, вытекающему из противоречий между несколькими основными переменными. Даже в крупных чертах это становление является сложной историей, а не простой необходимостью. Не только нельзя говорить о противоречиях капитализма, чтобы вывести неизбежность победы одной партии над многими, называющими себя социалистическими, — нельзя и предвидеть появления любого социализма (в широком смысле этого слова).

Нельзя сказать, с чем более совместимы черты будущего режима, которые можно предвидеть, — с так называемыми капиталистическими режимами, или с так называемыми социалистическими.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДВИДЕНИЯ

«Противоречия» между капиталистическими государствами и противоречия между капиталистическими государствами и колониальными странами несомненны, если заменить ложно-научный термин «противоречия» нейтральным термином «конфликты». Можно ли из этого заключить, что войны между капиталистическими государствами неизбежны?

В некотором смысле ответ ясен: ни один век не избежал бича войны. Если отбросить прилагательное «капиталистический» и утверждать, что «войны между государствами неизбежны», то особого риска ошибиться не будет. Ближайшее будущее не обещает быть более мирным, чем прошлое. Ошибка начинается с подчеркивания капиталистического характера государства, как будто он создает фатальность кровавых столкновений.

Это не значит, что поиски сбыта, наживы, выгодных капиталовложений не могут восстанавить большие компании или нации друг против друга. Свобода торговли подразумевает конкуренцию, а последняя является своего рода конфликтом; но этот конфликт разрешается скорее компромиссом, чем оружием. Конфликты становятся опасными для мира с того момента, когда государства берут на себя защиту интересов частных обществ или оставляют за собой монополию в колониях или

зонах влияния. Кто применяет силу для того, чтобы исключить другие страны из законного соревнования, тот действительно виновен в агрессии. Крайние виды такой агрессии начинают исчезать — хотя в Африке большие города при помощи разных административных трюков гарантируют себе незаконные выгоды. Никогда жизнь или смерть капиталистических экономик не зависела от этих краевых трений; солидарность всегда (эти экономики были наилучшими клиентами друг друга) должна была бы мудро пересилить соперничество. В остальном всякий режим, включая и режим коллективной собственности и плановости, вызывает возможности конфликтов между суверенными политическими единицами: советские манипуляции с условиями обмена показались югославам «социалистической эксплуатацией». Сильнейший всегда будет иметь многочисленные возможности влияния на цены в свою пользу и оставлять за собой свои промыслы, независимо от того, будет ли мир капиталистическим или социалистическим. Ни один экономический режим не гарантирует мира, но и не делает войну неизбежной.

Противоречие между капиталистическими странами и странами Азии или Африки имеет исторический характер. Европейские империи в Азии распались, в Африке они потрясены, время европейского превосходства кончается. Следует ли из этого неизбежная смерть капитализма?

В толковании истории, которое нравится марксистам сталинского толка, капитализм уже больше не определяется как режим частной собственности на орудия производства или режим свободного рынка; он определяется как экономическая система государств, хозяйство которых имеет определенные общие черты; как система, охватывающая западную Европу, Соединенные Штаты, Канаду и белые британские доминионы. Южная Америка и недавно освобожденные азиатские страны, с этой точки зрения, подчинены или пережиткам феодализма, или являются жертвами империализма (даже если они формально суверенны), или уже стали капиталистическими. Вследствие первой мировой войны, Россия перешла в социалистический лагерь; вследствие второй мировой войны, к ней присоединились Восточная Европа и Китай. Этот лагерь теперь насчитывает восемьсот миллионов людей. В Азии, на Ближнем Востоке восстание против империализма распространяется все дальше и к нему присоединяются местные буржуазии. Лишенный колониальной «наживы» капитализм приговорен к медленной смерти, если его сосуществование будет длиться достаточно долго, и к смерти трагической, если разразится третья мировая война.

Относительно главных черт данного положения не возникает возражений между сталинцами и их противниками, но те и другие не пользуются одним и тем же словарем и не видят будущее под одним и тем же углом.

Если отказаться верить любым словам, то можно заметить различие между распадом всей исторической системы, абсолютная или относительная сила которой уменьшается, и распадом режима, более или менее несовершенно реализованного в этой системе. Никогда жизненный уровень рабочего класса не был так высок, как в «распадающейся» Великобритании. Несмотря на две мировых войны, Западная Евро-

па больше чем когда бы то ни было приближается к своим экономическим целям⁶⁷⁾.

Чтобы из конца европейского колониального владычества заключить о кризисе капитализма как экономического режима, надо спутать капитализм с империализмом, утверждать, что режим основаный на частной собственности и механизме торговли **не может** функционировать, если он не имеет в своем распоряжении заморских территорий для эксплуатации. С потерей своих колоний буржуазная Европа потеряла свои средства на жизнь. Но никто еще не представил доказательств к этому. Индонезия давала очень значительную часть в национальный доход Голландии (более 15%): Индонезия стала независимой, а Голландия продолжает процветать. Британский рабочий класс пользуется гораздо более высоким жизненным уровнем, чем до войны, однако Индийской империи больше не существует.

Эти замечания не претендуют на решение спорных вопросов. Эксплуатация Азии в прошлом веке помогла индустриализации Европы (только размер этой помощи не определен). Существование международной системы, основанной на частной торговле, вызывает все новые трудности, по мере того, как возрастает пространство, не входящее в мировую экономику. Возобновление обменов между Востоком и Западом не уничтожит результатов разрыва: чем больше какая-нибудь сторона будет зависеть от сбыта по ту сторону железного занавеса, тем более она будет уязвима для действий Москвы или любой другой столицы народных демократий, руководимых политическими целями. Для того, чтобы с уверенностью можно было говорить об уничтожении капиталистических обществ или об их обращении к социализму, нужно было бы доказать, что из современного положения возможны только два выхода: победа социалистического лагеря или обращение капиталистического лагеря к социализму.

Недостаток пищи или сырья был бы смертельным для капиталистических обществ. Может быть Европе, в этом и в будущем веке, придется дороже платить за сырье, купленное у независимых стран, а не у колоний (хотя снижение «процента обмена» только частично объясняется освобождением Африки и Азии). Ни Европа, ни а fortiori Соединенные Штаты не собираются погибнуть оттого, что советское правительство им может отказать в сырье. В том случае, если коммунистическая экспансия будет продолжаться, если зона мировой экономики еще более сузится, если угроза мировой войны обострится, — то можно будет предположить, что западные правительства окажутся вынужденными урезать сектор предоставленный частной инициативе, особенно в области международных экономических отношений. Но все же эта эволюция не неизбежна: в 1954 г., быть может, временно эволюция внутри западных стран и в их отношениях между собой идет в направлении ослабления управленческих методов.

С точки зрения сталинцев, историческая система, которую они называют капиталистической, характеризуется частной собственностью на орудия производства и механизмом торговли. Западные люди видят

⁶⁷⁾ Можно было бы возразить, что европейский капитализм глубоко изменился, что неоспоримо. Но эта способность меняться является симптомом жизнеспособности.

особый характер своей цивилизации в множественности партий, в представительственных учреждениях, в диалоге групп при обсуждении идей, а не в статуте собственности в его различных формах, и не в механизме торговли, то есть в простой технике, то полезной, то опасной, в зависимости от обстоятельств. Если обстоятельства вынудят ограничение части этой техники и расширение роли администрации, то этим возмутятся только экономисты, считающие экономику, соответствующую формам совершенной конкуренции, высшей ценностью Запада и видящие тень Гестапо за податным инспектором или за распределителем продуктов производства.

Исторические обстоятельства несут опасность для так называемых капиталистических обществ: достаточно взглянуть на карту, чтобы в этом убедиться. Русская армия стоит в Веймаре; Китай присоединился к великому крестовому походу «пролетариата»; дальнейшее продвижение коммунизма в Азии весьма вероятно. Восстание против Запада, против более богатых народов, когда-то бывших тираническими, склоняет к коммунизму не столько из симпатии к этому мало известному режиму, сколько для сплочения против общего врага. Никто не может сказать, когда остановится распространение верования, которому служат фанатики и которое опирается на огромные армии. Предвидение, выраженное подобным образом, звучит правдоподобно, но не имеет научной ценности. Подобное же суждение высказывали относительно шансов III Рейха и его противников. В 1954 г. предвидение еще более неопределенно, чем в 1942 или даже в 1940 г. г. Соперничество двух блоков может продолжаться в течение многих лет, многих десятков лет, и не вызвать третьей мировой войны в условном смысле этого слова. Точно также нельзя считать неизбежной тотальную войну между обоими лагерями, как и тотальную войну между капиталистическими государствами. Это, быть может, предел нашего знания, но он зависит от самой структуры исторической реальности.

Что может значить логически утверждение, что третья мировая война разразится в течение ближайших десяти или двадцати лет? Что некоторые главенствующие факты — противоположные интересы Советского Союза и Соединенных Штатов, характер правящих классов здесь и там, соперничество экономических режимов и т. д., — каковы бы ни были стоящие у власти люди, непредвидимые инциденты, хорошие или плохие случайности, — несомненно вызовут войну. Ничто не доказывает, что такова структура современного положения вещей. Возможно, что шансы приблизительно равны.

Если представить себе мысленно тотальную третью мировую войну или продолжение холодной войны, мы все же не можем себе представить победителя. Было бы смешным пытаться доказывать при помощи более высокого потенциала американской промышленности **необходимость** западной победы; не менее смешным было бы обосновывать более быстрой экспансией советской экономики **необходимость** коммунистической победы. Если конфликт из-за владения планетой будет решаться насильственным путем, то столько непредвиденных обстоятельств будут иметь значение (чья будет инициатива, у кого будут лучшие самолеты или управляемое на расстоянии оружие?), что никто, кроме специалистов гаданья на кофейной гуще, не будет претендовать на разгадку будущего. Если конфликт и разрешится со вре-

менем, и то, быть может, он никогда не разрешится окончательно, так как из мелких столкновений и изменений обоих миров постепенно возникнет новое равновесие; но и в таком случае исход для нас тоже будет неизвестен: у каждого мира есть свои слабости и он их знает лучше, чем чужие. Один из недостатков Запада состоит в том, что Запад до некоторой степени доверяет предсказанию неизбежного воцарения социализма и оставляет врагу уверенность, что судьба на его стороне.

Историческая судьба, оставшаяся позади нас, есть лишь неизменная кристаллизация наших действий; перед нами она никогда не определена. Это не значит, что нам дана полная свобода: наследство прошлого, человеческие страсти и рабство коллективного сознания ограничивают ее. Ограничение нашей свободы не принуждает нас заранее преклониться перед ненавистным порядком. Нет всеобщей фатальности. Трансцендентность будущего является для человека во времени призывом желать и гарантией, что надежда ни в коем случае не угаснет.

О ДИАЛЕКТИКЕ

Термин «диалектика» двусмыслен, полон таинственных звуков. Примененный к становлению в целом, он получает два значения. Под диалектикой понимают то историческую связь причин и следствий, приводящую в конце концов, благодаря их взаимодействию, к какой-то системе, не похожей на предыдущую; то этим словом обозначают последовательность совокупностей, значительных самих по себе, причем переход от одной совокупности к другой соответствует разумной необходимости.

Первое понимание термина есть возвращение к марксистским темам. Развитие сил производства должно сопровождаться концентрацией экономической мощи, что влечет за собой все большее обнищание пролетариата, который объединится в партию, неизбежно предназначенную для революции. В таком представлении историческое движение происходит из взаимодействия таких причин, которые неизбежно ведут от режима частной собственности к социалистической системе.

Причинная диалектика не ставит других проблем, кроме тех, что рассмотрены нами в предыдущих страницах. Можно себе представить, что экономика, основанная на частной собственности и механизме торговли, могут быть парализованы их же результатами. Но фактически ни одна из известных версий этой теории не выдерживает критики. С возрастом капитализм меняется, а не самоуничтожается. Скорее политическая демократия и идеология, а не техника или индустрия, ограничивают понемногу роль конкуренции и расширяют роль государственной администрации. Ничто не доказывает, что эволюция будет без конца продолжаться в одном направлении или что одна партия или одна страна воспользуются этой исторической тенденцией.

Зато второе понимание диалектики ставит совсем иные проблемы. Их можно резюмировать одной фразой: какова природа связи между двумя историческими моментами? Связаны ли между собой две эпохи, два стиля, две цивилизации действительными отношениями или толь-

ко двусмысленным отношением в виде неопределимого детерминизма? Можно ответить, что этот вопрос не столько относится к философии или критике, сколько к опыту. Нельзя заранее определить природу последовательностей: рассмотрим прошлое и мы найдем ответ на вопрос. Но на самом деле эмпирическое исследование подразумевает теорию: природа последовательностей происходит из внутренних свойств реальности.

Всякое человеческое действие есть выбор между возможностями, ответ на вызов, но не подчинение любым обстоятельствам: следствия действий понятны, но они не необходимы. Следовательно, если пытаться реконструировать **событие** как таковое, то история, по существу, определяется как разнообразие протекающее во времени. Она как таковая не есть ни прогресс, ни упадок, ни бесконечное повторение тех же систем. Вероятно только опыт может показать, в какой мере или в каких отраслях события складываются то в прогрессию, то в циклы.

В этой плоскости предвидения, с допущением известной вероятности, так же возможны и законны, как и объяснения событий. Если мы несколько раз наблюдали падение режима, анализировали причины этого падения и если мы находим в режиме все те же признаки болезни, то мы можем, не уточняя времени, предвидеть аналогичный процесс с тем же завершением. Или мы можем мысленно продолжать частичные серии событий, причины которых могут продолжать действовать. Эти предвиденья, относящиеся к линейному или цикловому движению, имеют известный коэффициент неверности. Какая-нибудь тенденция может обернуться: национализация экономики, при которой мы присутствуем в XX веке, быть может, не будет продолжаться в XXI. Прогресс продуктивности, быть может, остановится после какой-нибудь военной катастрофы или вследствие неограниченного распространения бюрократии. Британская демократия представляет достаточно оригинальных черт, чтобы ее падение нельзя было заранее определить.

Последовательность **произведений** в отличие от последовательности **действий** включает в себе значение, которое может быть выявлено теорией: отношение произведений между собой зависит от неизбежного конца действий, выражением которых они являются.

Научные достижения складываются в одно целое, в которое включены измененные и уточненные предыдущие достижения. Научная истина, благодаря свойственной ей приближенности, актуальна сегодня так же, как в тот день, когда она впервые возникла в мыслях. Каким термином назвать эту историю науки, как таковой? Аккумуляция, прогресс, разработка? Во всяком случае, ответ зависит от специфического смысла научного мира, а не от обстоятельств, в которых он развивался.

Только изучение прошлого позволяет нам определить, как фактически развивались математика или физика, в какое время, каким человеком была впервые высказана такая-то теория, завершено такое-то доказательство, математически выражен такой-то закон. История науки как последовательность действий не имеет никаких преимуществ по сравнению с историей других действий. Но отношения меж-

ду открытыми вчера истинами и сегодняшней системой приводят нас к философскому анализу, а не к историческому исследованию.

Выявление связей между учеными и учреждениями, между идеями и экономическими структурами может привести к выяснению взаимной связи сознания и действия, выкристаллизовавшихся в социальной материи. Что касается науки, направления ее изысканий, философской интерпретации их результатов, то ошибки науки объясняются влияниями или средой. Но подобные объяснения никогда не могут исчерпать значения произведения как произведения. Обстоятельства объясняют то, как искали и не нашли правильного решения, но они не предопределяют открытие истины, вроде той, что превосходство вооружения предопределяет победу какой-нибудь армии. Они не связаны с этим открытием, как военное положение 1941 г. было связано с решением Гитлера начать «операцию Барбаросса». Правильное решение вопроса или формулировка закона не являются ни последствием какой-нибудь причины, ни реакцией на какую-нибудь конъюнктуру, они следуют из умственной способности, имеющейся как у историка, так и у исторической личности, которую события парализуют или поддерживают, направляют или отвращают, но не при-
нуждают⁶⁸).

В каждой специфической области различие между произведениями и действиями имеет особое значение. Эквивалент **истины** в искусстве это **качество**. Можно объяснить особенности какого-нибудь искусства, но нельзя объяснить шедевр как таковой. Значение шедевра может быть противоположным значению истинного. Истина имеет значение для всех веков, потому что она имеет единственное, навсегда приобретенное значение. Шедевр имеет значение для всех веков, потому что его значение неисчерпаемо, потому что каждому поколению он открывает себя по-новому.

Шедевры не складываются в одно целое подобно научным открытиям и, может быть, каждый из них в своем наиболее подлинном значении является выражением индивидуума-художника, школы или общества. Несмотря на свое своеобразие, произведения искусства однако связаны между собой: техник находит решения всех задач, поставленных архитекторам. Пропорции, форма, композиция Парфенона дают вечный урок, даже если каждое поколение по иному толкует это духовное обращение. Между памятниками живописи или архитектуры существует глубокое сродство, утверждающее единство специфического мира искусства, и несравнимое значение каждого произведения, и двустороннюю связь между различными произведениями искусства.

Произведения искусства, в их специфическом смысле, представляются взгляду историка-специалиста выражением коллектива, законом которого было не подражание или борьба, а диалог. Художник продолжает тех, кто ему предшествовал, даже если он утверждает, что он им оппонирует. Коллектив ученых, художников или филосо-

⁶⁸) Рассудок играет роль также в действиях политика или стратега. Но эти действия сознаются как выбор между возможностями. Зато ученый стремится выявить понятную необходимость, которая не является созданием его разума или человеческого ума вообще.

фов никогда не отделим от общества; он отражает стремления и конфликты, идеал и реальность его. Но они и не сливаются с обществом, даже тогда, когда мыслители и строители считают себя исключительно на службе у коллектива. Это не значит, что религиозные и политические убеждения художника не вдохновляют его творчества: когда оно достигает определенного качества, оно включается в специфический мир, в котором участвуют даже те, которые не осознали его специфичности. Строители соборов не должны были размышлять о понимании искусства для того чтобы принадлежать к коллективу художников.

Следовательно, история научных или художественных произведений различается в основном от истории событий: значение самой истории вытекает из характерных черт специфического мира.

Соотношение между двумя моментами истории науки можно усмотреть также в плоскости событий: открытие или кажется случайным или необходимым, приписывается какому-нибудь одинокому гению или объясняется коллективной работой; а в плоскости значительности содержания: открытие задним числом кажется рациональным. Нельзя доказать, что Ньютон должен был неизбежно формулировать или изобрести закон взаимного притяжения в то время и в той форме, как он это сделал. Задним числом историк склонен свести рациональное развитие известных фактов к действию руководившего ими закона.

Научный прогресс не относится к категориям гадательного детерминизма, он понятен сам по себе, без того, чтобы его выводили из всеобщего соотношения или включали в какую-нибудь определенную схему настолько понятна, что она не нуждается в математическом доказательстве, она превосходит возможность объяснения. Может ли предвидение будущего говорить о рациональности невещественных миров? И каких невещественных миров?

Ни становление науки, ни становление искусства нельзя предвидеть. Если предположить, что всю историю можно сравнить с историей одного из специфических миров, из этого не следовала бы законность предсказываний. Больше того. Мы доказали в предыдущей главе двусмысленность исторического целого. Отношение к одному единственному фактору предполагает одностороннее определение, что немислимо. Тотальность существования приблизительно и произвольна. Единственная законная интерпретация тотальности, которая не уничтожает случайный характер детерминизма и множественность значений, это та, которая занимается **одной** проблемой, признанной за составную часть человеческой судьбы. Если у этой проблемы есть решения, являющиеся каждое необходимым условием для последующего, если, наконец, в конце движения устанавливается **радикальное** решение, то тогда история станет последовательным развитием тотальности: привилегированное положение осмыслит целое.

Такова, действительно, главная мысль гегелевской системы. Признание параллелизма между диалектикой категорий и диалектикой обществ придает последовательности режимов необходимость, аналогичную той, которая связывает категории друг с другом. История философии как таковая является философией истории; понятия людей

о мире и о самих себе суть моменты становления духа. В конце концов, дух осязает природу и самого себя.

Философии истории различаются в зависимости от специфического мира, который они берут как пример. Цивилизации, подобные художественным произведениям, должны быть замкнуты каждая в своей оригинальности, связью которых был бы бесконечный диалог. С точки зрения диалектики, их развитие подобно последовательности развития философских систем.

Мы видели, что на самом деле можно лишь формально определить конечное состояние, да и то нужно принять гипотезу разумного назначения человечества. Это конечное состояние ретроспективно и не указывает нам необходимого порядка последовательности возникновения обществ. Приблизительный порядок, который можно вывести из накопления документов и фактов, может быть объяснен сомнительным детерминизмом, и непредвидимыми столкновениями положений и личностей, и естественной средой, и силой притяжения коллективов, и инициативой нескольких лиц.

Если всю школу человечества свести к стремлению к относительному изобилию, то это унизит положение коллективов. В течение долгих веков средства производства менялись мало: можем ли мы отбросить в небытие создание и разрушение городов, дворцов построенных счастливыми князьями, могил свидетельствующих о верности победителя своей любимой? Если нам наскучат монотонные чередования войны и мира, соперничающих государств и торжествующих империй, то можно ли забыть неповторимое, создателя окаменелой мечты?

Если историю человечества — священную историю — унизить до положения предка социализма, то что останется от тех произведений искусства и приключений, которые для многих миллионов людей были оправданием их земного существования.

Если обратить внимание только на смену социальных режимов, то ее можно понять, но ее нельзя считать необходимой. В каждой цивилизации встречаются довольно грубые аналогии. Длительность будто бы однородных фаз развития меняется в зависимости от цивилизации⁶⁹). Империи появляются то с опозданием, то на несколько веков раньше, чем следовало бы (если называть империями все властвовавшие политические единицы на больших пространствах и над многими народностями). Нации, принадлежащие к одной системе, не все проходят те же этапы развития. Некоторые перескакивают один этап: Россия перескочила этап буржуазной демократии, Западная Европа — этап сталинизма.

Так называемая диалектика истории общественного развития вытекает из превращения реальности в идею. Каждый режим выделяется, ему приписывают один единственный принцип; принцип капитализма противопоставляют принципу феодализма или принципу социализма. В конце концов, начинают выражаться так, как будто режимы были противоречивыми и переход от одного к другому походил на переход от тезиса к антитезису. Это двойная ошибка. Режимы различны, а не противоречивы и так называемые промежуточные формы

⁶⁹) Ср. Маркса, Шпенглера или Тойнби.

встречаются чаще и длятся дольше, чем чистые формы. Если предположить, что принцип капитализма связан с принципом феодализма, как небытие с существующим или философия Спинозы с картезианством, то ничто не может гарантировать, что гадательный детерминизм воплотит эту познанную необходимость. Если предположить, что социализм примирит феодализм и капитализм, как становление примиряет сущее и небытие, то все-таки воплощение синтеза нельзя предвидеть подобно ядерному взрыву или экономической конъюнктуре.

Наблюдая порядок следующих один за другим событий, нельзя заметить автоматического отбора, соответствующего нашим моральным требованиям; законы и поиски понятности, превосходящей понятность сомнительного детерминизма, и множественность противоречивых в данный момент императивов. Но эти поиски не подразумевают исповедание веры, по которому будущее должно подчиниться декретам разума. Все человечество может завтра погибнуть в космической катастрофе, как наше перо в любой момент выпасть из наших рук. Христианин надеется на спасение по милости Божией. От кого безбожное человечество может требовать своего коллективного спасения?



Революционеры склонны преувеличивать как область их свободы, так и мощь судьбы. Они воображают, что с ними кончается историческая эпоха. Пролетариат, преображенный в своей борьбе, придаст человеческому обществу новое лицо. Окрыленные верой и стоящие выше уроков человеческой мудрости, они ожидают вечного мира от неограниченного насилия. Они проповедуют неизбежность своего торжества, потому что дело чреватое столькими надеждами не может погибнуть. По мере того как идет время и они в свою очередь принимают на себя тяжесть власти, и по мере того, как вечная природа коллективов вновь проявляется несмотря на потрясения, — разочарование подрывает их уверенность. Все меньше верят в бесклассовое общество, но тем тверже исповедуют необходимость, играющую надеждами и напрасным сопротивлением людей. Призывание судьбы было сначала поддержкой оптимизма и становится теперь оправданием безропотности.

Фанатики надежды или безнадежности — революционеры — продолжают мудрствовать о неизбежном будущем; о том будущем, которое они не в состоянии описать, но о котором они желают возвестить.

Ни один человеческий или бесчеловечный закон не упорядочивает хаос в движении к сияющей или мрачной цели.

ГОСПОДСТВО В ИСТОРИИ

History is again on the move: эта формула Тойнби соответствует сильному, странному чувству, которое возникало в какой-то момент жизни у каждого. Я почувствовал его весной 1930 г., когда, посещая

Германию, я присутствовал при первых успехах национал-социализма. Все ставилось под вопрос: структура государств, равновесие мировых сил; неуверенность в будущем была так же ясна, как и невозможность поддержать *status quo*.

Историческое сознание не родилось с современными катастрофами. Буржуазная Европа, уверенная в своей судьбе, применяла в конце прошлого века критические методы с такой же строгостью, как и сегодняшняя растерзанная Европа. Она еще не знала о всех городах, которые мы нашли в песках, она не кончила перечень мертвых богов и погибших цивилизаций, но она знала, как и мы, особенности каждого общества и роковую судьбу, постигшую Афины, Рим и Византию.

Это знание чаще всего оставалось равнодушным. Западные историки пятьдесят лет тому назад не стали бы утверждать, что национальные государства или парламентские режимы избежат разрушения, которому подвержены все постройки, воздвигнутые гордостью людей как вызов закону становления. Они или считали это приключение совершенно особенным, ибо впервые основанном на науке, или отодвигали возможность старения в далекое будущее. Никакое временное общество не может быть вечным; легко это сказать, но трудно переживать его падение.

Философия истории в нашем веке пользуется успехом благодаря тем событиям, свидетелями которых мы были. Нельзя пережить Тридцатилетнюю войну, Пелопонесскую битву или конфликт, охватывающий период от 1914 г. до 1945, не ставя себе вопроса о причинах и последствиях. Мы стремимся найти в них смысл, но не в прямом смысле этого слова, а изучить главные факты, которые позволяют понять, что в действительности произошло. Тот смысл, который соответствует нашему ожиданию, позволит совести извинить все ужасы. Войны не так возмущают наблюдателя, которому удастся убедить себя, что родившись с капитализмом, они вместе с ним и исчезнут. Войны, сопровождающие борьбу государств и классов, не будут бесплодными, если они откроют путь бесклассовому обществу. Идолопоклонство перед историей рождается из этой непризнанной мечты о будущем, которое оправдывает неоправдываемое. После падения Рима блаженный Августин больше не ожидал от государства смертных того, что могло принадлежать только Царству Божию. Падение Европы заставляет наших современников пересматривать марксистские предсказания, приспособленные Лениным и Сталиным для тактики действий. Некоторые, следуя Тойнби, отправляются по дороге Шпенглера, чтобы после долгих блуждений придти к надежде блаж. Августина: конечный смысл разделенных, но братских цивилизаций, находится вне их самих; каждая из них оставляет в наследство некую универсальную церковь, проповедь которой звучит в течение веков и диалог которой с другими церквами открывает конечное назначение человечества, посвященное преклонению перед Богом.

История создается людьми, действующими при обстоятельствах, которых они не выбирали в зависимости от своих appetitов или идеала, своих несовершенных знаний; людьми, то подчиненными влиянию среды, то торжествующими над этим влиянием, согбенными под тяжестью вековых обычаев или движимыми духовным подъемом. На первый

взгляд история кажется одновременно и хаосом событий и тиранической системой; каждое событие многозначно, а система не имеет смысла. История и философия истории, хотя и различными путями, пытаются преодолеть противоречие между разумностью элементарного факта с точки зрения действующих лиц и внешней абсурдностью целого; между беспорядком на микроскопическом уровне и слепым порядком судьбы.

Философии истории марксистского типа упорядочивают хаос событий, относя его к нескольким просто объясняющимся принципам, они помещают в конце неизбежного движения исполнение человеческого назначения. Классы подчиняются своим интересам, индивидуумы своим страстям, но производственные силы и отношения вызывают в этой неясной путанице чередование режимов, чередование, неизбежное, но и благодатное, так как его завершением будет бесклассовое общество.

В этот момент появляется то, что мы называем идолопоклонством перед историей, карикатура исторического сознания. Она нас учит уважать бесчисленные несвязные факты, множественности их значений, которые можно им придавать в зависимости от того, связаны ли они со случайными действующими лицами, с установившимися традициями или с развившимися из них последствиями. Идолопоклонство перед историей считает своим правом постепенно заменять чистые факты их значениями, связанными с якобы окончательной системой толкования. На этом пути не обязательно нужно дойти до безумия показательных процессов, но можно придти к тому, что победители будут судить побежденных, а государство станет носителем истины. Это безумие захватывает и Запад: убежденные в радикальной порочности коммунизма, американские законодатели осуждают коммунистов тридцатых годов по своим суждениям, созревшим в пятидесятые годы. Подсудимые в советских и китайских тюрьмах должны писать свои автобиографии, а кандидаты на визу в Соединенные Штаты вкратце рассказать свою жизнь. Но в Соединенных Штатах анкеты касаются фактов, в то время как автобиография «капиталистов» по ту сторону железного занавеса должна квалифицировать факты в зависимости от значения, которое им приписывают палачи.

Историческое понимание показывает нам границы нашего знания. Когда наши взгляды обращаются к прошлому или к будущему, мы не можем достичь уверенности; она несовместима с провалами в нашей осведомленности и тем более с невозможностью понять сущность будущего. Общее движение, которое мы выводим из путаницы причин и следствий, действительно было в прошлом, но нельзя сказать, какие массовые причины его предопределили. Задним числом легко забыть случайный характер детерминизма. Но его нельзя забывать, когда стоишь перед современным событием.

Историческое сознание учит нас уважению **другого**, даже когда мы с ним боремся. Качество причин не измеряется качеством человеческих душ; мы не знаем исхода нашей борьбы; каждый режим реализует какую-то иерархию ценностей, а примирение всех ценностей — это лишь идея, но не близкая цель. Идолопоклонство перед историей, наоборот, убеждено в том, что оно действует только для достойного будущего; оно видит и хочет видеть в **другом** только врага, которого надо уничтожить, врага презренного, так как он либо не может желать добра, либо не может его познать.

Конечный смысл истории никогда не проистекает только из изучения прошлого. Ни красота космоса, ни трагедии цивилизаций не дают ответа на вопрос, с которым мы обращаемся к небу. Нельзя познать человека, если не знать хода его постепенных завоеваний, и завтрашний день, быть может, даст нам новый урок. Может быть, надо повидать статуи подвалов Элефанты, чтобы понять всю неповторимость реймского собора. Несомненно, нужно повидать западное влияние в Токио или в Бомбее, чтобы освободиться от очарования нашего псевдо-знания. Не ведя диалога с другими, мы не сможем познать нас самих в нашем историческом существовании. Когда дело доходит до конечных вопросов, диалог оставляет нас в такой же неуверенности, как и монолог. Воскрешение всего прошлого точно так же не говорит нам ничего о нашем назначении, как и исследование нашей совести. Опустелые, затерянные в джунглях города; героизм воинов, которые никогда напрасно не умирали, так как они всегда утверждали себя перед лицом смерти; голос пророков, предсказывавших божественную кару или проповедовавших благую весть; бешенство толпы, чистота святых, горение верующих, — все это, что нам открывает знание, не определяет выбора между Царством Божиим и царством земным. Шпенглер и Тойнби заранее знали, первый — что человек хищное животное, второй — что он создан для того, чтобы поклоняться Богу и соединиться с Ним.

Если выбрать царство земное, то несовместимость цели, соответствующей нашим желаниям, и неизбежного конца сама собой отпадает, так как она устанавливает нечто вроде Провиденья. Абстрактно можно себе представить условия, при которых уважение к каждому не будет несовместимо с всеобщим благосостоянием. Неизвестно, удовлетворит ли будущее эти ожидания.

Каждое поколение склонно думать, что его замысел, не имевший себе подобного, есть конечный замысел человечества. Это тщеславие ценнее, чем безразличие к ежечасным заданиям, которое может возникнуть из мысли, что все проекты одинаково бессмысленны. Однако в наше время это тщеславие чревато потенциальным фанатизмом.

Исход борьбы между огромными империями определяется неясным детерминизмом, детали которого от нас ускользают. Предположим, что частная собственность обречена уже промышленной техникой; что механизм рынка должен быть парализован концентрацией капитала или восстанием масс, — и все же ожидаемый социализм не будет копией современной или будущей советской практики. Частная собственность, которая отрицается производственными силами, ими отрицается в действительности как в Детройте, так и в Харькове. То, что можно назвать ставкой в исторической борьбе, чаще всего не поддается предугадыванию. Ретроспективное понимание решений, выкристаллизовавшихся в судьбу, хватается за некий случайный детерминизм, потому что сама реальность не подчиняется иной необходимости. Действие обращенное к будущему принадлежит тоже к разряду вероятностей.

Законы, по которым режимы будто бы следуют друг за другом, потеряли свое правдоподобие в сталинской версии марксизма. Действительно, эта версия признает что не все общества проходят одни и те же стадии, что построение социализма не начинается на одной и той же ступени экономического развития, а начинается на следующий день после захвата власти, подчиненной в свою очередь многочисленным

случайностям. Сталинизм, ссылающийся на всемирную историю, в конце концов сводится к истории партии большевиков.

По мере того, как понятие бесклассового общества теряет свое значение, диалектика теряет и разумность последовательных и последовательно преодоленных противоречий, и неизбежность причинного ряда; тут другая мысль вступает в систему мышления, мысль о том, что действия людей торжествуют как над историческими случайностями, так и над космическими силами. Приручив атомную энергию, а завтра и солнечную, почему бы разум не мог отбросить случайностей, которые так часто меняли ход событий, и глупость, искажающую образ обществ? Умы двух родов откликаются на марксистскую проповедь: христиане и политехники; первые замечают в ней отголоски пророчеств, вторые — утверждение прометеевой гордости. Будущее завершит человеческую судьбу, потому что сам человек ее выкует.

Понятие действия встречалось уже в марксизме молодого Маркса. Действуя, человек создал самого себя, преобразая природу. Действуя, пролетариат станет достойным своей миссии, так как он уничтожит капитализм. Действие пролетариата вляется в диалектику режимов: будучи продуктом капитализма, рабочий класс восстает против социальных условий эксплуатации. Но победа не будет полной, пока формы будущего общества не вызреют в лоне старого общества. В зависимости от толкователей, подчеркивается или детерминизм, руководящий переменой структур, или восстание рабочего класса.

Подмена класса партией, совершенная Лениным до 1917 г., должна была нарушить равновесие в пользу действия. С этого момента между развитием класса и силой партии была нарушена пропорциональность; шансы революции зависят гораздо больше от партии, чем от класса.

До сих пор говорят о законах истории, выражаясь так, будто партия обязана своим здравым смыслом и успехом знанию истории. Большевистские вожди, как все государственные деятели, много раз ошибались в самых значительных предвидениях, они годами ждали после 1917 г. революции в Германии, они не верили в маневр Чан-Кай шека в 1926 году, они в 1941 г. не предвидели немецкого нападения, а в 1945 г. близкой победы китайских коммунистов. Их соперники, несомненно, были более близоруки, чем они, и итог полувека не может не изумлять нас. Каковы бы ни были их заслуги и обстоятельства, у коммунистов не было в распоряжении такой науки, которой не было бы и у буржуазии. Законы необходимой эволюции не столько ориентируют, сколько оправдывают их действия.

Не надо было читать «Капитал» или «Империализм как конечная стадия капитализма», чтобы констатировать после 1918 года перекрещивание конфликтов между классами в западных странах, соперничество между большими державами и восстание в колонизованных территориях Африки и Азии против Европы. Доктрина учит, что эти конфликты приведут к социализму, но она не уточняет — когда и как; она ограничивается описанием конъюнктуры, которой человеческая деятельность пытается навязать конец, не приказанный и не исключенный никаким объективным законом. Теория переводит на язык рока чудесное или дьявольское дело воли, имевшей успех.

Партия взяла на себя дело революции, которую никак не могла вызвать диалектика капитализма и которую мог остановить реформизм

профсоюзов. Таким же образом государство решило провести коллективизацию сельского хозяйства, потому что предоставленное самому себе, оно вызвало бы к жизни миллионы зажиточных хозяев. Став министрами образования и пропаганды, марксисты почувствовали непреодолимое желание провести декретами то, что по их версии исторического материализма должно было произойти непосредственно. Они решили **вызвать** литературу и философию, которые по доктрине должны были естественно расцвести в расцветающем социалистическом обществе. От лженаучной формулы — искусство и мышление являются функциями исторической среды — мы приходим к принципу деспотизма: общество в том виде, который ему придает государство, навязывает правоверность экономистам, писателям, даже музыкантам. Так как искусство испорчено буржуазной цивилизацией, то оно будет спасено социалистическим реализмом.

Но этим не ограничиваются. Даже человек, говорят нам, переродится благодаря перемене условий его существования. Употребление типично капиталистических методов использования вечного эгоизма, — сделщина и премии для директоров не говорят о том, что новый человек рождается сам по себе. Не один раз правителям придется подправлять природу, инженерам душ подгонять развитие диалектики. Воспитанием, пропагандой, идеологической формировкой, походом против религии, — всеми этими средствами пытаются сформировать индивидуумов согласно с идеей о человеке и его положении на земле. Павлов сменяет Маркса и теория условных рефлексов — теорию исторического материализма. Полагали, что религиозное чувство умрет само собой, по мере того как уменьшится расстояние между идеальным и современным обществом. На самом деле «рефлексология» не достаточно для того, чтобы объяснить человеческое существование, точно так же, и материалистическая социология не дает себе отчета о пережитках или пробуждении веры среди освобожденных пролетариев или довольных буржуев. Еще один раз неуспех науки подготовил деспотическое действие. Министры, комиссары, теоретики, следователи, вооруженные павловскими методами, будут пытаться сделать людей такими, какими бы они были, если бы официальная теория была истинной.

Процессы иллюстрируют этот переход от фальшивой науки к тираническому действию. Можно реконструировать исторический мир подсудимых и судей, как мы это делали, согласно абсолютному и релятивистическому пониманию: безусловная ценность конечной цели и истинность объясняющих понятий; понимание действий, отрешенных от намерений действующих лиц и обстоятельств, с точки зрения победителя. Но эта интерпретация искажается, когда она доведена до крайности, тем самым и ее жертвы терпят ее, но в нее не верят. Подсудимые же играют добровольно роль, которую им навязали; они находятся под угрозой, под шантажем; их капитуляции добиваются, лишая их пищи и сна; их заставляют признаться такими же мерами, какими у собак вызывают слюну. Содержание этих признаний напоминают философам Гегеля, а психологам — опыты над условными рефлексам. Неизвестно, в какой мере в уме инквизиторов-экспериментаторов смешивается желание, чтобы язычники или еретики исповедывали истину, и убеждение, что в конечном счете подсудимые капитулируют потому, что все они более или менее ученые обезьяны.

Мы далеко отошли от исторического Провидения, от непоколебимых законов, которые будто бы руководят развитием приключения. Но этапы, по которым проходят от гордой иллюзии обладания тайной будущего до претензии выковать будущее соответственно истине, логичны. Класс является инструментом общего спасения; люди, называющие себя его подлинными представителями, считают остальное человечество только средством; они видят в обстоятельствах только благоприятные или неблагоприятные возможности для реализации их предприятия. Начав с противопоставления себя власти, они с той же нетерпимой горячностью служат социалистической стройке. Ликвидация кулаков или ссылка национальных меньшинств неприятные, но незначительные эпизоды в политике, стремящейся к реализации разума в истории.

Те, кто говорят о господстве истории, по-видимому, мечтают исключить вмешательство случая, великих людей и совпадений, или перестроить общество по общему плану и отбросить наследство неоправданных традиций, или, наконец, покончить с конфликтами, терзающими человечество и предающими его трагической игре с оружием. Разум учит противоположному: политика останется ответственным нашему неполному знанию искусством необратимого выбора в неожиданных положениях. Множественность духовных миров и автономия человеческой деятельности превратят в тиранию всякую попытку всеобщей планификации.

Воздействие на физические феномены, ставшее возможным благодаря развитию техники, понемногу рассеяло представление о нерушимости **космического порядка**. Наоборот, надежда воздействовать на историю родилась, по-видимому, из представления о социальном порядке или порядке становления, руководимого законами, безразличными к желаниям или возмущениям индивидуумов. Революционеры воображали, что они будут повелевать не несколькими элементами, а всем.

Эти пророческие чаяния стали интеллектуальной основой тоталитаризма. Мир сойдет на землю лишь после того, как революционеры, пройдя опыт управления государством и ублажив свой фанатизм, осознают, что перед ними непреодолимые препятствия, что нельзя переделывать общества по любому плану, нельзя ставить одну цель для всего человечества, нельзя отказать совести в праве отрицать царство земное.

Политика еще не открыла тайны, позволяющей избежать насилия. Но насилие становится все более бесчеловечным, когда оно считает себя слугой истины, истины исторической и абсолютной.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

КАБАЛА ИНТЕЛЛИГЕНТОВ

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Интеллигенты и их родина

У всех обществ бывали свои **писцы**, наполнявшие публичные и частные организации, бывали свои **ученые** или **художники**, передававшие наследие культуры или обогащавшие его; бывали **эксперты**, знатоки законов, служившие князьям или богачам своими знаниями текстов или искусством диспутов; мудрецы, разгадывавшие тайны природы и учившие людей лечить болезни или побеждать на поле битвы. Не один из этих трех видов не принадлежит по существу современной цивилизации. Однако она имеет свои оригинальные свойства, влияющие на число интеллигентов и на условия их жизни.

Распределение рабочих рук между различными профессиями меняется по мере экономического развития: процент рабочих в промышленности возрастает, процент рабочих в сельском хозяйстве сокращается, и в это же время разрастается так называемый третичный сектор, охватывающий многочисленные профессии неравного достоинства, начиная с маленького чиновника в канцелярии до исследователя в лаборатории. Промышленные общества имеют большее абсолютное или относительное количество трудящихся, не работающих ручным трудом, чем все известные нам общества. Организация, техника и администрация становятся все более сложными как бы для того, чтобы свести к совершенной простоте движения рабочих.

Кроме того, современная экономика требует, чтобы пролетарии умели читать и писать. По мере того, как коллективы обогащаются, они посвящают все большие средства воспитанию молодежи: среднее образование длится все дольше и распространяется на все большую часть каждого поколения.

Три группы людей, не занимающихся ручным трудом, **писцы**, **эксперты**, **ученые** прогрессируют одновременно, хотя и с неодинаковой быстротой. В бюрократии находят применение **писцам** со слабой квалификацией; руководство трудящимися и промышленная организация требуют многочисленных **экспертов** со все возрастающей специализацией; школы, университеты, средства развлечения и связи (кинематограф, радио) принимают на службу **ученых**, **артистов** (художников) или техников слова и пера, простых вульгаризаторов. Иногда вступление в такие предприятия низводит ученого до степени посредственного эксперта: писатель становится *gewriter*-ом. Увеличение числа должно-

стей остается важным фактором, который всем известен, но не всегда оценивается в должной мере.

Эксперты и ученые не всегда составляли нечто вроде республик, ревниво оберегающих свою независимость. В течение веков мыслители и художники не отделяли себя духовно от клерков, от тех, кто должен был поддерживать или объяснять верования церкви или общества. Социально они зависели от тех, кто обеспечивал их пропитание: от Церкви, от властных или богатых людей, от государства. Значение искусства, а не только художника, менялось с изменением источника заказа или характерных черт образованного класса. Можно противопоставлять искусство **верующих** или **для** верующих искусству для воинов или для торговцев.

В наше время ученые имеют такой престиж и авторитет, который защищает их от давления церковей (исключения редки и, в общем, незначительны). Право свободной научной деятельности даже в отраслях, касающихся догмы — происхождения человека, возникновение христианства — больше не оспаривается. По мере того, как публика становится все многочисленнее и меценаты исчезают, писатели и художники выигрывают в области свободы, но теряют в области обеспечения (хотя многие могут зарабатывать на жизнь профессией, не имеющей ничего общего с их творческой деятельностью). Ни частные работодатели, ни государство не платят зря. Но зато кинематографические компании и университеты не требуют правдивости вне стен студий или классов.

Наконец, все политические режимы предоставляют возможности для тех, кто имеет талант орудовать словом и мыслью. На трон больше не вступают смелые и счастливые полководцы, а ораторы, сумевшие убедить толпу, избирателей или конгресс, — доктринеры, выработавшие систему мышления. Клерки и ученые никогда не отказывались признавать законность власти, но в наше время она нуждается в экспертах ораторского искусства. Теоретик и пропагандист совпадают: генеральный секретарь партии вырабатывает доктрину, и в то же время он руководит революцией.

ОБ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ⁷⁰⁾

Самой многочисленной, самой свободной, самой обаятельной, самой близкой к власти оказывается в наш век та социальная категория, которую мы неопределенно называем «интеллигентами-профессионалами». Она обладает известными характерными особенностями, они-то и позволят определить различные черты этого явления.

Самое широкое понятие интеллигенции — это трудящиеся, не занимающиеся ручным трудом. Во Франции никто не назовет интеллигентом служащего в бюро, даже если он окончил университет и получил ученую степень. Вошедший в коллектив предприятия, обреченный на пассивный труд, такой человек с дипломом становится рабочим, орудием производства которого становится пишущая машинка. Ква-

⁷⁰⁾ Русский термин в тексте.

лификация, дающая титул интеллигента, повышается с увеличением числа рабочих, занятых не ручным трудом, т. е. с ростом экономического развития. В какой-нибудь недоразвитой стране любой человек с дипломом считается интеллигентом; это, пожалуй, справедливо. Молодой человек, учившийся во Франции и вернувшийся в некую арабскую страну, становится там ученым. Его роль в своей стране похожа на роль писателя на Западе.

Второе, менее широкое понимание термина интеллигент, включает **экспертов и ученых**. Между писцами и экспертами граница не ясна: переход от одной категории в другую совершается постепенно. Некоторые эксперты, например врачи, остаются независимыми членами так называемой либеральной профессии. Различие между «независимыми» и «служащими» влияет иногда на род мышления, однако это влияние второстепенно: врачи службы здравоохранения не перестают быть интеллигентами (если они вообще таковыми являются) от того, что они получают зарплату. Зависит ли это различие только от рода труда? Инженер и врач имеют дело с неорганической природой или с живыми феноменами; писатель и художник — со словами, с материалом, обрабатываемым соответственно своему замыслу. В таком случае, юристы и организаторы, имеющие дело со словами или людьми, принадлежали бы к тому же роду, что и писатели и художники; но на самом деле они скорее приближаются к экспертам, т. е. инженерам, врачам.

Эта двусмысленность возникает благодаря связи некоторых черт, которые не всегда возможно различить в понятии интеллигент. Для того, чтобы яснее очертить понятие интеллигент, лучше всего исходить из несомненных случаев, чтобы затем перейти к сомнительным.

Писатели, живописцы, скульпторы, философы составляют ядро, — они живут умственной деятельностью и только ею. Если за критерий взять ценность их деятельности, то мы постепенно перейдем от Бальзака к Эжену Сю, от Пруста к авторам сентиментальных или криминальных романов, затем к составителям газетных рубрик о раздавленных собаках. Художники, работающие по рутине, не создающие новых идей или новых форм; учителя на своих кафедрах, ученые в своих лабораториях входят тоже в этот коллектив знания и культуры. Ниже их располагаются сотрудники прессы или радио, распространяющие сведения о достигнутых результатах, поддерживающие связь между избранными и большинством. При этом взгляде сердцевинной категории являются люди творчества, а к границам ее примыкает неопределенная зона, в которой вульгаризаторы перестают пересказывать и начинают переделывать: заботясь об успехе или о деньгах, являясь жертвами предполагаемого вкуса публики, они становятся безразличными к ценностям, которым они будто бы служат.

Этот анализ имеет известный недостаток, он упускает из внимания два факта: с одной стороны, социальное положение, источник доходов; с другой — теоретическую или практическую цель профессиональной деятельности. Задним числом можно называть и Паскаля — крупного буржуа, сына парламентария, и рыцаря Декарта — интеллигентами. В XVII веке не подумали бы их зачислить в эту категорию, так как они были диллетантами. Диллетанты, конечно, не менее интеллигентны, чем профессионалы, если учитывать качество их мышления или

род деятельности, но по своему социальному положению они не подходят под это определение⁷¹⁾). В современных обществах число профессионалов возрастает, а число любителей уменьшается.

С другой стороны, профессор права, по нашему мнению, скорее заслуживает название интеллигента, чем адвокат; профессор политической экономики — больше, чем журналист, комментирующий вопросы хозяйственной конъюнктуры. Разница здесь не в том, что журналист обычно бывает служащим частного предприятия, а профессор — государственным чиновником. Профессора, нам кажется, скорее можно назвать интеллигентом потому, что единственной его целью является поддержание, передача или расширение самого знания⁷²⁾).

Этот анализ не позволяет установить догматически определения; он указывает на несколько возможных определений. Мы можем посчитать главной чертой промышленных обществ известное количество экспертов, и тогда **интеллигенцией**⁷³⁾ назовем категорию индивидуумов, получивших в университетах и техникумах квалификацию, необходимую для этой профессии. Но мы можем также в первый ряд ставить писателей, ученых и людей искусства; профессоров и критиков во второй; популяризаторов и журналистов в третий; врачей, юристов или инженеров исключать из категории интеллигентов по мере того, как они начинают заботиться лишь о своем успехе и перестают интересоваться культурой. В Советском Союзе склоняются к первому определению: техническая интеллигенция⁷⁴⁾ занимает главное место, даже писатели стали инженерами душ. На Западе скорее склоняются ко второму определению, которое иногда еще суживают, ограничивая его теми, чья «главная профессия состоит в литературной, сценической или художественной деятельности»⁷⁴⁾).

Термин «интеллигенция»⁷⁵⁾, по-видимому, был впервые употреблен в России в XIX веке: те, кто прошел через университет и получил, по существу, образование западного образца, составляли немногочисленную группу, выходящую за традиционные рамки. Русские интеллигенты происходили из аристократических семейств, из мещан и даже из зажиточных крестьян; отойдя от старого общества, они чувствовали себя объединенными приобретенными ими знаниями и отношением к установленному общественному порядку. Научный дух и либеральные идеи склоняли интеллигенцию⁷⁶⁾ к революции; она чувствовала себя изолированной, враждебно относилась к национальному наследию и была как бы принужденной к насилию.

В обществах, где современная культура развилась на исторической почве, непосредственно, постепенно, там разрыв с прошлым не был так резок. Люди с дипломами не так резко отличались от других социальных категорий; они не отвергали безоговорочно вековую структуру общественной жизни. Однако их обвиняли и продолжают обвинять

⁷¹⁾ Во Франции XVIII века категорию интеллигентов узнать легко. Дидро, энциклопедисты, философы суть интеллигенты.

⁷²⁾ Эти два критерия хотя и не противоположны, но заметно расходятся. Интеллигенты-профессионалы все больше и больше становятся на службу индустриальной или административной практики. Порода любителей сохранилась среди чистых ученых или литераторов.

⁷³⁾ Русский термин в тексте.

⁷⁴⁾ Crane Brinton, „Visite aux Européens“, Paris, 1955, p. 14.

в том, что они начинали революции, что левым интеллигентам приятно сознавать, что не будь революционеров, решивших превзойти настоящее, старые злоупотребления все еще продолжались бы.

В некотором смысле это обвинение не обосновано. Неверно, что интеллигенты как таковые враждебны всем обществам. Китайские литераторы защищали и иллюстрировали скорее моральную, чем религиозную доктрину, которая поставила их в первые ряды и утвердила общественную иерархию. Короли и князья, коронованные герои или разбогатевшие торговцы всегда находили поэтов (которые не всегда были плохи), воспевавших их славу. Ни в Афинах, ни в Париже, ни в V веке до нашей эры, ни в XIX веке после Р. Х. писатель или философ не проявляли обязательно склонности к партии народа, партии прогресса или свободы. Существовало много поклонников Спарты в Афинах; существует и много поклонников III Рейха или Советского Союза в салонах на левом берегу Сены⁷⁵⁾.

Все доктрины, все партии — традиционализм, либерализм, демократия, национализм, фашизм, коммунизм — имели и имеют своих певцов и своих мыслителей. В обоих лагерях есть интеллигенты, преобразующие мнения или интересы в теории; их можно определить, как людей, которые не удовлетворяются тем, что они существуют, они обдумывают свое существование.

Однако, есть какая-то доля истины в банальном представлении, которое в более тонкой форме приняли социологи⁷⁶⁾, говорящем о революционерах по профессиональному признаку.

Интеллигенция⁷⁷⁾ никогда не бывает строго замкнутой по существу, но она не бывает замкнутой и на практике. Всякий привилегированный класс, определяющийся знанием или качествами ума, допускает, волею-неволею, возвышение наиболее способных. Платон принадлежал к аристократической партии, однако он утверждал, что раб может изучить математические истины. Аристотель не отрицал социальной необходимости рабства, но сам подрывал его основания. Он отрицал, что каждый человек занимает место, соответствующее его природе. Умирая, он освободил своих рабов, которые, быть может, не были рождены для рабства. В этом смысле интеллигент-профессионал редко отрицает демократию по праву и, может быть, тем сильнее подчеркивает фактический аристократизм: только меньшинство достигает тех областей, в которых он пребывает.

В зависимости от общества меняется способ пополнения интеллигенции. Экзаменационная система будто бы позволяла в Китае продвижение крестьян, хотя мы не знаем как часты были подобные случаи. В Индии первое место отведено мыслителям; это оказалось совместным с кастовым режимом, в котором каждый остается в той среде, в которой он родился. В современных обществах университет облегчает социальное продвижение. В некоторых странах Южной Америки и Ближнего Востока офицерские школы и армии открывают те же возможности возвышения. Социальное происхождение людей с дипломами меняются на Западе в зависимости от страны; студент Окс-

⁷⁵⁾ Ясно, что возвеличивание Спарты или Гитлера в Афинах или в Париже было для интеллигента способом выражения его оппозиционности.

⁷⁶⁾ Ж. Шумпетер.

⁷⁷⁾ Русский термин в тексте.

форда и Кембриджа до войны набирались из узкого круга; ученики высших французских школ редко происходили из семейств рабочих и крестьян, чаще из мелко-буржуазной среды, т. е. из третьего поколения выходцев из народа. Но интеллигенция⁷⁸⁾ всегда бывает социально более широкой, более открытой, чем правящий класс, и эта демократизация усиливается, потому что промышленные общества нуждаются все в большем числе служащих и техников. Эта широта интеллигенции⁷⁸⁾ помогла советской власти приписать социализму то, что раньше приписывалось экономическому развитию. Этот же феномен может пошатнуть и демократические режимы, если мелкие буржуа, окончившие университет, вместо того чтобы признать систему ценностей и правительство, созданные правящим классом, будут тосковать по потрясениям. Риск тем более велик, что склонность к критике является так сказать профессиональным свойством интеллигентов. Они охотно осуждают свою страну и ее учреждения, сопоставляя данную реальность с идеями, а не с другой реальностью, — сегодняшнюю Францию со своей идеей Франции, а не со вчерашней Францией. Никакое человеческое дело не может вынести без урона такого испытания.

Если интеллигент является по профессии писателем или художником — он человек идеи; если он по профессии ученый или инженер — он человек науки. Культура, распространяемая университетами, оптимистична, рациональна: формы общественной жизни, которые мы наблюдаем, кажутся необоснованными, Наследием веков, а не выражением здоровой воли или обдуманного плана. Интеллигент, деятельность которого не требует размышлений об истории, часто безапелляционно осуждает «существующий беспорядок».

Затруднения начинаются, когда не ограничиваются только осуждением существующего. Логически существует три возможности действия. **Техническая критика** входит в положение тех, кто правит или распоряжается; она предлагает меры для смягчения недостатков, соглашается участвовать в деле, соглашается с освященными веками структурой коллективов, иногда даже с законами существующего режима. Сравнения делаются не по отношению к идеальной организации или сияющему будущему, а по отношению к достижимым результатам, требующим большого здравого смысла и усердия. **Моральная критика** восстает против существующего, признавая повеления чего-то неопределенного, что должно быть. Отрицаются жестокости колониализма, капиталистического закрепощения, отрицаются антогонизм господ и рабов, возмутительной нищеты и хвастливого богатства. Даже если последствия этого отрицания не известны, как неизвестны и способы проведения его в жизнь, все же считается невозможным не бросать его в лицо недостойному своего звания человечеству в виде осуждения или призыва. Наконец, **идеологическая** или **историческая** критика осуждает настоящее общество во имя будущего; она приписывает оскорбляющую совесть несправедливость основам современного порядка — капитализму, частной собственности; они несут в себе неизбежную эксплуатацию, империализм, войны; и она рисует картину в корне иного порядка, в котором человек совершит то, к чему он призван.

⁷⁸⁾ Русский термин в тексте.

Каждая из этих трех видов критики имеет свои заслуги, свое благородство; но каждой из них угрожает своего рода деградация. Техников подстерегает консерватизм: люди не меняются, не меняется и неблагодарная неизбежность некоторых явлений общественной жизни. Моралисты колеблются между фактическим примирением и словесной непримиримостью: все отрицать в конечном счете значит на все соглашаться. Где провести грань между несправедливостью, неотделимой от современного или любого общества, и злодеяниями, исходящими от индивидуумов подвластных этическому суду? Что касается идеологической критики, то она часто играет две роли. Она дает уроки морали большей части мира и готова быть полностью снисходительной к революционному движению. Доказательство вины никогда не бывает достаточным, когда судебное дело ведется в Соединенных Штатах. Репрессии никогда не бывают преувеличенными, когда они поражают контр-революционеров. Это соответствует логике страстей. Сколько интеллигентов вошло в революционную партию вследствие морального прогресса и сколько их в конце концов согласилось с террором и интересами государства!

Каждый народ в той или иной степени склонен к одной из этих видов критики. Британцы и американцы смешивают техническую критику с моральной; французы колеблются между критикой моральной и критикой идеологической (диалог возмущенных и революционеров типичное выражение этой нерешительности). Быть может моральная критика является чаще всего глубокими источниками всякой критики, по крайней мере у интеллигентов; это и дало им титул «поборников справедливости», вечно отрицающих умов, и менее лестную репутацию профессионалов слова, не знающих тягот настоящего дела.

Критика уже давно перестала быть доказательством смелости, по крайней мере в наших свободных западных обществах. Публика предпочитает видеть в газетах аргументы, оправдывающие ее недовольства или требования, а не доводы, заставляющие признаться в том, что при данных обстоятельствах деятельность правительства не могла бы быть иной, чем она есть. Критикуя, можно избежать ответственности за неприятные последствия, которые влечет за собой всякая мера, даже удачная; таким образом избегают исторической грязи. Как бы не была резка полемика оппонентера, он не страдает от своих претенциозных ересей. Подпись под ходатайством о помиловании Розенбергов или против вооружения Западной Германии, обзывание бандой преступников и защита того лагеря, против которого защищается Франция, не мешает карьере даже государственных чиновников. Сколько раз привилегированные аплодировали клеймившим их писателям! Американские баббиты сыграли значительную роль в успехе Синклера Льюиса. Буржуа и их дети, которых вчера литераторы называли филистерами, а сегодня называют капиталистами, обеспечили благосостояние бунтовщиков и революционеров. Успех становится на сторону тех, кто преобращает прошлое или будущее: приходится сомневаться в том, что в наше время еще возможно защищать умеренное мнение, что настоящее во многих отношениях не хуже и не лучше других эпох.

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ⁷⁹⁾ И ПОЛИТИКА

Когда наблюдаешь поведение интеллигентов в политике, то на первый взгляд оно кажется похожим на поведение не-интеллигентов. Та же смесь неосведомленности, те же традиционные предрассудки, скорее эстетического, чем рассудочного порядка, выражаются в мнениях профессоров или писателей и в мнениях коммерсантов или фабрикантов. Один знаменитый писатель преследует своей ненавистью благонамеренную буржуазию, из которой он родом; другой, хотя его философия и не совместима с диалектическим материализмом, с пятнадцатилетним опозданием начинает чувствовать влечение к сталинизму, как это случилось в то или иное время почти со всеми левыми.

Когда дело касается профессиональных интересов, то профсоюзы врачей, профессоров и писателей выражаются приблизительно так же, как и рабочие профсоюзы. Те кадры, которые призваны защищать иерархию, — высшие служащие промышленных предприятий часто восстают против капиталистов и финансистов. Интеллигенты — государственные чиновники склонны считать чрезмерными доходы других общественных слоев.

Поведение интеллигентов объясняется также их социальным происхождением. Достаточно сравнить атмосферу университетов во Франции, чтобы в этом убедиться. Высший педагогический институт во Франции — левый или крайне левый; Политический институт, за исключением меньшинства, — консервативен или умерен (умеренные в 1954 г. могут быть социалистами, М. Р. Р. или «мендессианскими революционерами»). Набор студентов, несомненно, играет в этом роль. В провинциальных университетах у каждого факультета есть своя репутация; медицинский и юридический факультеты чаще всего считаются «скорее правыми», а филологический и естественный факультеты — наоборот; среда, из которой происходят профессора, и их жизненный уровень частично связаны с политическими мнениями.

Может быть, профессиональное уравнение играет такую же роль, как и социальное. Студенты педагогического института на Ульмской улице мыслят политические проблемы 1954 г. в терминах марксистской или экзистенциалистической философии. Они враждебно относятся к капитализму как таковому, заботятся об «освобождении» пролетариев, но плохо знают капитализм и жизненные условия рабочих. Студент политических наук мало знает о «закрепощении», а больше функции режимов (эти замечания в известной степени относятся и к преподавателям).

Интеллигент-профессионал неизбежно переносит на политический порядок тот образ мышления, который он приобрел в области своей профессии. Бывшие ученики Политической школы во Франции придали либерализму и плановой экономике вполне законченный вид; они требуют от реальности невозможного соответствия с рассудочными схемами. Медицина склоняется к оптимистическому взгляду на человеческую природу. Часто, будучи гуманистами, врачи все же забо-

⁷⁹⁾ Русский термин в тексте.

тятся о том, чтобы сохранить статуты либеральной профессии⁸⁰⁾ и с некоторым скептицизмом смотрят на стремления реформаторов.

Подобные анализы, которые следовало бы продолжить, сравнивая одни и те же профессии в разных странах или разные специальности в одной и той же стране, понемногу привели бы к социологии интеллигентов. Не имея результатов таких исследований, можно все же отметить обстоятельства, влияющие на поведение интеллигентов, и определить их национальные особенности.

Положение интеллигенции⁸¹⁾ определяется двойным отношением: к Церкви и к правящим классам. Глубокая причина отличия идеологической атмосферы в англо-саксонских странах и в странах латинских заложена в Реформации; многочисленность христианских вероисповеданий с одной стороны, неудача Реформации и сила католичества — с другой.

Средневековая Европа знала **клерков**, но не знала **интеллигентов**. Даже будучи мирским человеком, профессор университета не состоял с представителями духовной власти, которая была и признанной. Разные категории современной интеллигенции⁸¹⁾ создавались понемногу: юристы и чиновники зависели от монархии; ученым пришлось защищать право свободного научного исследователя против догматического знания; поэты или писатели, вышедшие из буржуазии, нашли защиту у власть имущих и смогли жить своим пером — успехом у публики. В течение нескольких веков разные виды интеллигентов — писцы, эксперты, ученые, профессора — эволюционировали к полной независимости от церкви. Воплощение в одном человеке физика или философа и священника считается курьезом. Конфликт между клерками и интеллигентами или между духовной властью веры и властью разума приходит к примирению в странах Реформации. Гуманизм, социальные реформы, политические свободы не оказались там противоположными христианской проповеди. Ежегодный конгресс лейбористской партии начинается с молитвы. Во Франции, Италии, Испании, партии, ссылающиеся на век Просвещения или социалистические идеи, в общем считают себя врагами Церкви, несмотря на движение христианских демократов.

Благодаря двойному успеху Реформации и революции в XVI и XVII веках, британская интеллигенция⁸²⁾ не оказалась в состоянии постоянной борьбы с Церковью или правящим классом. Она всегда поставляла известное число фрондеров, без которых правоверность может задуть дискуссию о ценностях и учреждениях. Но в своих спорах британская интеллигенция стояла ближе к опыту, меньше склонялась к метафизике, чем интеллигенты на материке, во Франции. Политики и дельцы Англии были достаточно самоуверенны, чтобы не испытывать по отношению к писателям или профессорам ни чувства униженности, ни сильной вражды. Интеллигенты же в свою очередь не были изолированы от богачей и власть имущих; они получали, если и не первые, но все же места среди избранных и редко думали о настоящей подрыв-

⁸⁰⁾ В Соединенных Штатах профсоюзы врачей яро восстают против социального страхования.

⁸¹⁾ Русский термин в тексте.

⁸²⁾ Русский термин в тексте.

ной деятельности. Они часто принадлежали к правящему классу. Реформы достаточно быстро слагались за требованиями, и политико-экономическая система не была выигрышной темой в полемике.

Во Франции в течение всего XIX века государственная форма никогда не признавалась единогласно, диалог традиции и революции длился бесконечно. Интеллигенты привыкли к своего рода постоянной оппозиции, когда парламентские учреждения оказались скомпрометированными монархией, и когда демократические принципы эксплуатировались Бонапартом, и когда республика слишком склонялась к социализму или отвергала его.

Поэтому любой кризис, как в 1934, в 1940 гг., разжигает старые ссоры. Даже Великобритания оказалась поколебленной в тридцатых годах. Реагируя на события, как и все люди, не будучи в состоянии избежать очарования злободневности, американские или британские интеллигенты, глядя на экономический кризис, подверглись искушению раскола, увидели мираж советского рая. Крайняя левизна и фашизм остаются исключительными феноменами. Во Франции они оказались в центре спора. Еще один раз страна и ее скромные задачи были забыты и всех охватил идеологический бред.

Термины, в которых мыслится политика, происходят из традиции каждой страны. Во всех западных странах встречаются те же самые доктрины или те же идеологические конгломераты: консерватизм, либерализм, социальный католицизм, социализм. Но распределение идей между партиями⁸³⁾ меняется, разнятся политические ставки и философские основания. Экономический либерализм — свободный рынок, невмешательство государства в производство и обмена — был больше связан с социальным консерватизмом во Франции, чем в Англии; он послужил тому, что социальное законодательство оказалось парализованным, но не оздоровил отсталых предприятий сельского хозяйства и промышленности. По ту сторону Ламанша расхождения между демократией и либерализмом, между парламентом и республикой были неизвестны. Быть может, аналогичные по своим последствиям идеи в Англии вырабатывались по словарю, свойственному утилитаристической философии, а во Франции — в терминах абстрактного рационализма с якобинским толкованием прав человека, а в иных странах — на языке Гегеля или Маркса.

Существует еще один вид связи интеллигентов с национальным коллективом: они особенно остро переживают судьбу своей родины. Немецкая интеллигенция⁸⁴⁾ вильгельмовских времен была в своем огромном большинстве верна режиму. Преподаватели университетов, занимавшие высокое место если не в денежной иерархии, то в иерархии престижа, далеко не были революционерами. За малыми исключениями они безразлично относились к вопросам режима, монархии или республики, которые страстно интересовали их французских коллег. Со-

⁸³⁾ Кроме того, идеи часто переходят от одной партии к другой. Правые партии были пацифистскими, враждебными к борьбе до последней капли крови в 1815, 1840, 1870 гг. Революционный патриотизм был показным и драчливым. Левые стали пацифистами, а правые националистами только в конце XIX века. Позиции правых и левых в иностранной политике часто меняются. Склонность к сотрудничеству с гитлеризмом существовала у правых, со сталинизмом — у левых.

⁸⁴⁾ Русский термин в тексте.

знаявая социальные проблемы, которые благодаря быстрой индустриализации в Германии ставились острее чем во Франции, они искали реформистских решений в рамках королевства и капитализма. В университетах Германии марксисты были немногочисленны; среди интеллигентов, стоявших в стороне, их было больше. По всей вероятности, писатели и художники, которые, в противоположность тому что происходило во Франции, пользовались более слабым влиянием, чем профессора, были менее преданы режиму. Особенно характерным для контраста между этими двумя странами были националистические наклонности немецких преподавателей, и левые наклонности французских.

Последовавший раскол в среде интеллигенции⁸⁵⁾ Веймарской республики произошел из-за почти эстетической враждебности к бесцветному режиму, руководимому вождями из народа и мелкой буржуазии, а главное, из-за огорчения, вызванного унижением страны. Рабочий и крестьянин уязвлены потерей независимости и изобилия, интеллигент — падением национального престижа. Интеллигент может быть безразличным к богатству, силе (но сколько сталинцев осталось бы во Франции, если бы у СССР было в десять раз меньше дивизий?), но почти никогда не бывает безразличным к национальной славе, потому что от нее частично зависит значительность его дела. Пока его родина командует самыми сильными армиями, интеллигент делает вид, что он не замечает этого; но он не может смириться с тем, что Дух Истории со всеми присущими ему силами уносится в иные небеса. Интеллигенты больше страдают от гегемонии Соединенных Штатов, чем простые смертные. Но на отношение интеллигентов к национальной судьбе влияет также и экономическое положение. Вся интеллигенция⁸⁵⁾ реагирует гораздо более страстно на базаротицу, медленность развития хозяйства, сопротивление старых поколений или иностранных хозяев; происходит это потому, что она обуреваема более высокими стремлениями, чем другие социальные группы, и имеет в своем распоряжении более широкое поле деятельности. Она искренне возмущается несправедливостью, нищетой, угнетением людей: как ей не реагировать, когда это затрагивает ее лучшие чувства?

Достаточно перечислить положения, в которых люди с дипломами чувствуют себя обиженными, чтобы понять революционную конъюнктуру XX-го века. Через десять лет после поражения Германии великая депрессия выбросила на улицу десятки тысяч кандидатов на полунинтеллигентские должности: единственным возможным выходом казалась революция. Занятие должностей в Тунисе или в Марокко французами поддерживало горечь дипломированных студентов французских университетов и влекло их к восстанию.

Там, где старые правящие классы — крупные собственники, богатые торговцы, вожди племен — оставляют за собой монополию власти и богатства, непропорциональность между тем, что обещает рационалистическая западная культура и тем, что предлагает реальность, между стремлениями дипломированных людей и их возможностями, вызывает постепенно страсти, которые обстоятельства направляют

⁸⁵⁾ Русский термин в тексте.

против колониального владычества или против реакции — к национальной или марксистской революции.

Даже индустриальные общества Запада находятся в опасности, благодаря заговору разочарованных экспертов и озлобленных литераторов. Одни в погоне за делом, другие в поисках идеи объединяются против режима, виновного в том, что он не внушает ни гордости, ни внутреннего удовлетворения, вызываемого участием в великом деле. Быть может, будущее не удовлетворит ни политехников, ни идеологов. Последние обретут относительную безопасность, воспевая власть, а первые утешатся постройкой плотин.

РАЙ ИНТЕЛЛИГЕНТОВ

Франция считается раем интеллигентов, а французские интеллигенты считаются революционерами: таковы два факта, объединение которых кажется парадоксальным.

Прогрессивный английский писатель, имя которого неизвестно членам парламента, приходит в восторг, когда, приехав в Париж, он поселяется в Сен-Жермен-де-Прэ. Он внезапно начинает интересоваться политикой, благоразумие которой у него на родине не привлекало его внимания. Диспуты во Франции проводятся с такой тонкостью, что не могут не увлечь ни одного интеллигента-профессионала. Последняя статья Жан-Поля Сартра становится политическим событием или, по крайней мере, принимается как таковое в узком, но уверенном в своей значительности кругу. Политические интересы известных писателей сталкиваются с литературными интересами государственных деятелей. Последние мечтают написать роман, а первые — стать министрами.

Нам скажут, что это поверхностное впечатление и что этот рай для туристов. Что французские литераторы, живущие своим пером, немногочисленны. Учителя, преподаватели лицеев и профессора факультетов оплачиваются весьма посредственно (но семьи университетских преподавателей, где и муж и жена работают, могут обзавестись хорошим автомобилем), ученые работают в плохо оборудованных лабораториях. Указывают на пример одного знаменитого и богатого, благодаря авторским правам, интеллигента, который все-таки служит своим пером неизвестной революции, но забывают тех, кого озлобляет контраст собственного скромного положения и доходов коммерсантов, хирургов или адвокатов.

Французские интеллигенты не менее других французов чувствительны к экономическим заботам. Некоторые воображают, что государственные издательства увеличили бы тиражи их книг и что советская власть обеспечила бы им безо всяких ограничений те возможности творчества, на которые скупится республика. По ту сторону Атлантического океана некоторые специалисты печатного слова, которых не решаешься назвать интеллигентами, имеют значительные доходы⁸⁶).

⁸⁶) Редактор „Time“ зарабатывает 30 000 долларов.

Щедрость крупных предприятий, превращающих талант писателя в ценный товар, не считаясь с духовным качеством; щедрость государства, единственного хозяина науки и искусства, — все это может внушать некоторую зависть интеллигентам слишком маленькой страны, где капиталисты и государственная казна не могут так щедро сорить деньгами.

Однако я сомневаюсь, что подобное объяснение относится к самому существенному. Разница между заработной платой квалифицированного рабочего и жалованьем университетского профессора так же велика во Франции, как и в Соединенных Штатах, быть может, даже больше. То, что благородная деятельность (научные или философские книги) приносит меньше доходов, чем низшая деятельность (журналистика), — это не только французское явление. Те, кто занимаются благородной деятельностью — ученые, философы, писатели, издающиеся малым тиражом — пользуются почти что полным престижем и полной свободой. Почему же такое большое число интеллигентов ненавидит — или выражается так, будто ненавидит — то общество, которое предоставляет им приличную жизнь, поскольку это позволяют общественные доходы, которое не препятствует их деятельности и заявляет, что произведения духа представляют высшие ценности?

Идеологическая традиция рационалистического и революционного левого крыла объясняет те формы, в которых выражается раскол между интеллигентами. Этот раскол происходит благодаря фактическому положению вещей. Большинство интеллигентов интересующихся политикой озлоблены, потому что чувствуют, что их лишили того, что им принадлежит по праву. Независимо от того, бунтари они или благоразумные, у всех этих интеллигентов создается впечатление, что они проповедуют в пустыне. Четвертая Республика, подчиненная слабавольному управлению членов парламента, не имеющих единой доктрины и терзаемая противоречивыми требованиями различных интересов, разочаровывает как государственных советников, так и пророков подрывной деятельности. Она богата отрицательными качествами, она консервативна в меняющемся мире.

Не только режим виновен в расхождении мыслей и действий. Интеллигенты кажутся более связаны с социальным порядком, когда мы думаем о парижской среде, где писатель занимает место равное или более высокое, чем политический деятель. Малокомпетентный писатель пользуется большим влиянием даже тогда, когда он сознается в том, что он, по своему же утверждению, не знает предмета; это невозможно ни в Соединенных Штатах, ни в Германии или Великобритании. Традиция салонов, в которых царствуют женщины и краснобаи, жива в век техники. Общий культурный уровень еще позволяет приятно беседовать о политике, но он не защищает от глупости и не подсказывает определенных реформ. В каком-то смысле интеллигенция⁸⁷⁾ во Франции менее нацелена на действие, чем в других местах.

В Соединенных Штатах, в Великобритании и даже в Германии между экономистами и руководителями банков и промышленности, между ними и высшими чиновниками, между серьезной прессой и университетом или администрацией все время происходит обмен идея-

⁸⁷⁾ Русский термин в тексте.

ми и людьми. Но французские предприниматели не знают экономистов и до недавнего времени были склонны их презирать — заочно. Чиновники не прислушиваются к советам профессоров, журналисты мало встречаются с теми и другими. Для благосостояния нации самое важное это обмен знаниями и опытом между университетами, редакциями, администрацией и парламентом. Политики, вожди профсоюзов, директора предприятий, профессора или журналисты не должны руководиться одной партией, влияющей на них монопольно, и не должны расходиться вследствие предрассудков или незнания. В этом отношении ни один правящий класс не организован так плохо, как французский.

Писатель не упрекает французских государственных деятелей в том, что они игнорируют уроки политической науки или экономики. Он любит упрекать американскую цивилизацию в том, что она презирает литератора или мыслителя и пользуется интеллигентами как экспертами. Зато экономист или демограф сожалеет, что члены парламента и министры обращают больше внимания на просьбы заинтересованных групп, чем на беспристрастные советы. Но в конце концов и те и другие сходятся; они не чувствуют ответственности, опьяненные критикой, зачарованные революцией, заключающейся для одних в большей продуктивности, а для других — в преобразении истории. Группа Мендес-Франса объединяет экспертов и литераторов, чиновников ревизионной комиссии и Франсуа Мориака. Может быть, участие в правительстве успокоит стремления и тех и других.

Потеря мощи, богатства и престижа встречается у всех наций Старого Света. Франция и Великобритания тоже оказались пораженными в двух мировых войнах, как и Германия, которая была дважды раздвлена. Превосходство в богатстве на душу населения, превосходство военной мощи Соединенных Штатов прибавились бы к естественному превосходству, объясняющемуся размерами государства. Но не будь двух войн XX века, Франция и Великобритания продолжали бы быть крупными мировыми силами, без труда финансирующими свой ввоз благодаря внешним капиталовложениям. В данное время, когда их территории угрожает большая континентальная империя, они с трудом существуют без внешней помощи; они чувствуют себя бесильными защищать от американской производительности производительность европейскую, которая скорее расширяется, чем сужается. Как могут европейцы простить последствия собственного безумия тому, кто им воспользовался; но нужно ли гегемонию считать удачей? Даже если бы американцы были безупречны, европейцам было бы трудно не обижаться на их развитие, являющееся как бы ответом на европейский упадок. Слава Богу, американцы не безупречны.

Естественно, что упрекают лидера. Великобританию никогда не любили, пока она преобладала в мире. Британская дипломатия вновь приобрела некоторый престиж в конце второй мировой войны, так как она больше не принимает великих решений, а ограничивается ролью критика. Она подчитывает очки, приобрела нечто вроде права вето и пользуется в переговорах с Москвой или Пекином тем же уважением, которым там пользуется сила Америка. Разница между действиями Соединенных Штатов, какими они были на самом деле, и картиной, которую рисуют себе европейцы, требует особого объяснения. В общем,

американская дипломатия соответствовала и желаниям и нежеланиям европейцев. Своей массовой поддержкой она помогла экономическому возрождению Старого Света; она ничего не предприняла, чтобы освободить страны Восточной Европы; она реагировала на северо-корейскую агрессию, но не пошла ни на риск, ни на жертвы, связанные с военной победой; она не пыталась спасти Индокитай. Ей можно поставить всего два существенных упрека, касающихся перехода 38-ой параллели (что можно еще сегодня оправдать) и непризнания пекинского правительства, хотя значительность этой ошибки не велика.

В основном, стратегия Соединенных Штатов в действиях не особенно отличалась от того, что в глубине души желает большинство европейцев, включая и интеллигентов. Откуда же эти упреки и в чем основные причины упреков? Я вижу три причины: преследуемые неотвязной мыслью о необходимости противиться коммунизму, Соединенные Штаты доходят иногда до поддержки «феодалных и реакционных» правительств (впрочем, хорошо организованная пропаганда называет «марионеткой» или «реакционером» всякого активного некоммуниста). Владея складом атомных бомб, Соединенные Штаты символически становятся ответственными за возможную войну, пугающую человечество. Господин Хрущев хвастался в Праге, что Советский Союз первый выработал водородную бомбу: эта фраза не была отмечена прессой. Однако Советский Союз не менее (быть может, более), чем Соединенные Штаты, занят выработкой ядерного оружия, хотя и говорит об этом меньше. Наконец, — и эта причина нам кажется решающей, — вашингтонское правительство упрекают в том, что оно признает разделение мира на два блока и тем самым закрепляет это разделение. А такое толкование неизбежно отодвигает европейские нации на второй план.

Раньше в Париже или Лондоне смотрели свысока на национализм интеллигентов Центральной или Восточной Европы; ему не без некоторого основания приписывали балканизацию Старого Света; но разнится ли от него теперешний национализм левых французских кругов? Так называемые великие нации так же безрассудно реагируют на свое унижение, как и так называемые маленькие нации реагировали вчера на свое внезапное воскрешение. Никакой лозунг не имеет такого успеха, как «национальная независимость», о которой говорят коммунисты. Между тем, не надо обладать исключительной проницательностью, чтобы видеть судьбу Польши или Чехословакии, ни высоким умом, чтобы сопоставить военные ресурсы Франции с нуждами европейской обороны. Французский интеллигент, отрицающий всякую коллективную организацию дипломатии или военных сил Запада, так же анахроничен, как польский интеллигент, требовавший между 1919 и 1939 г. г. для своей родины свободы дипломатических действий. Хотя последний оправдал себя слабостью двух великих держав — России и Германии до 1939 года.

Мы не защищаем Европейского Оборонительного Союза, намерения которого были лучше, чем его учреждения. Федеративное государство Шести вызывает многочисленные веские возражения. Можно представить себе разумным существование такой Европы, которую бы защищали американские силы от советского нападения, без того, чтобы был подписан определенный пакт, без того, чтобы американские вой-

ска стояли на Рейне или на Эльбе. Но интеллигенты не согласны со сложным аргументом: если Соединенные Штаты необходимы для поддержки равновесия, то Атлантический пакт представляет собой простейшую форму этой поддержки; они видят перед собой картину Европы, которая бы внешне обладала автономией действия.

Эти эмоции присущи многим. Человек с улицы знает и раздражение на слишком мощного союзника, и горечь национальной слабости, и мечты по вчерашней славе, и стремление к новому миру. Но интеллигенты должны были бы успокаивать эти эмоции, указывать на смысл постоянной солидарности. Вместо того, чтобы исполнять свое задание и быть руководителями, интеллигенты, особенно во Франции⁸⁸⁾, предпочитают изменять своей миссии, раздувать низкие чувства толпы, как бы оправдывая их. На самом деле, ссора интеллигентов с Соединенными Штатами — это ссора чисто личного характера.

В большинстве стран интеллигенты более враждебны к Америке, чем простые смертные. Некоторые тексты Жан-Поля Сартра⁸⁹⁾, написанные во время корейской войны и процесса Розенбергов, напоминают писания антисемитов против евреев. Из Соединенных Штатов делают воплощение всего ненавистного, а на этой символической реальности затем концентрируют неизмеримую ненависть, которую каждый накопил в себе в эпоху катастроф.

⁸⁸⁾ Я не говорю ни о коммунистах, ни о коммунизирующих. Коммунисты честно исполняют свой долг службы на пользу Советского Союза.

⁸⁹⁾ «В одном пункте вы выиграете, мы никому зла не желаем: мы отказываемся превращать в ненависть то презрение и отвращение, которые вы нам внушаете. Но вам не удастся заставить нас принять казнь Розенбергов за «грустный инцидент» или за юридическую ошибку. Это легальный суд Линча, заливающий кровью целый народ, раз и навсегда блестяще доказывает провал атлантического пакта и вашу неспособность быть лидерами западного мира.

«... Но если вы предадитесь вашему преступному безумию, то это самое безумие может завтра бросить нас всех в перемежку в истребительную войну. В Европе всем было ясно: в зависимости от того, приговорите ли вы к жизни или к смерти Розенбергов, вы подготовите мир или мировую войну.

«... Что это за страна, вожди которой вынуждены совершать ритуальные убийства, чтобы им простили то, что они прекратили войну?

«... И не возражайте, что дело касается только нескольких возбужденных и неотвественных элементов: это они хозяева вашей страны, так как им уступило ваше правительство. Помните ли вы Нюрнберг и вашу теорию коллективной ответственности? Так вот! Сегодня ее нужно применить к вам. Вы коллективно ответственны за смерть Розенбергов; одни за то, что они вызвали это убийство, другие за то, что позволили его совершить; вы допустили, чтобы Соединенные Штаты стали колыбелью нового фашизма; вы напрасно будете отвечать, что одно это убийство несравнимо с гитлеровскими гекатомбами: фашизм определяется не количеством его жертв, а способом, каким он их убивает.

«... Убив Розенбергов, вы просто пытались человеческой жертвой остановить научный прогресс. Магия, охота за ведьмами, костры, жертвоприношения: вот ваша страна, она больна от страха. Вы боитесь всего: советов, китайцев, европейцев; вы боитесь друг друга, вы боитесь тени вашей собственной бомбы.

«... А пока не удивляйтесь, если мы кричим по всей Европе: осторожно, Америка взбесилась! Порвем всякую связь с ней, иначе она укусит нас и мы тоже взбесимся».

«Взбесившиеся животные» в «Освобождении» (Liberation) 22 июня 1953 г.

Тут есть все, что встречается в антисемитских текстах, даже обвинение в ритуальном убийстве.

Почти единодушная реакция французских интеллигентов на дело Розенбергов нам кажется характерной и странной по сей день. После государственных трибуналов оккупационного времени и правосудия Освобождения, за французами нельзя больше признавать острого чувства правосудия. Великодушные интеллигенты из «*Temps modernes*» или «*Esprit*» не были взволнованы эксцессами чисток; они скорее упрекали временное правительство в недостаточно энергичной репрессии. К процессам советского типа они отнеслись с понимающей симпатией. Почему же в деле Розенбергов они делали вид, что чувствуют такое же возмущение, какое искренне чувствовали их деды во времена дела Дрейфуса? Эти деды, которые ненавидели государственные интересы и «военное правосудие», не решились бы участвовать в такой кампании⁹⁰). Следовало бы пожалеть о том, что судья вынес смертный приговор за содеянное в тот момент, когда Советский Союз был еще дружественной страной, а не врагом. Но несомненно, что легальный приговор суда мог бы вызвать сожаление или осуждение (если согласиться с приговором присяжных), а не яркое обличение моралиста. Виновость Розенбергов была, осторожно выражаясь, весьма вероятна. Коммунистическая пропаганда занялась этим делом через несколько месяцев после процесса, когда вожди партии убедились, что активисты, обвиненные в атомном шпионаже, будут до конца отрицать действия, которые каждому доброму сталинцу кажутся законными. Пропаганде удалось преобразить приговор в юридическую ошибку; строгость приговора, вызванная атмосферой во время процесса, не учитывала мнений, существовавших во время совершения преступления. Успех кампании во Франции объясняется не столько заботой о справедливости или действительностью психотехники, сколько удовольствием обвинить Соединенные Штаты.

Этот парадокс еще более выявляется, если подумать, что ценности, о которых говорят Соединенные Штаты, почти не отличаются от тех, которые проповедают их критики. Низкий жизненный уровень рабочих, экономическая эксплуатация и политическое угнетение — таковы пороки социального порядка, которые обличает левая интеллигенция⁹¹); она им противопоставляет повышение жизненного уровня, ослабление классового различия, расширение индивидуальных и профсоюзных свобод. А официальная идеология по ту сторону Атлантического океана полна этими идеалами, и защитники *american way of life* могут не хвастаясь утверждать, что их страна пожалуй ближе подошла к цели, чем любая другая.

Обижаются ли европейские интеллигенты на Соединенные Штаты за общий успех или за частичные неудачи? Вслух они их упрекают главным образом в противоречиях между идеей и реальностью, любимым символом выставляется судьба черного меньшинства. Однако, несмотря на глубоко укоренившийся расовый предрассудок, дискриминации ослабевают, жизненные условия черных повышаются. Можно понять борьбу, которая происходит в американской душе между прин-

⁹⁰) В Великобритании, где сохранилось чувство правосудия, коммунистическая кампания в пользу Розенбергов провалилась.

⁹¹) Русский термин в тексте.

ципом равенства людей и препятствиями, возводимыми цветом кожи. На самом деле европейские левые особенно обижаются на Соединенные Штаты за то, что они достигли успеха, не следуя методам любимой этими интеллигентами идеологии. Благополучие, мощь, стремление к равенству жизненных условий, все эти результаты были достигнуты благодаря частной инициативе, благодаря конкуренции, а не государственному вмешательству, иными словами — капитализмом, который должен быть презираем всяким истинным интеллигентом. Так как американский успех эмпиричен, то американское общество не воплощает в себе исторической идеи. Простые и скромные идеи, которые оно продолжает культивировать, давно вышли из моды в Старом Свете. Соединенные Штаты оптимистичны подобно Европе XVIII века: они верят в возможность улучшения судьбы человечества, они не доверяют власти, которая портит людей, они в глубине души враждебны к претензиям некоторых на более глубокое знание рецепта спасения, чем знание *common man*. Там нет места ни для пролетариата, ни для революции, там знают только экономическую экспансию, профсоюзы и конституцию.

Советский Союз закабалляет, просеивает интеллигентов: по крайней мере он их принимает всерьез. Интеллигенты дали советскому режиму грандиозную и двусмысленную доктрину, из которой бюрократы вывели государственную религию. Еще сегодня, обсуждая классовые конфликты или производственные отношения, советские интеллигенты наслаждаются одновременно удовольствием богословского спора, удовлетворением от строгой научной дискуссии и очарованием мечтаний о всемирной истории. Американская реальность никогда не дает таких высококачественных удовольствий. Соединенные Штаты недостаточно преследуют своих интеллигентов, чтобы в свою очередь излучить смутное очарование террора; они дают некоторым из интеллигентов временную славу, подобную славе звезд экрана или игроков в бесс-болл; большинство интеллигентов остаются в тени. Но интеллигенция легче переносит преследование, чем безразличие.

К этому безразличию прибавляется более основательный упрек: цена экономического успеха часто кажется слишком высокой. Рабство индустриальной цивилизации, грубость человеческих взаимоотношений, власть капитала, пуританские черты американского общества — все это возмущает европейского интеллигента. Реальностям или, быть может, нелюбимым словам вменяют неизбежную или временную стоимость продвижения масс. Digests или произведения Голливуда сравнивают с величайшими произведениями, доступными только избранным, а не с пищей, которую когда-то предоставляли простому человеку. Уничтожение частной собственности на орудия производства не изменит вульгарности фильмов или радиопередач.

И тут опять таки интеллигенты более враждебны к Америке, чем широкая публика, которая в Англии с трудом обходится без американских фильмов. Но почему интеллигенты не признают сами себе, что они менее заинтересованы в жизненном уровне рабочего, чем в изысканности искусств? Почему они пользуются демократическим жаргоном, пытаясь защитить истинно аристократические ценности от наплыва серых людей и серийных товаров?

АД ИНТЕЛЛИГЕНТОВ

Диалог между французскими и американскими интеллигентами тем более труден, что положение американцев во многих отношениях противоположно.

Количество людей с дипломами и профессиональных литераторов как абсолютно, так и относительно выше в США, чем во Франции, так как оно возрастает с экономическим прогрессом. Но характерным представителем интеллигенции теперь является не литератор⁹²⁾, а эксперт, будь то социолог или экономист. Технику оказывают больше доверия, чем образованному человеку. Разделение труда даже в области литературы распространяется все больше. Разнится ли престиж трудящихся, не работающих ручным трудом, в Америке от престижа в Великобритании? Трудно ответить на этот вопрос с уверенностью, не проведя точного исследования. Иерархия, которую во всех случаях трудно установить, по всей вероятности меняется в одной и той же стране в зависимости от группы. В каждой профессиональной среде существуют свои отношения. Существует однако простой, массивный факт: писатель или философ, стоящий в первых рядах во Франции, не оставляет своего отпечатка ни в мыслях, ни в языке американской интеллигенции.

Если левое побережье Сены в Париже это рай писателей, то Соединенные Штаты могут считаться их адом. И однако формула «возвращение в Америку» может быть эпитафией истории американской интеллигенции в течение последних пятнадцати лет. Франция превозносит своих интеллигентов, потому что они ее поносят; Соединенные Штаты безжалостны к своим интеллигентам, которые их воспевают.

В обоих случаях повод, по-видимому, тот же: французы реагируют на свое унижение, американцы — на величие нации; и те и другие остаются глубоко националистичными, мечтая о реванше и славе. Как ни странно, в том же 1953 году в Соединенных Штатах разразился спор относительно Egghead⁹³⁾, и в Partisan Review появилось исследование «Америка и интеллигенты». Одна сторона — профессионалы мысли — обращались к «велико-американскому» патриотизму, а другая показывала до сих пор скрытую враждебность значительной части публичного мнения к людям идеи.

Происхождение слова Egghead неизвестно — его приписывают нескольким авторам — но оно имело огромный успех. В несколько дней оно облетело Соединенные Штаты: газеты и журналы публиковали статьи за или против Eggheads. Полемика была связана с избирательной кампанией; окружение А. Стивенсона считалось состоящим из характерных представителей этой категории и республиканцы пытались скомпрометировать демократического кандидата, отождествляя его с яйцеголовыми. Так как полемика велась журналистами и писателями, которые в социологическом смысле были такими же интеллигентами, как и те, кого они обличали, то нужно уточнить, какие чер-

⁹²⁾ Среди литераторов главную роль играют профессора, а не писатели: как раз обратное тому, что происходит во Франции при обсуждении идей.

⁹³⁾ Egghead — яйцеголовый.

ты писателя или профессора делают из него презренную «яичную голову».

Это определение можно, пожалуй, позаимствовать у Луиса Бромфильда, одного из интеллигентов среди анти-интеллигентов. «Личность с мнимо интеллигентскими претензиями, часто профессор или протеже профессора, в основном поверхностный. Излишне эмоционален и женственен в своих реакциях на любую проблему. Высокомерен и презрителен, полон тщеславия и презрения к опыту более здравых и более талантливых людей. Бестолков в своей манере мыслить, погружен в смесь сентиментальности и ярого евангелизма. Сторонник-доктринер социализма и средне-европейского либерализма, в противоположность греко-франко-американским идеям демократии и либерализма. Подчинен старомодной моральной философии Ницше, которая часто приводит его к тюрьме и позору. Самодовольный педант, готовый рассматривать любой вопрос со всех сторон, вплоть до полного опустошения своего мозга. Кровоточащее, но анемичное сердце»⁹⁴).

Это определение объединяет все классические обвинения, предъявляемые интеллигентам: интеллигенты утверждают, что они более компетентны, чем простые люди, но на самом деле они менее компетентны; им не достает мужественности, решимости; рассматривая проблемы со всех сторон, они не схватывают самого существенного и не способны принять решение (намек на гомосексуальность является крайней формой аргумента). Наконец, средне-европейский социализм и доктринерские черты характеризуют идеологию «яичной головы»; ей нравится смягченный марксизм и она подготавливает дорогу коммунизму.

Эта полемика не ограничивается Соединенными Штатами. «Пустомели», «болтуны», «не знающие реальности и практики» были всегда ругательствами, с которыми обращался отец буржуазного семейства к своему сынку, выражавшему желание заняться искусством или литературой; эти эпитеты политический деятель, директор предприятия произносил если не вслух, то про себя, когда профессор или моралист упрекали его в грубости.

Американская полемика представляет однако некоторые особенности. Деятельный человек в современной Франции питает слишком много уважения к интеллектуальным ценностям, он не рискнет выразить вслух подобное суждение. О литераторах по-прежнему думают в нелестных выражениях, но не осмеливаются этого говорить вслух. Намеки на отсутствие мужественности или гомосексуальность, которые известны по эту сторону океана, не принимаются всерьез, считаются грубыми, глупыми словами. Еще более характерной для американской атмосферы является связь упреков к интеллигентам как таковым и упреков к тем, кого мы называем левыми интеллигентами, а Л. Бромфильд называет «либералами».

Последние являются изменниками единственной истинной американской традиции, либерализма «Вольтера и энциклопедистов, таких людей, как Джефферсон, Франклин и Монро, Линкольн и Гровер, Кливленд и Вудро Вильсон». Фальшивые либералы происходят от психопата по имени Карл Маркс, они несут не идеал, а обеспечение,

⁹⁴) The freeman, 1 декабря 1952.

они покупают голоса с помощью подачек и пенсий «в том стиле, который ускорил крушение Рима, Константинополя и Великобритании». Они — планировщики; они верят в свою мудрость, а не в мудрость человека с улицы; они не коммунисты, но они мыслят бестолково и позволяют сталинцам надувать себя в Ялте и Потсдаме.

Маккартизм тоже обвиняет левого интеллигента, не американца, позорного ученика Карла Маркса, виновного в том, что он ввел средне-европейский социализм в страну Джефферсона и Линкольна. Он также объединяет в одно осуждения плановости и гомосексуальности; дает понять, что доктринер welfare state участвует в низостях интернационального коммунизма потому ли, что он разделяет эти лживые теории, потому ли, что он помогает их действию, или потому, что он сознательно или бессознательно с ним заодно.

Этот анти-либеральный конформизм является слепком с других времен. В тридцатых годах большинство либералов думали, что действительно существует преемственность между противниками трестов, сторонниками социальных законов и большевиками. Они защищали и пропагандировали это единство левого крыла или прогрессизма в течение второй мировой войны; они делали больше, чем это было необходимо для союза с СССР; они как можно дольше отказывались верить в виновность Алджера Хисса. Люди равнодушные к прелестям коммунизма двадцать лет тому назад набирались из среды буржуазии и интеллигентов, а не среди рабочих и угнетенных меньшинств⁸⁵).

Больше того. Европейский интеллигент, путешествующий по Соединенным Штатам, более или менее повсюду встречает анти-маккартийское приспособленчество, а не всемогущество маккартизма. Все против знаменитого сенатора (единственное значительное исключение представляет собой Джемс Бернгам, который отказался от прямого осуждения сенатора и был поэтому исключен из коллектива Partisan Review). К несчастью, все чувствуют себя меньшинством со смутными угрызениями совести из-за старой связи с коммунизмом⁸⁶) и страхом перед общественным мнением, которое одинаково враждебно относится к красным, к розовым, к бледно-розовым, к коммунистам, социалистам и new dealers.

Тот, кто в американском университете не является анти-маккартистом, строго осуждается своими коллегами (хотя ему из-за этого не приходится бояться за свою карьеру). И однако эти же профессора иногда не решаются публично выступить на некоторые темы, например на тему о китайском коммунизме. Приспособленчество анти-маккартистов странно сплетается с антикоммунистическим приспособленчеством. Разоблачая способы действия сенатора, прибавляют, что коммунист не менее ненавистен, чем сенатор. Только что объединившись против маккартизма, интеллектуальная общественность внезапно по-

⁸⁵) Безуспешность коммунистической пропаганды среди американских негров — очень интересный феномен. Негр хочет быть 100%-ным американцем. Он призывает американский идеал в американскую реальность: он не избирает революцию.

⁸⁶) Так как эта ошибка была скорее ошибкой интеллигентов, чем common man'a, последний видит в этом подтверждение превосходства своего здравого смысла над интеллигентностью.

чувствует угрозу самой себе: часть американского народа, не доверяющая экспертам, иностранцам и идеям и узнающая себя в прессе Херста или Маккармика, считает, что ей изменили ее вчерашние руководители; она может обратить свой гнев против профессоров, писателей, художников, ответственных как за отдачу Центральной Европы во власть русских армий, так и за поражение Чан Кай-шека и социализацию медицины.

Тем не менее интеллигенты, обеспокоенные волной анти-интеллектуализма, примирились с Соединенными Штатами. Старый Свет потерял свой престиж: грубость и вульгарность некоторых сторон американской жизни ничего не значит по сравнению с концентрационными лагерями гитлеровской Германии или Советского Союза. Благополучие экономики позволяет достигнуть целей, о которых проповедают европейские левые. Эксперты всего мира приезжают в Детройт, чтобы разгадать тайну его богатства. Во имя каких европейских ценностей восставать против американской реальности? Во имя шарма и культуры, которую разрушают машины и загрязняют дым? Тоска по допромышленным порядкам, действительно, заставляет некоторых литераторов предпочитать жизнь во Франции американскому образу жизни — «american way of life». Но какова цена большинства этих исключительных достижений? Не готовы ли европейцы тоже принести их в жертву производительности, проглотить какую угодно дозу американизма, чтобы повысить жизненный уровень масс? Если глядеть из Соединенных Штатов, то социалистическая стройка — ускоренная индустриализация под руководством коммунистической партии, единственного хозяина государства, — кажется не ослабляет, а увеличивает недостатки технической цивилизации.

Некоторые интеллигенты остаются верны традиции не-приспособленчества и одновременно нападают на Digests, на тресты, на Маккарти, на капитализм. Это неприспособленчество идет об руку с известным приспособленчеством, так как оно повторяет темы вчерашнего активного либерализма. В данное время американские интеллигенты ищут врагов. Они борются с коммунизмом и утверждают, что он встречается повсюду; другие борются с Маккарти; и третьи, наконец, борются одновременно и с коммунизмом и с Маккарти, не говоря уже о тех, которые вынуждены обличать анти-антикоммунизм: все это крестовосцы, преследующие подлежащего уничтожению неверного.

* *

*

Великобритания — это, по всей вероятности, та страна на Западе, которая благоразумнее всего обращалась со своими интеллигентами. Как некогда Д. В. Бродяга сказал относительно Алена: «We British don't take our intellectuals so seriously» — мы, британцы, не принимаем наших интеллигентов слишком всерьез. Таким образом избегается как воинственный анти-интеллектуализм, в который иногда выливается американский прагматизм, так и восхищение, которое во Франции одинаково относится и к романам и к политическим мнениям писателей

и придает им преувеличенное чувство собственного значения, склоняет их к резким суждениям и ядовитым статьям. Я согласен с тем, что интеллигенты являются клерками XX века: государственные дела все больше и больше становятся делом экспертов, а ошибки последних не оправдываются похвалой глупости.

Правда, до второй мировой войны набор public schools и университетов в Англии был таков, что правящий класс легко справлялся с новоприбывшими. Раскольники выявлялись на фоне социального приспособленчества, не потрясая его. Столкновения интересов между привилегированными не ставили под вопрос ни конституцию, ни политические методы. Интеллигенты вырабатывали доктрины, вдохновлявшие реформы, не внушая толпам тоску по блистательным катастрофам. Реформы последних десятилетий значительно увеличили число студентов и расширили слой общества, из которого они набираются. Левый интеллигент, систематически становящийся на сторону будущего против прошлого, чувствующий некоторую солидарность со всеми революционерами на свете, он царит лишь в определенной части прессы, но он еще не порвал со своей родиной. Он так же привязан к Вестминстеру и парламенту, как и консерваторы. Он предоставляет внешнему миру блага народного фронта, от которого его защищает слабость английской коммунистической партии. Он охотно скажет, что в каждой стране сила коммунизма обратно пропорциональна заслугам режима.

Таким образом он отдает должное превосходству британского режима, признает законность коммунизма во Франции, в Италии или в Китае и объявит себя таким же добрым националистом, как и интернационалистом. Француз же мечтает о примирении посредством обращения во французскую веру всех не-французов. Англичанин охотно поверил бы, что вне счастливых островов никто не бывает полностью достоин играть в крикет и в парламентские дебаты. Гордая скромность, которая быть может будет вознаграждена: просвещенные и освобожденные британцами народы в Индии и Азии, на Золотом Берегу Африки будут продолжать игру в крикет и в парламентские дебаты.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Интеллигенты и их идеологии

Политические идеологии всегда более или менее удачно смешивают фактические предложения с суждениями о ценностях. Они выражают особую точку зрения на мир и на волю обращенную к будущему. Они не подпадают прямо под оценку истинного и ложного, они не принадлежат к порядку вкуса и цвета. Философия конечного и иерархия предпочтений вызывают диалог, а не доказательства или опровержения; анализ современных фактов и предсказание будущих совершенствуется в ходе истории и превращается в наше знание о них. Опыт постепенно вносит поправки в доктринерские построения.

Общая атмосфера на Западе после второй мировой войны стала консервативной. Если бы Советский Союз не казался угрожающим, если бы Китай, прогнав представителей Запада, не вызвал бы призрак желтого империализма, если бы атомная бомба не рождала беспокойства, то европейцы и американцы наслаждались бы вновь обретенным миром; первые — гордясь единственным в своем роде благополучием; вторые — довольствуясь уютной мудростью после совершения многих глупостей. Но всем известно соперничество между двумя мирами. Революция поднимает народы не входящие в западное меньшинство. Маркс заменяет Конфуция и товарищи Ганди мечтают построить огромные заводы.

Осенью 1954 года, впервые после 1939, или вернее — с 1931 года, замолкли пушки, но не пулеметы: еще рано закрывать ворота храма Януса.

ВАЖНЕЙШИЕ ФАКТЫ

На Западе ссора капитализма с социализмом начинает терять свою страстность. Если Советский Союз отождествлять с социализмом, то становится ясным, что если он и не обязан принимать наследие капитализма, то все-таки должен заботиться о развитии производственных сил. Ничто не указывает на то, что социализм всюду должен следовать за режимом частной собственности. Идея параллелизма между фазами развития и чередованием режимов отрицается событиями.

Так называемые социалистические общества в измененной форме сталкиваются с теми же необходимостями, которые свойственны всякой современной системе. И здесь, и там «кадры решают все». Советские директора тоже получают эквивалент капиталистического «профита». Поощрение ударничества, зарплаты и премии напоминают вчерашние действия западного капитализма. До сих пор, благодаря бедности и решению быстро поднять мощь страны, планировщики не интересовались ни продуктивностью различных капиталовложений, ни желаниями потребителей. Но скоро они познакомятся с опасностью отсутствия сбыта и требованиями экономических расчетов.

Сомнение в государственных учреждениях есть второй важный признак нашего века. До 1914 года левые во что бы то ни стало защищали и проповедывали свободы, а остальные пытались им подражать: это были свобода печати, всеобщего голосования и совещательные ассамблеи. Парламент казался шедевром Европы, который мечтали скопировать русские кадеты и младотурки.

Но большая часть европейских парламентских режимов провалилась в промежутке между двумя войнами. Советский Союз доказал, что в многочисленности партий и в критике правительства не было той таинственной силы, которую мечтали похитить азиатские общества у победителей. Кризисы, парализовавшие действия демократий в Южной Америке, на Ближнем Востоке и в Восточной Европе вызвали сомнения в возможности импорта британских или американских обычаев. Представительственная система, законченным примером которой является Вестминстер и Капитолий, дает право профессиональным группировкам, профсоюзам, духовным братствам и индивидуумам защищать свои интересы, ссориться до и во время действия. Она требует персонала, умеющего сохранять уверенность в спорах; она требует знакомого свое единство и в случае необходимости готового на жертвы правящего класса. Ей опасны излишняя горячность в спорах (в амфитеатрах балканских парламентов иной раз раздавались pistolетные выстрелы), слепой консерватизм привилегированных и слабость средних классов.

Выбор между политическими свободами и экономическим прессом, между парламентом и драками, между либеральными левыми и социалистическими левыми, — это ложный выбор, типичный для Запада. Он может при некоторых обстоятельствах казаться неизбежным. Прогрессивное не-капиталистическое движение в первые ряды великих держав выражается формулой «западничество без свободы» или «западничество против Запада».

Германия, установленная между обличениями капитализма западным интеллигентом XIX века и страстями интеллигентов Африки и Азии, является третьим важным фактом нашего времени. Марксистская доктрина, как в своих ошибках, так, тем более, в частичной своей справедливости, сходится с представлением о том мире, о котором склонен мечтать образованный азиат. Большие коммерческие или промышленные общества, обосновавшиеся на Малайском архипелаге, в Гонконге, в Индии больше похожи на тот капитализм, который наблюдал Маркс, чем на промышленность Детройта, Кавентри или Бийанкура. Что сущностью Запада является погоня за наживой, что религиозные миссии и христианские верования суть камуфляж циничных интере-

сов, что став жертвой своего материализма, Запад растерзает сам себя в империалистических войнах — такая интерпретация пристрастна, неполна и несправедлива, — однако она убеждает народы, восстающие против иностранных господ.

Присоединяясь к этой идеологии, азиатский интеллигент меняет значение того, что он собирается совершить. Японские реформаторы эры Мейджи составили конституцию, потому что она, казалось, как и железные дороги, телеграф, начальное образование, принадлежала к интеллектуальной и социальной системе, благодаря которой Европа как будто возвышалась над остальным миром. Подражая русским формам индустриального общества, нация, которая вчера была унижена Францией или Великобританией, а сегодня восстала против них, создает себе иллюзию независимости от Запада и даже превосходства над ним в историческом пути.

Неизбежно — и это четвертый важный факт конъюнктуры — великому расколу между советским лагерем и Западом не придают одинакового значения в Лондоне и Бомбее, в Вашингтоне и Токио. Советский режим, уничтожающий свободу дискуссии между партиями, между членами парламента, интеллигентами, иногда даже между учеными, кажется европейцам и американцам страшным и непонятым. Но так как он несет с собой концентрацию миллионов людей в городах, гигантские заводы, культ изобилия и комфорта, обещание счастья, то с точки зрения азиатов он кажется носителем тех же добродетелей и тех же пороков, что и западный режим (то, что ему приписывают больше добродетелей или больше пороков, роли не играет).

Американцы любят воображать, что Россия угрожает свободным народам, а что они их защищают. Азиаты хотят верить, что спор между Соединенными Штатами и Советским Союзом их не касается и что как мораль, так и благоприятные обстоятельства приказывают им быть нейтральными. Европейцы согласились бы с мнением азиатов, но русские армии, стоящие в двухстах километрах от Рейна, вынуждают их смотреть здраво на вещи. Японцы, китайцы или индусы не могут не ненавидеть западный империализм, побежденный в Азии, но не в Африке; но им так же ненавистен и возможный империализм русского или китайского коммунизма. Европейцы не могут не учитывать, что Советский Союз еще беден, что Соединенные Штаты уже богаты; что владычество СССР навязывает довольно примитивную технику индустриализации, а владычество последних выражается главным образом в раздаче долларов.

Идеологические споры меняются в зависимости от страны, от того, какой нюанс обстановки подчеркивается или затушевывается, от точки зрения, от традиции мышления. Иногда споры касаются таких проблем, которые действительно должны быть решены нациями; иногда в спорах искажаются или преобразуются эти проблемы, чтобы втиснуть их в схемы претендующие на универсальность.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ДЕБАТЫ

В Великобритании идет по существу технический, а не идеологический спор, потому что там придают важность бухгалтерии, а не про-

тиворечивости ценностей. Не надо быть экономистом по профессии, чтобы ссориться, а не драться из-за дарового медицинского обслуживания, устройства налоговой системы или статута сталелитейных заводов.

В Великобритании однако существует та же гамма мнений, та же галерея интеллигентов, как и в остальной Европе. Главная разница заключается в том, что на континенте спрашивают о том, что нужно делать, а в Англии — кого нужно выбирать в парламент. Редакторы «New Statesman and Nation» приходят в восторг при мысли о сотрудничестве социалистов с коммунистами, — но только во Франции.

Если остальной мир был бы так же благоразумен, как и Англия, великие споры оказались бы парализованными скукой. К счастью, американские сенаторы, французские интеллигенты и советские комиссары будут и впредь поставлять неисчерпаемые темы для споров.

Американский спор по стилю совсем не похож на британский, хотя фактически и аналогичен ему. Соединенные Штаты не знают идеологических конфликтов в французском стиле; интеллигенты там не связаны с доктринами или с антагонистическими классами; они не знают таких антитезисов, как Старая Франция и Франция современная, католичество и свободомыслие, капитал и социализм.

Британские интеллигенты, несмотря на то, что при данном режиме они не видят необходимости выбирать другой, все же видят возможность идеологического спора. Англичанам, несмотря на две мировых войны, удалось избежать, или подавить враждебность к правящему классу, социальную зависть, презрение к иерархии. Но ничто не гарантирует, что британское общество сможет постоянно избегать тех терзаний, которым подвержены другие общества на материке.

По ту сторону Атлантического океана мы не встречаем тех классов и традиций, которые придают смысл европейским спорам. Аристократия и аристократический образ жизни там были безжалостно уничтожены во время войны между Северными и Южными Штатами. Оптимистическая философия века Просвещения, равные возможности для всех, стремление к овладению природой неотделимы от американского представления о их истории и о их судьбе. Религиозность, склонность к морализированию, множественность вероисповеданий и сект не дали возможности развиться трениям между клерками и интеллигентами, которые сыграли такую роль в современной Европе. Национализм не разжигался в борьбе против наследственного врага или в бунте против чужеземного владычества.

Доктрина равенства не была воинственной, так как она не сталкивалась ни с аристократией, ни с Церковью. Консерватизм в английском стиле не находил человеческих взаимоотношений или учреждений, нуждающихся в его защите от давления масс, духа свободной критики или техники. Традиционализм, консерватизм и либерализм сливались, так как долгом всех было поддержание традиций свободы. Подлинной американской задачей было примирение идеи с действительным порядком вещей, — но не изменяя идеям и не принося в жертву действительности. Американцы действовали в стиле британских консерваторов, но пользовались иногда языком французских философов.

Соединенные Штаты начали свое историческое существование под влиянием британских фрондерских доктрин и идей века Просвещения; они не знали сильного социалистического движения: быстрота экономического развития, свобода инициативы для самых энергичных, постоянное обновление лумпен-пролетариата иммигрантами и неграми, распыленность масс благодаря множеству национальностей, — все это не позволяло сформироваться партии подобной немецким социал-демократам или английской Labour party. Не было соответствия между конфликтами интересов и идеологическими спорами, как это было в Европе.

Общество, а не государство обязано вводить новоприбывших в коллектив. Тот, кто становится в оппозицию к режиму, тот лишается гражданства, к которому стремятся все. Социалисты всегда были подозрительными, потому что их теории казались заимствованными откуда-то извне, главное, — из Европы, деспотизм, безобразия и пороки, которой осуждались. Национализм походил скорее на горделивое убеждение в единственной в своем роде ценности — American way of life⁹⁷), чем на коллективное стремление к увеличению мощи Штатов.

Формирование партий, происходившее как из местных, так и из социальных интересов, не позволяло называть партии левой и правой. Была ли левой партия, желавшая освобождения рабов, а правой партия, защищавшая штаты от федеральной власти? Партия Линкольна от того, что она имела в числе своих союзников промышленников и банкиров восточных штатов, не становилась от этого ни левой, ни правой.

Антитезис, быть может, приобрел кое-какое значение в течение последних лет вследствие кризиса и New Deal. В городах, за исключением юга, демократическая партия стала партией национальных меньшинств, большинства рабочих и негров. Высшее общество, банковая и деловая среда остались на стороне республиканцев. Враждебное отношение к трестам на Уолл стрите, проведение социальных законов, упорядочение конкуренции, поддержка профсоюзов сплетались в тридцатых годах в программах и в практике демократов. Большинство перемен, происшедших во время президентства Рузвельта, необратимы; их существенным результатом было исключительное изобилие 1941-1954 г. г., но государственные мероприятия сыграли тут только частичную роль.

Этот американский «либерализм» был более, чем когда бы то ни было, похож на либерализм европейских левых, так как он содержал смягченные и американизированные элементы социализма (скорее, лейборизма, чем доктринерского социализма). В этом заключается его уязвимость. Реформы New Deal шли в направлении участия государства в хозяйственном управлении и, следовательно, изменяли американским традициям.

Но сегодняшние конфликты экономического порядка в Соединенных Штатах тоже технического, а не идеологического порядка. Республиканцы, принципиально враждебные экспансии федерального государства и увеличению национальных расходов, значительно урезали только расходы на оборону. Они не коснулись социальных законов

⁹⁷) Американский образ жизни.

и даже некоторые улучшили, они с неохотой создали скромную программу государственного строительства. Они не любят режим, за который они ответственны; точно также и английские консерваторы сожалеют о существовании бесплатной медицинской помощи и об огромных налогах на наследство. Ни те, ни другие не в состоянии обратить вспять эволюцию. В Великобритании дельцы и интеллигенты не обсуждают совершившихся фактов. В Соединенных Штатах часто выражаются так, как будто социальная медицина является первым этапом социализма, а социализм, в свою очередь, трудно отличим от коммунизма, как будто сущности американизма угрожают налоговые махинации или увеличение числа государственных чиновников.

Ни конфликты между привезенными из Европы идеологиями, ни споры о формах идеальных режимов не есть чисто американское явление. Зато попытка подчеркнуть существенные черты американской экономики в сравнении с европейской, американской цивилизации перед лицом советского вызова понемногу начинают преобладать над традиционными американскими спорами.

Чем американский капитализм отличается от британского, немецкого или французского? Каким образом действительно функционирует конкуренция? Какая степень концентрации экономических сил способствует или препятствует техническому прогрессу? Либералы стали на сторону больших промышленных корпораций (Давид Лилиенталь). Экономисты (Дж. К. Галбрейт) выработали теорию хозяйственной конкуренции, применяя политическую теорию равновесия сил. Стоящая в стороне часть американской интеллигенции⁹⁸⁾, не занимающаяся обличением «всепоглощающего социализма» и стоящая в стороне от республиканцев, мечтающих об обществе свободных индивидуумов, и от доктринеров, настаивающих на необходимости свободного образования цен без вмешательства государства, старается осознать своеобразный исторический опыт своей родины.

Мировое соперничество с Советским Союзом принуждает американцев серьезно продумать многое. Враг опирается на идеологию: на какие идеи ссылаются Соединенные Штаты? Пропаганда не смогла дать ответа на этот вопрос. Американский успех не поддается попыткам выражения в систематической форме. Пролетариат, перманентная революция, бесклассовое общество; эти священные лозунги «Голос Америки» пытается вырвать у коммунизма, но не убеждает слушателей. Коммунистическая революция может быть перенесена на другую почву, потому что она есть дело партии и насилия, а американская революция — нет, потому что она подразумевает деятельность предпринимателей, многочисленных частных группировок, инициативу граждан.

Споры о иностранной политике — это другой аспект американского сознания. На низшем уровне обмениваются аргументами или ругательствами на те же темы, что и в Европе: какую часть бюджета отвести на военную подготовку, а какую на экономическую помощь? Признать или нет правительство Мао Тзе-дуна? Несмотря на то, что эти вопросы не имеют никакого отношения к толкованию сталинизма или интенсивности антикоммунизма, тут действует закон «страст-

⁹⁸⁾ Русский термин в тексте.

ной амальгамы»: те же люди склонны объяснять тоталитаризм ускоренной индустриализацией, советовать, чтобы пункт IV был распространен на всю планету, убеждать в пользу признания Мао Тзе-дуна, разоблачать МакКарти и маккартизм, так что они становятся подозрительными в глазах другой школы, желающей экономить копейки на налогоплательщика, колеблющейся между изоляционизмом и ненавистью к китайскому коммунизму и никогда не удовлетворяющейся предпринятыми мерами предосторожности.

Пожалуй самый знаменитый из этих страстных дебатов последовал за отзывом МакАртура. Возможно, что он отметил этап политического воспитания. Соединенные Штаты впервые столкнулись с тем положением, в котором европейские страны находились веками: они сосуществуют с врагом, угрозу которого они чувствуют ежечасно. Несмотря на протесты моралистов, готовых на крестовый поход, и военных, заявлявших, что не может быть суррогата победы, — президент и государственный секретарь Соединенных Штатов согласились на компромисс в Корее, моральное значение и дипломатические последствия которого были одинаково значительными.

Отказ от победы порывал со стратегией обеих мировых войн: он означал известную склонность к реализму. С агрессором договаривались, вместо того, чтобы его наказать. Намеренно изолированные от волнений мировой политики прошлого века, Соединенные Штаты могли посвятить свои силы работе на своей территории, не интересуясь своим положением среди наций всего мира. Великая республика осознала одновременно и свою мощь и границы своей мощи. Америка увидела свою особенность после того, как оказалась вынужденной играть мировую роль. Результатом этого открытия самой себя может оказаться плюралистическая и эмпирическая философия международной политики.

Темой главного спора французских интеллигентов тоже является коммунизм, но в совершенно ином стиле. Несмотря на то, что во Франции существует большая коммунистическая партия, интеллигент-сталинцы не ведут настоящего спора со своими коллегами не-коммунистами. Физики, химики, врачи с коммунистическими наклонностями не имеют ни своих собственных лабораторий, ни своих методов работы; только из партийных журналов они знают диалектический материализм⁹⁹). Специалисты гуманитарных наук, за несколькими исключениями, тоже им не интересуются. Что же касается тех профессоров Сорбонны, которые, не будучи членами партии, подписывают петиции против вооружения Германии или бактериологической войны, то они пишут книги о добродетели, о ничто или об экзистенциализме; в их книгах не изменилось бы ничего существенного, если бы Сталина никогда не было. Что ни говорить, коммунизм ставит перед Францией политическую, а не духовную проблему.

Французское общество страдает от медленности экономического прогресса. Зло, так часто изобличаемое правыми и левыми экономи-

⁹⁹) Это не значит: а) что коммунисты-интеллигенты не пытаются «разлагать»; б) что в специальностях, касающихся объекта их веры, они бывают объективны; коммунистические учебники географии Советского Союза слегка тенденциозны, но тенденциозны благодаря их предпочтениям, а не диалектическому материализму.

стами, выражается в чередовании инфляции и застоя, пережитками устаревших предприятий, распыленностью промышленного аппарата, слабой производительностью значительной части сельского хозяйства. Этот кризис, углубленный ошибками периода 1930-1938 г. г. и второй мировой войной, был подготовлен понижением рождаемости и сельскохозяйственным протекционизмом, введенным уже в конце прошлого века. В течение последних десяти лет он понемногу изживается.

Экономический режим и его структура не были во Франции никем распланированы. Режим можно приписать буржуазии, если согласиться, что буржуазия представляет собой правящий класс. Но не только вожди трестов, а и политики, и простые избиратели решили предпринять меры понемногу затормозившие экспансию. Французы коллективно предпочли свой досуг повышению жизненного уровня, государственную поддержку и пенсии — неумолимой конкуренции.

До 1914 г. капиталист по существу был хозяином домов или земель: с тех пор с ним обходятся хуже, чем с любой другой социальной категорией. Доходы с капитала — с движимого имущества или с земельного недвижимого капитала — представляют собой сегодня во Франции самый низкий процент национального дохода по сравнению со всеми западными странами — менее 5%. «Денежные тузы», сахарные заводы и т. п. нажимают на власть, защищая свои интересы. Закон 40-часовой рабочей недели тоже был мальтузианской мерой. Ни одно правительство не было более мальтузианским, чем Народный Фронт.

Спор французов об отношениях к французским коммунистам отличается от спора о дипломатических отношениях с советским лагерем; но оба эти спора неотделимы друг от друга. Эксперты, влюбленные в экономическую экспансию, ставят вопрос о том, не позволили бы парламентское большинство правых и центра продвинуть экономический прогресс. Литераторы, по иным причинам, повторяют аргумент экспертов: в их глазах, только большинство левых является гарантией против власти капитала и гарантией политики мира. Во всех европейских странах есть свои бевенисты, нейтраллисты, противники Атлантического пакта или НАТО. Французы более тонко выработали различные возможные понятия, потому что они больше чем британцы или американцы любят идеологические споры (и особенно тогда, когда эти споры не имеют практического значения).

Но подобные дискуссии, вероятно, не так бесплодны, как это кажется. Коммунисты раз и навсегда признали, что два лагеря ведут войну, что в конце которой в живых останется только социалистический лагерь. Не-коммунистический лагерь не должен соглашаться с этим взглядом на мир, даже при противоположном значении ценностей. Отрицая догматизм, не-коммунисты не соглашаются ни с тем, что Запад адекватно определяется частной собственностью, погоней за наживой или представительственными учреждениями; но они несогласны и с тем, что советский мир, навсегда заоченев в сталинизме, не в состоянии будет истолковать свою собственную идеологию, что она позволит постепенное умиротворение. Коммунист хочет, чтобы советская стратегия соответствовала доктрине в ее вульгарном облике. Антикоммунист хочет, чтобы советская стратегия соответствовала тонкой доктрине (неискупаемая война...). История редко бывает настолько логич-

ной. Реальность находится или будет находиться где-то между широким смыслом и смыслом тонким; стратегия мирового завоевания может быть сокровенной мыслью вождей, но не может постоянно руководить их поведением.

Французские интеллигенты доставляют себе удовольствие вести оба эти спора — и экономический и политический — в идеологических терминах. Лучший способ ускорить экономический прогресс; парламентская комбинация, могущая поддержать экономическую экспансию, но не позволяющая в то же время повторения «пражского переворота», — вот что интересует французов; но это не интересует человечество. Рассуждения об иностранной политике, которая не была бы ни политикой сателлитов Советского Союза, ни политикой сторонников Атлантического пакта, имеют некоторые последствия: они парализуют французскую дипломатию; но они тоже не имеют мирового значения. Говоря по привычке от имени всех людей, гордясь своей планетарной ролью, французские интеллигенты ухитряются скрывать провинциализм своих дискуссий под обломками философии прошлого века. Но французские коммунисты думают, что марксистские пророчества благоприятны для их партии; революционеры повторяют те же пророчества, но в виде гипотезы; им удается выйти за узкие рамки нации имеющей второстепенное значение. Вместо всего этого следовало бы поставить толковый вопрос: что делать, когда в стране, которая географически и духовно находится в западном лагере, большое число рабочих голосуют за коммунистическую партию? А они размышляют о революционном призвании пролетариата, соответствующем мечтам Маркса, они утверждают мифическое равенство пролетариата с коммунистической партией.

В каком-то смысле, этот французский спор имеет значение примера для всех. Франция не создала ни политических учреждений (личных свобод, совещательных ассамблей), ни экономических учреждений, свойственных современному миру. Но она выработала и распространила идеологии типичные для европейского левого крыла: равенство людей, свободу граждан, свободную науку и критику, революцию и прогресс, независимость наций, исторический оптимизм. Наследниками этих идеологий считают себя оба «великана». Но европейские интеллигенты не узнают себя ни в одном, ни в другом. Должны ли они склоняться к Советскому Союзу, принимая слова марксистского пророчества, или к Соединенным Штатам, сохранившим все же уважение к духовному плюрализму? Может быть можно отбросить современное завершение технической цивилизации и в одном и в другом виде? Не только одни французские интеллигенты задают себе эти вопросы: с ними перекликаются интеллигенты всех стран, которые унижены национальным движением и тоскуют по аристократическим ценностям.

Искусство британских интеллигентов состоит в том, что они сводят к техническим вопросам чисто идеологические конфликты; искусство американских интеллигентов — в умении преобразовать в моральные споры те вопросы, которые касаются скорее средств, чем целей; искусство французских интеллигентов — в незнании, а подчас и в усложнении национальных проблем, вследствие гордого желания думать за все человечество.

ЯПОНСКИЕ ИНТЕЛЛИГЕНТЫ И ФРАНЦУЗСКИЙ ПРИМЕР

Интеллигенты страдают от бессилия изменить ход событий, но они не недооценивают своего влияния. Ведь политические деятели — это ученики профессоров или писателей. Напрасно доктринер либерализма объясняет успех социализма распространением ложных идей. Теории, которые преподаются в университетах, становятся через несколько лет очевидностями, признанными администраторами и министрами. В 1955 г. финансовые инспектора стали кайнезианцами, а в 1935 г. — отказывались ими быть. Идеологии ученых в такой стране как Франция формируют образ мышления правителей.

Вне западных стран роль интеллигентов — в самом широком смысле этого слова — еще более велика. Не в Англии или Германии, а в России и в Китае немногочисленные вначале группы, набиравшие своих членов среди образованных людей, повлияли на судьбу народа и, став хозяевами государства, навязали официальную истину. В Азии и в Африке получившие образование люди руководят революционным движением или государствами недавно получившими независимость.

Роль интеллигентов в Азии и их склонность к марксизму не раз объяснялись. Мы в нескольких словах напомним самое существенное. Прогрессивные идеи, которыми пропитаны преподаватели и студенты в западных университетах, могут «смутить» молодого интеллигента древних обществ и восстановить его против европейского владычества. Это владычество насмехается над демократическими принципами, эти общества, почти всегда иерархические и не эгалитарные, основанные на верованиях, не признаваемых духом свободной критики, кажутся возмутительными оптимизму, вдохновляющему рационалистическую философию. Русские революции и западные писатели сделали социалистические идеи популярными. Поэтому марксизм Ленина, который приняли коммунисты, подчеркивает эксплуатацию всего мира европейцами. То, что анализ Ленина так же обязан буржуазным социологам — критикам империализма вроде Гобсона, как и Марксу, это не играет роли.

Это общие данные; какие же обстоятельства в каждом частном случае определяют содержание и стиль дебатов? Возьмем, во-первых, пример Японии, где интеллигенты (особенно в узком смысле, писатели и деятели искусства) следуют повидимому французскому примеру. Они в большинстве склоняются к левому крылу, более или менее близки к коммунизму, но воздерживаются от решительного шага. Так же, как и Франция, правительство Японии находится в тесном союзе с Соединенными Штатами, что с сожалением порицается большинством литераторов.

Аналогия сразу же бросается в глаза. В Японии интеллигенты тоже чувствуют себя униженными тем, что их страна поддерживается и защищается Соединенными Штатами. Япония вчера была врагом, Франция — союзницы Соединенных Штатов, но это различие в прошлом не мешает сходству в настоящем положении. Ни та, ни другая страна не видят на горизонте истории возможности хотя бы временно-го величия. В то время как Китай, объединенный сильным правитель-

ством, начинает промышленную карьеру, Япония приговорена к подчиненному положению, будь это в морской системе Соединенных Штатов, будь то в китайско-русской континентальной системе. Если предположить, что эта континентальная система распадается, то и тогда Япония не будет иметь возможности завоеваний; в крайнем случае она будет иметь возможность маневрировать в системе равновесия между несколькими великими державами. Так же и Франция, включится ли она или нет в Западную Европу, может занимать достойное место на мировой сцене. Но ее размеры и ресурсы не дают ей места в первых рядах.

Япония чувствует связь со всеми, от кого ее отделяет союз с Америкой; она чужда тем, к кому ее приближает вражда обоих блоков. Один и тот же феномен выражается по разному во Франции и в Японии, но глубинное его сходство однако поразительно. Франция не решается объединиться с Германией — даже с половиной ее — чтобы не чувствовать себя врагом России — даже коммунистической. Япония не пользуется признанием ни одной антикоммунистической страны в Азии, ни Южной Кореи и Филиппин, всецело стоящих на стороне Соединенных Штатов, ни Индонезии или Бирмы, независимых, нейтральных стран «с левизной». Несмотря на то, что она была врагом Китая, Япония чувствует абсурдность бамбукового занавеса, разделяющего обе великие цивилизации Северной Азии. Сопrotивление Советскому Союзу было бы единственным видом современной политики, которая поддерживала бы и оправдывала ее национальное чувство.

И в экономическом отношении положение Японии несколько напоминает положение Франции. Отличия явны: население четырех островов перешло через оптимум мощи и оптимум благосостояния. Шестьдесят миллионов населения Франции могли бы извлекать свое пропитание из земли и должны были бы ввозить только промышленное сырье. Страна с населением в девяносто миллионов человек должна выбирать между дорогами инвестициями для увеличения урожайности и ввозом одной пятой потребляемого риса. Франция находится значительно ниже оптимума мощи и благосостояния, несмотря на повышение рождаемости. Доход на душу населения и жизненный уровень в Японии гораздо ниже французских (профессор университета в Токио получал в 1953 г. 25.000–30.000 йен в месяц, т. е. в три или четыре раза меньше, чем его коллега в Париже).

Если учитывать разницу между Европой и Азией, то условия Японии все же можно сравнить с французскими. И здесь, и там интеллигенты не удовлетворены отношением к себе, не соответствующим их претензиям. И здесь, и там, рядом с заводами, построенными по последнему слову техники, находятся мастерские скорее кустарного, чем индустриального типа. Оппозиционеры обвиняют директоров трестов (более реальных в Японии, чем во Франции); при этом они забывают, что множество карликовых предприятий иногда бывает более вредно для производительности, чем концентрация экономических сил в руках нескольких человек.

Япония еще менее чем Франция знакома с подлинным капитализмом протестанского стиля, со свободной конкуренцией, с отбором способнейших по признаку успеха. Государство принимало решительное

участие в индустриализации Японии, оно поручило или передало промышленные корпорации знатым семьям. Управление ими считалось публичной службой, оно было монополизировано «феодалами». Марксистское обличение капиталистов-феодалов современности — имеет там несомненный успех. В японском обществе не заметно застоя, его экономика динамична, но, несмотря на это, обстоятельства создали несоразмерность между тем, чего интеллигенты ожидают от нации, и тем, что нация может им дать; то же наблюдается и в современной Франции.

Японская культура по существу культура литературы и искусства. Интеллигенты Японии пользуются демократическим жаргоном и искренне считают себя сторонниками либеральных и социалистических идей. Но в глубине души они, быть может, ставят выше всего искусство жизни и красоту. На словах они поднялись на уровень американского капитализма, но на самом деле они ненавидят беспорядочность американского стиля, вульгарность массовой культуры. Их традиционные ценности окрашены благородной моралью, подобной морали средневековья европейских эпосов: чувство долга, верность вышестоящим, подчинение страстей морали. Конфликт между долгом и любовью часто встречающаяся тема литературных произведений. Каждодневная жизнь стилизована строгими правилами, подавляющими непосредственность и подчиняющими каждого уважению социального порядка. Оккупант прельщает грубых и шокирует деликатных своей небрежностью, внешним равенством в человеческих отношениях. Японскому стремлению придать каждому мгновению, каждому цветку, каждому блюду незаменимую прелесть противопоставляется американская деловитость. Чувство, что *American way of life* и *Reader's Digest*, развлечения для всех, грубой рекламой виновна в агрессии против высших форм культуры так же распространено в Японии, как и во Франции (хотя первые, быть может, не так ясно выражаются, как вторые). В обоих случаях заимствования у американских учреждений являются их карриатурами: *komiks* в Токио гораздо грубее, чем в Детройте. И в то же время японские интеллигенты не решаются говорить о культуре: это может звучать реакционно. Всю вину предпочитают сваливать на «капитализм».

В этом быть может и скрывается глубокая причина поведения, общего для японских и французских интеллигентов. И те, и другие расписываются под прогрессивной системой мышления, они обличают феодалов, мечтают о капиталовложениях, о жизненном уровне, о рационализации. На самом деле они ненавидят американизм не из-за Маккарти или капиталистов, а потому, что они унижены американской мощью и чувствуют, что их культурным ценностям угрожают массы, которым они однако вынуждены льстить во имя своей идеологии.

Отсюда видна также глубокая разница между положением японской интеллигенции и интеллигенции французской. Положительная наука, индустриальная техника, рационализация, банки и кредит, учреждения современной экономики так же сродни Франции, как и Соединенным Штатам. Вероятно, разница между обоими видами индуст-

стриального общества — американским и французским — большая, чем между двумя европейскими видами — французским и немецким или французским и великобританским. Но ни автомобильные заводы, ни рабочие профсоюзы, ни представительные учреждения, ни организация труда не вызывают разрыва с национальными традициями. Не нужно признавать метафизику, по которой каждая культура есть единство с неповторимой судьбой, чтобы согласиться с тем, что во вчерашней Японии ничто не предвещало парламента, фотографических аппаратов или принципов 1789 г.

Интеллигенты Токио, мечтающие о Монпарнассе или Сен-Жермен-де-Прэ, могут развивать те же политико-экономические идеологии, что и французская интеллигенция. Эти идеологи распространяются там в совершенно чуждой среде, они принадлежат западной цивилизации, которая в течение века разрушает устои исторической Японии.

Большинство культур развивалось не на подобие монад Лейбница, по своему закону, ничего не принимая и ничего не отдавая, а наоборот, воспринимая многочисленные заимствования и трансформируя заимствованные идеи, верования и обычаи. Японская культура приняла вышедшую из Индии религию, прошедшую через Иран и Китай; она взяла у Китая свою письменность и начальные формы архитектуры, скульптуры и живописи: всему она придала отпечаток своего гения. Реформаторы эры Мейджи пытались взять у Запада то, что они считали необходимым для военной мощи, которая была условием независимости. Они поняли, что военная сила требует не только пушек и дисциплины, но и определенной социальной системы; они ввели законодательство западного типа, университеты, научные изыскания. Одновременно они пытались сохранить культ императора, дух вековых обычаев. Это соединение было неустойчивым, как и впредь будут неустойчивы соединения заимствований, взятых у западных индустриальных обществ с азиатскими верованиями. Однако, это соединение позволило построить великую державу и существовало бы, может быть, дольше, не будь завоевательных авантюр и катастрофы.

Американская оккупация укрепила западное влияние и ослабила традиции. Мораль японцев, мало отличавшаяся от религии, была связана с преемственностью императорской власти, патриотическим воодушевлением, ролью аристократичных даймонов или самураев в обновлении страны. Но вот военные «потеряли лицо», древний правящий класс подчинился победителю, император поехал встречать генерала МакАртура и ведет себя теперь как конституционный монарх. Навязанные оккупантом реформы и примеры, которые показывают варвары, нанесли удар вековым привычкам. Панибратство американцев подрывает уважение к власти и к авторитету.

Пока что кажется, что японские интеллигенты колеблются в глубине души между унаследованной культурой и культурой заимствованной. Они не присоединяются ни к той, ни к другой. Но парламентские учреждения, введенные еще реформаторами эры Мейджи без нарушения авторитарных принципов, лишены сегодня престижа и влияния и действуют плохо. Консервативные партии черпают свои силы только в деревнях. Жители городов все чаще голосуют за социалисти-

ческие партии. Политика приняла западный стиль, как и музыка, театр, литература, спорт. Огромные толпы присутствуют на матчах без-болла, заполняют концертные залы. Пьесы традиционного национального театра становятся курьёзами для знатоков. Буддизм и шинтоизм не удовлетворяют духовных запросов большинства японской интеллигенции.

Присоединятся ли они в конце концов к коммунизму? Если говорить о ближайшем будущем, то я бы ответил отрицательно. Японская интеллигенция, по всей вероятности, не присоединится к коммунизму непосредственно, если только Китай не выработает какую-то улучшенную его форму. Если события — внутреннее разложение, возрастающие трудности экономического порядка, неизбежное присоединение к советской Азии — помогут победе коммунистической партии, то интеллигенция не проявит никакого духовного сопротивления. Пришедшему к власти коммунизму не придется бороться ни с духовной мощью религии, ни преодолевать власти Церкви. Благодаря пустоте, образовавшейся с гибелью старого порядка, сразу сможет установиться новая иерархия, поддерживаемая новыми верованиями.

ИНДИЯ И БРИТАНСКОЕ ВЛИЯНИЕ

Образ мышления японских интеллигентов только в слабой мере подвергался французским влияниям¹⁰¹). Это влияние было возможно только потому, что положение, комплексы и противоречия обеих интеллигенций были отчасти схожими. Японцы с одинаковым увлечением читают и Андре Жида и Жан-Поля Сартра. Они чувствуют, что их прогрессивность оправдывается мнениями Сартра, и не смущаются «Возвращением из СССР» Андре Жида.

Что же касается Индии, Бирмы и других азиатских стран, находившихся под британским правлением и получивших независимость после второй мировой войны, то там дело обстоит иначе. Интеллигенты там тоже в большинстве своем прогрессивны, но они не коммунисты; на словах они более склонны к антиимпериализму, чем к антикоммунизму; но в глубине души они больше обеспокоены проектами Мао Тзе-дуна, чем проектами президента Эйзенхауэра.

Тут самыми важными мне кажутся три фактора: национальная форма западного влияния, отношение к религии и прошлому, относительная сила либеральных и социалистических убеждений.

Ничто так не поражает путешественника, как **национальность** позаимствованных в Европе или Америке учреждений, которые он встречает в Токио, Гонк-Конге, Сайгоне или Калькутте. Япония, не знавшая до 1945 г. иностранного владычества, посылала своих юристов, государственных деятелей и философов в разные страны. Большинство японских профессоров говорят на каком-нибудь иностранном языке, не всегда на том же самом. Западные рестораны в Токио —

¹⁰¹) Может быть, это утверждение слишком резко. Начиная с конца прошлого века, французская литература имела влияние на японскую. Писатели начали подражать художественному стилю французов, раньше чем их политическому поведению.

французские, немецкие, английские или американские; политические учреждения или научные школы поочередно носят французский, немецкий, великобританский или американский отпечаток. Ничего подобного не существует в Индии, где Запад известен только в той версии, которую придает ему британская культура. Интеллигент находящийся под английским влиянием иначе реагирует на политику, чем тот, который находился под французским или американским влиянием.

Французское влияние увеличивает число революционеров. Культ революции, склонность к крайним абстракциям, интерес к идеологии и безразличие к неблагоприятной действительности, руководящей судьбой коллективов, — это весьма заразные добродетели или пороки. Интеллигенты, привыкшие к этой атмосфере, часто бывают одновременно и французами и националистами. Французская культура возбуждает нетерпение, порожаемое контрастом между существующим и тем, что должно быть; между преувеличенными стремлениями и консерватизмом нравов; она даже подготавливает подчинение строгой дисциплине, — во имя крайней свободы.

Американское влияние может другими путями привести к тем же результатам. Оно не учит о том, что «слева нет врагов» или что капитализм есть зло в себе. Но оно распространяет неограниченный оптимизм, обесценивает прошлое и побуждает к созданию учреждений, разоряющих коллективное единство.

Соединенные Штаты считаются сегодня противниками коммунизма. Правильное ли или неверное истолкование необходимости холодной войны принуждали иногда американцев к настороженному обращению с знаменитой формулой: «народное правительство, осуществленное народом для народа». Все традиционные, неэгалитарные и иерархические общества осуждаются этим лозунгом, выражающим доверие людям, а не властям; он учит разделению властей, укреплению профсоюзов, местной или провинциальной администрации. (В Японии оккупационные власти дошли до того, что уничтожили государственную полицию).

Американскому влиянию не удастся передать другим то, что в Америке сделано возможным совмещение слабости государства с силой профессиональных группировок и мощью, благосостоянием и однородностью общества; это — почти всеобщее участие в американском деле, гражданское чувство человека, уважение личных прав, не догматическая религиозность, связанная с прагматизмом, доведенным почти до культа деловитости. При отсутствии этих верований или таких отношений оптимизм века Просвещения, проповедующий равенство людей и право на счастье, создает пустоту и в индивидуальной душе, и в обществе; он толкает к коммунизму против American way of life, а не к принятию французской идеологии.

Британское образование, менее идеологичное чем французское и менее оптимистическое чем американское, не отталкивает интеллигента. Оно создает привычки, а не вырабатывает доктрины; оно вызывает желание подражать практике, а не повторять чужие слова. Индийские поклонники Великобритании хотели бы, чтобы парламент в Нью-Дели был похож на вестминстерский парламент. Я не думаю,

чтобы какой-нибудь интеллигент Индокитая или Марокко стал мечтать об ассамблее, подобной ассамблее Бурбонского дворца. Ученики британцев берут пример с действительности; ученики французов — с идеологии Запада. Действительность всегда более консервативна, чем идеология.

В Цейлоне, Бирме и в Индии люди, взявшиеся за управление независимыми государствами, обладают чувством законности, предпочитают прогрессивные методы, сопротивляются вовлечению в определенный лагерь, не любят насилия. Часто говорят, что буддизм отвращает интеллигентов от коммунизма: в такой форме это утверждение кажется мне сомнительным. Другие обстоятельства, не только духовное влечение или отвращение, определяют течение политической истории в Азии XX века. Правда, коммунизм тем сильнее привлекает, чем более пустеет престол божества. Когда интеллигент не чувствует себя больше связанным ни с обществом, ни с религией отцов, он обращается к прогрессивным идеологиям. Главная разница между прогрессизмом учеников Г. Ласки или Б. Расселя и коммунизмом учеников Ленина заключается не в **содержании**, а в **стиле** идеологии партийного членства. Догматизм учения и беспрекословное подчинение активистов составляют особенность коммунизма. Этот догматизм в интеллектуальной плоскости ниже либеральных и прогрессивных идеологий, но он, возможно, стоит выше их в смысле той веры, которую он вызывает. Интеллигент, который больше не чувствует связи ни с чем, не удовлетворяется мнениями, — он хочет уверенности, системы. Революция предлагает ему этот оптим.

Вожди Бирмы, оставшиеся буддистами, храбро боролись с коммунизмом, несмотря на то, что принадлежали к социалистическому течению. В другой буддистской стране интеллигенты присоединяются к коммунизму: соблазн коммунизма зависит не столько от содержания древних верований, сколько от беспочвенности. В зависимости от того, заставляет ли западное влияние отбросить или реформировать национальную религию, интеллигент чувствует себя свободным для принятия нового фанатизма, или, наоборот, склонным вставлять в старые религиозные рамки прогрессивные идеи, унаследованные по традиции или заимствованные на Западе.

Индийское государство насчитывает пропорционально больше всего коммунистических избирателей; но оно насчитывает и больше всего христиан, церковных миссий и грамотных людей. Пессимист полагает, что условия жизни крестьян там таковы, что крестьяне сразу же становятся бунтарями, как только пробуждаются от векового сна. Пробуждая их, миссионеры, помимо своей воли, передают их пропагандистам новой веры. Другие наблюдатели полагают, что сходство между исторической религией, вроде христианства, и религией истории, вроде коммунизма, объясняет заражение. Тот, кто порвал с индуизмом и поверил в божественность Христа, — в конечную надежду, тот будет более уязвим пророчествами христианской ереси и менее верен аристократической Церкви или космогонической догме.

Может быть, существенным фактом является разрыв между индивидумом и обществом, который был вызван прозелитизмом пришедшей извне религии. Ученики христианских школ, нередко принявшие

крещение, оторваны от индуизма, но не полностью вчленены в западный мир; у них нет больше точки опоры, очевидности. Они прогрессивны в экономике или политике, но их идеи не имеют твердого основания. Коммунизм объединяет их рассеянные и неопределенные мнения в приемлемую для рассудка систему, избавляет их от сомнений, навязывает дисциплину. Дисциплина эта вызовет отвращение у интеллигента, но даст нестойким людям те рамки, о которых они втайне мечтают.

Сила или слабость либерализма объясняет также количество или качество сторонников коммунизма. Сущность западной культуры, основа ее триумфа, центр ее влияния — это свобода. Эта свобода не всеобщее голосование (позднейшее и сомнительное учреждение политического порядка), и не парламентские споры (одна из процедур проявления ее при помощи различных мнений), — а свобода исследований и критики, приобретенная постепенно, историческими условиями которой были двойственность светской власти и власти духовной, ограничение государственного авторитета, автономия университетов.

Коммунизм это совсем не развитие буржуазного либерализма, а возвращение вспять. Вряд ли удастся уличить его в обмане, или хотя бы убедить прогрессивных интеллигентов, что их обманывают, потому что всякое воплощение демократического идеала есть измена. Не может быть управления народом посредством народа: доказательства этому заключаются в том, что выборы и множественность партий суть менее несовершенное воплощение суверенности народа, чем одна партия, хотя это и кажется некоторым не неоспоримыми.

Сомнение исчезает, как только мы рассматриваем ценности, определяющие Запад: уважение личности и свободу исследования. Люди, окончившие западные университеты, все полюбили эту свободу. Правда, европейцы часто насиловали за границами Европы свои же собственные принципы; их речи в пользу демократии, их обвинения против советской системы становятся подозрительными. Но, несмотря на это, престиж этих ценностей так велик, что коммунисты, если и осмеливаются их презирать, то только ссылаясь на них же. Во имя псевдорационализма коммунисты распространяют новое правоверие. И тот интеллигент, который обретет внутреннее равновесие в соответствии с разумом, откажется от догмата.

Но возможно, что несмотря на свое отвращение, интеллигент в конце концов все-таки примет догмат, если опыт покажет неудачу либеральных методов в политике или в экономике. Ни одна европейская страна не проходила при представительном и демократическом режиме такую степень экономического развития, какую сейчас переживают Индия и Китай. Ни в одной из стран, в которых в течение многих лет население значительно увеличивалось, где в пригородах появлялись заводы, где строились железные дороги, не существовали одновременно личные свободы, всеобщее голосование и парламент. Были известны цезаризмы, т. е. всеобщее голосование с абсолютной властью одного человека; были известны парламентские режимы, где голосование цензурировалось и ассамблея была аристократической, были конституционные монархии. Соприкосновение цивилизаций привело к попытке, подобной индийской: демократическая и парламентская республи-

ка, пытающаяся объединить всеобщее голосование, силу законности и пятилетние планы.

Трудности очевидны. В наше время демократический режим подразумевает свободу выражения для всех интересов, будь то профсоюзные или партийные; он запрещает властям принимать произвольные решения. В Европе представительные учреждения должны были ограничивать или заменять монархии, они сменяли сильную власть. В Азии они сменяют власть абсолютную — колониальную или княжескую; но падение этой власти оставило пустоту, которую должны были заполнить Индийская или Индонезийская республики. Редко удавалось построить государство соответственно нормам либеральной демократии.

Экономические задачи, возложенные в Азии на правительства, состоящие из образованных людей, тоже нелегки. Ведущие группы независимых наций почти единогласно принимают необходимость экспансии, что означает индустриализацию, а не увеличение пищевых ресурсов. Они позаимствовали у европейских левых любовь к социалистической технике. Последняя иногда соответствует обстоятельствам; в стране, где нет предпринимателей, нельзя рассчитывать на частные предприятия, тем более, что богачи любят там величественно сорить деньгами. Но точно так же ошибочно рассчитывать на планификацию при отсутствии статистиков и компетентных чиновников; ошибочно высчитывать доходы, приносимые долларами, если правительства не в состоянии начать стройки, которые могли бы поглотить предложенные капиталы.

В Азии, как и во Франции, интеллигенты склонны к идеологии претендующей на универсальность; они противопоставляют частную собственность государственной, механизм торговли — планам, вместо того, чтобы конкретно анализировать национальную среду, чтобы уточнить, в какой мере тот или иной метод соответствует обстоятельствам. Точно так же, как подражание современному английскому парламентскому режиму не даст Индонезии или Индии гарантий действенной демократии, так и перенесение практики американского капитализма или лейборизма не соответствует требованиям экономического развития в так называемых недоразвитых странах. Народы сами должны выковать свое будущее, каковы бы ни были их заимствования за границей.

Всеобщая теория берет за исходную точку идею фазисов экономического роста. Маркс пытался связать последовательность этих фазисов с переменой режимов. К несчастью он предложил схему, вдохновленную фактами, известными в его время, но опровергнутыми дальнейшим развитием истории. Социалистическая техника, в коммунистическом смысле слова, не является больше необходимым следствием зрелости и не необходима при ускоренной индустриализации.

Та теория, которая не приписывает одному фазису какой-то особой технике, может показать, какие проблемы надо решать в данную эпоху. Она оставляет широкую возможность для дискуссий о том, насколько в XX веке трудно совместить стремления интеллигентов с условиями стран, только что получившими независимость и не вышедшими еще из состояния нищеты.

Интеллигенты так или иначе останутся прогрессистами и будут видеть возможность выбора только между насильственным и демократи-

ческим методом. Но они не будут больше связывать лейборизм в Великобритании с необходимостью применения его в Индии. В Индии невозможно представить дарового медицинского обслуживания. Страховка против безработицы принесла бы там сильных в жертву слабым и будущее — в жертву настоящему. Бедные общества не могут подчинять заботу о производительности заботе о равномерном распределении благ. Это не значит, что всякое неравенство благоприятствует производительности. Наоборот, роскошь богачей является одновременно и экономическим и моральным скандалом. Но законы, гарантирующие безопасность меньшинству заводских рабочих, случайно выбранных из тысяч безработных, были бы преждевременны, были бы экономической ошибкой.

Касается ли дело ценностей или средств, или далекого будущего, наука не запрещает состязания идей, она делает его современным и реальным. Она сохраняет интеллигентов от тоски по прошлому и от бесплодного возмущения против настоящего: нужно обдумать мир, прежде чем его менять.



Ни одна страна в Азии так не гордилась заслуженно своей историей и культурой, как Китай. И ни одна, в течение целого века, не перенесла больших унижений. Это не значит, что Китай был завоеван: завоевать Китай нельзя, можно в крайнем случае захватить престол, как это сделали маньчжуры. Война за допущение ввоза опиума, разгром Летнего дворца, иностранные концессии, неравноправные договоры и свобода для иностранных миссий, навязанная под угрозой пушек, — все это оставило глубокую обиду. Как только коммунисты захватили власть, они уничтожили христианские общины; может быть любое правительство на их месте поступило так же, но в ином стиле.

Традиционная доктрина, поддерживавшая вековой порядок, была и моральной и социальной. Конфуцианство оправдывало административные и правительственные должности образованных людей. Падение империи повлекло за собой развал идеологии. Реставрация буддизма или индуизма развивалась под надзором варваров, под защитой Indian civil service. За ним могло бы последовать обновление конфуцианства, но оно не могло бы вернуть Китаю его положения великой державы.

Интеллигенты, которые сразу же присоединились к коммунизму, были в меньшинстве до 1949 г. Престиж русской революции, которая с 1920 г. вызвала восхищение нескольких литераторов, не отличался от престижа других революционных идей, пришедших из Европы. Но долгие годы войны, постепенное разложение Куоминтанта, инфляция, строгости полицейского режима возмутили наконец интеллигенцию и сделали ее союзницей Мао Тзе-дуна.

Нецерковный, материалистический коммунизм, казалось, не мог стать учением образованных китайцев. Обесценивание семьи, возвышение партии и государства были по отношению к прошлому таким потрясением, которое вчера еще казалось невозможным. Однако коммунистическая партия вновь создала иерархию, на вершине которой восседают образованные люди. Сегодня это ученые, которые одновременно являются и военными, называются марксистами-ленинистами. Объединение полководцев и ученых не встречалось уже веками. понадобилось западное влияние, чтобы его восстановить. Против ненавистного владычества ученые воспламенились вдохновением крестоносцев и, победив, признали за Западом его тайную победу: доктрина, во имя которой они прогнали варваров, по существу своему принадлежит Западу; она ставит на первое место **действие и историю**.

Западные люди научили народы Азии осмысливать их прошлое. Уже в XIX веке существенной темой русской философии был контраст между судьбой России и Европы. Марксизм, в его ленинской версии, предлагает интеллигентам всех материков возможность, не унижаясь, по новому истолковать свою историю и историю своих бывших господ.

Подмена научной истины истиной религиозной не может пройти без духовного кризиса: трудно удовлетвориться временной, неоспоримой, но ограниченной истиной, которая не всегда бывает утешительной. Может быть потому уроки исторической науки так горьки, что они двусмысленны и что сам предмет претерпевает постоянно свое обновление и обновление знания. Марксизм нашел абсолют. Сегодняшняя официальная доктрина не связана с порядком космоса или с образцовым порядком Средней Империи; она истинна, потому что отражает необходимый и благодетельный порядок перемен. Марксизм-ленинизм преодолевает релятивизм, который несет с собой историческое сознание, он залечивает раны, нанесенные в течение века техническим превосходством Европы.

Можно спросить себя, проявит ли Азия завтра нетерпимость, вчерашний бич Запада, от которого ее охранял буддизм, или истолкует новую веру таким образом, что у еретиков останется шанс на жизнь, может быть и презренную, но не подавленную насильственным обращением в новую веру, или завоеванием под предлогом этого обращения.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Интеллигенты в поисках религии

Часто сравнивают социализм и религию, распространение христианства в античном мире и распространение марксизма в нашу эпоху. Выражение «советская религия» стало банальным¹⁰⁴).

Споры об этих сравнениях тоже стали классическими. Можно ли называть безбожную доктрину религией? Верующие не согласны с этим, они уверяют, что их верность доктрине совместима с традиционной верой. Но не доказывают ли сами прогрессивные христиане совместимость коммунизма и католичества, участвуя одновременно и в том, и в другом?

В каком-то смысле это спор о словах. Все зависит от значений, которые мы придаем словам. Доктрина открывает перед коммунистами целостное толкование вселенной; она внушает им чувства, подобные чувствам крестоносцев всех времен; она определяет иерархию ценностей и правильное поведение. Она исполняет несколько функций как по отношению к индивидуальной, так и к коллективной душе; эти функции социолог обычно приписывает религии. Что же касается отсутствия трансцендентности или понятия святости в коммунизме, то с этим все согласны; но при этом обычно напоминают, что многие общества в течение веков не знали понятия божества, но так мыслили и чувствовали, подчинялись таким императивам и были способны на такую верность, что современный наблюдатель посчитает их обществами религиозными.

Эти аргументы не касаются нашей проблемы. Религию можно определить так, что она будет охватывать культы, обряды и страсти примитивных племен, религиозные обряды конфуцианства и высокие учения Христа или Будды; но каков смысл «светской религии» на Западе, в среде пропитанной христианством?

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ МНЕНИЕ ИЛИ СВЕТСКАЯ РЕЛИГИЯ

Коммунизм развивался из экономической и политической доктрины в те времена, когда стала слабеть духовная жизнь и авторитет

¹⁰⁴) Я, кажется, впервые употребил это выражение в двух статьях, напечатанных в «Свободной Франции» (Lo France Libre), в июне-июле 1944 г.

церкви. Восторги, которые в другое время могли бы выразиться в чисто религиозных движениях, избрали своим объектом политическую деятельность. Социализм казался не столько техникой, применимой к управлению предприятиями или руководству экономикой: он порывал с вековым несчастьем людей.

Правая и левая идеологии, — как фашизм, так и коммунизм, — вдохновляются современной философией имманентности. Они безбожны, даже если и не отрицают существования Бога, поскольку они представляют себе мир людей не в отношении к трансцендентному. Инициатором этого рода атеизма, судя по полемике Ля Бертоньера, можно считать Декарта, хотя он и был добрым католиком. Он больше интересовался завоеванием природы, чем размышлениями о потустороннем. Марксисты II и III Интернационала охотно повторяют, что религия это частное дело человека; единственно серьезным занятием они считают организацию государства. За перенесением центра интереса логически последовало перенесение направленности страстей. Люди стали убивать друг друга не для того, чтобы установить, какая церковь имеет право толковать священные тексты и обладает благодатью, а для того, чтобы установить, какая партия или какой метод имеет больше шансов распространить материальное благополучие в этой долине слез.

Правда, демократия и национализм вызывали не меньше страстной горячности, чем бесклассовое общество. В эпоху, когда высшие ценности связаны с политической реальностью, люди с неменьшим фанатизмом служат национальной независимости, чем общественному порядку, претендующему на идеальность. В этом неопределенном смысле все политические движения волновавшие Европу имели религиозный характер. Однако, в них не найти ни формы, ни сущности религиозной мысли. В этом отношении коммунизм единственен в своем роде.

Как мы видели, марксистское пророчество соответствует характерной схеме иудео-христианского пророчества. Всякое пророчество осуждает существующее, дает картину того, что должно быть и будет, избирает индивидуума или группу, чтобы пройти пространство, отделяющее жалкое сегодня от сияющего завтра. Бесклассовое общество, которое будет нести в себе социальный прогресс и не будет знать политических революций, подобно тому нескончаемому царству, о котором люди мечтали тысячелетиями. Страдания пролетариата доказывают его призвание и коммунистическая партия становится церковью, против которой восстают буржуи-язычники, отказывающиеся принять благовую весть, и социалисты-евреи, не признавшие революцию, приближение которой они сами предсказывали в течение многих лет.

Все это можно перевести на язык разума. Силы продукции, развившиеся благодаря применению науки в промышленности, обеспечивают приличные жизненные условия, пока что, только меньшинству. Но развитие техники, связанное с изменением вида собственности и управления ею, принесет всем людям блага изобилия. От марксистского пророчества легко перейти к «великой надежде XX века», а от революционной веры — к теории экономического прогресса.

Каким образом это пророчество превращается то в благоразумное

объяснение возникновения современных обществ, то в псевдо-религиозный догмат?

Можно смягчить теорию и признать, что дело обновления требует сотрудничества всех жертв капитализма, всех тех, которые, не страдая лично от режима, видят его пороки и хотят его уничтожить. Призвание пролетариата из-за этого не исчезает, а становится только менее исключительным. Благодаря своей численности и своим страданиям промышленные рабочие призваны к великому делу гуманизации технических обществ; но ведь не только они страдают от несправедливости и не только они создают будущее.

Но можно думать и иначе. Не отказываясь от посторонней помощи, на словах подчеркивать пролетарский характер коллективного спасителя и той партии, которая его представляет. Нужно, и это вполне достаточно, чтобы партию объявили авангардом пролетариата, каково бы ни было участие живых пролетариев в руководстве и в деятельности партии. Партия становится похожей на церковь, несущую проповедь спасения. Кто вступает в нее, тот сразу же оказывается крещеным: церковь выражает волю пролетариата; не-пролетарии, подчиняющиеся ей, участвуют в этой сущности; настоящие пролетарии, отказывающиеся следовать за ней, больше не принадлежат к избранному классу.

Первый метод — это метод социал-демократов; он соответствует здравому смыслу, мирным реформам, демократии. Коммунистический метод — это метод насилия, метод революции.

В первом направлении пророчество переходит в мнения, меняющиеся в зависимости от наций, но всегда остающиеся благоразумно прозаическими; марксизм расчленяется на свои составные части, на исторические гипотезы, на экономические взгляды. Во втором направлении партия-церковь превращает доктрину в догмат, вырабатывает схоластику; она обуреваема страстями и поэтому собирает огромные полчища.

Для того, чтобы коммунистическая система понимания вещей не оказалась ошибочной, полномочия, врученные партии от пролетариата, не должны иметь ни отклонений, ни ограничений. Это декрет, который заставляет отрицать неоспоримые факты, подменять целый ряд реальных явлений стилизованной картиной борьбы коллективных существ с определенными функциями и с заранее предначертанной судьбой. Вот происхождение схоластики, с которой мы несколько раз встречались на предыдущих страницах, — бесконечные умствования о базисе и надстройке, несоответствие между тонким и грубым смыслом слов, словесное соответствие пророчеств с прямо противоположным развитием событий, отрицание объективности, подмена фактов историческим значением события (захват власти большевицкой партией в 1917 г. и есть пролетарская революция).

Социал-демократы отказались от этой схоластики, они не пытаются примирить сегодняшние факты со вчерашними предвидениями, втиснуть неисчислимое богатство человеческих обществ в несколько познательных формул; но одновременно с этим социал-демократы теряют престиж системы, уверенность, знание будущего. Коммунисты, наоборот, связывают каждый эпизод их движения со всем течением истории, саму историю — с философией природы; они все знают, никогда не ошибаются и искусство диалектики позволяет им согласовать

какой угодно момент советской действительности с доктриной, растяжимой в любом направлении.

Пророчество и схоластика вызывают чувства, подобные религиозным: веру в пролетариат и в историю; милосердие по отношению к тем, кто страдает сегодня и восторгается завтра; надежду на то, что будущее принесет с собой бесклассовое общество. Не замечаем ли мы присутствия этих добродетелей в каждом активисте? Но такая вера не связана с какой-либо церковью, она связана с историей, потому что связь церкви с Мессией постепенно слабеет; надежда обращена к будущему, которое при отсутствии спонтанно действующих сил будет достигнуто насилием; милосердие к страдающему человечеству переходит в безразличие к классам или нациям или индивидуумам, осужденным диалектикой. Всерьез и надолго коммунистическая вера оправдывает все средства; коммунистическая надежда запрещает думать, что существует несколько путей в рай; коммунистическое милосердие не позволяет врагам умереть с честью.

Это скорее психология сектанства, чем всемирной церкви. Активист уверен в том, что он принадлежит к малому числу избранных, на которых возложено дело всеобщего спасения. Верные, привыкшие следовать зигзагам партийной линии, покорно повторять очередные и противоречивые толкования германо-советского пакта или заговора убийц в белых халатах, становятся в каком-то смысле «новыми людьми». По материалистическому понятию, люди, сформированные по определенному методу, будут всегда верны властям и довольны своей судьбой. Инженеры душ не сомневаются в гибкости психологического материала.

В одном своем крайнем проявлении социализм переходит в неясно оформленное требование государственного руководства экономикой и коллективной собственностью; в другой крайности он расширяется в целую систему понятий, которая охватывает одновременно все — и космос, и перипетии гражданской войны в Гватемале.

Нам скажут, что коммунистическая вера отличается от политико-экономического мнения только своей нетерпимостью. Но разве не бывает всякая новая вера нетерпимой? Церкви склоняются к терпимости по мере того, как их начинает грызть скептицизм. Но тут дело не в простой нетерпимости. Ничего подобного коммунистической светской вере не получилось ни из национализма, ни из демократии. Здесь нужно говорить о фанатизме, при условии, что под этим термином подразумеваются декреты, которые производят одну единственную партию в вождя мирового пролетариата, интерпретационная система, накладываемая на путаницу фактов, единственный путь к социализму, считающийся императивом для всех народов. Фанатик тот коммунист, который разделяет людей на два лагеря в зависимости от их отношения к священному делу, активист, который заставляет язычника-буржуя писать свою автобиографию соответственно истине, проповедуемой пролетарским государством.

АКТИВИСТЫ И СИМПАТИЗИРУЮЩИЕ

Коммунизм это идеология, которую культ партии, интерпретационная схоластика, применяемая революционным государством, и вос-

питание-дрессировка активистов превратили в догматизм слов и действий. Поэтому, в зависимости от того, учитывать ли исходную точку или финиш, марксизм 1890 года или сталинизм 1950 года, мы склонны относиться легкомысленно или серьезно к понятию советской религии.

Эту нерешительность лучше всего иллюстрирует беспокойная, патетическая история соперничества между социалистами и коммунистами. Коммунисты, во всяком случае, не смущаются: начиная с 1917 года они разоблачают в своих братьях-врагах изменников, перешедших в капиталистический лагерь в тот день, когда они отказались увидеть в русской революции свершение первого пророчества. Зато социалисты охотно изобличают жестокость большевиков, возмутительность социализма без демократии, т. е. диктатуры над пролетариатом, названной диктатурой пролетариата. Но им никогда не удается полностью заглушить нечто, напоминающее угрызения совести: если этот путь ужасен, то существует ли другой путь?

Не согласны ли коммунисты и социалисты во взгляде на капитализм? Одинаково ли они враждебны к анархии рынка; стремятся ли одинаково к планификации и коллективной собственности? Когда большевики ликвидируют меньшевиков или миллионами ссылают крестьян, не согласных на коллективизацию, тогда западные, гуманные социалисты, привыкшие к парламентским методам, приходят в ужас и чувствуют себя почти что такими же далекими от этих ярых строителей социализма, как и от фашистов. Но достаточно того, чтобы умер Сталин и чтобы его наследники смягчили кое-какие крайности как бы патологического проявления режима, чтобы они протянули руку прогрессистам и христианам, — чтобы марксисты из социал-демократии вновь начали бы спрашивать себя: возможно, что в конечном счете техника деспотизма и пятилеток была единственной и неизбежной в России и в недоразвитых странах? Ускоренная индустриализация привела к неизбежным эксцессам террора, которые постепенно станут ненужными. Великий раскол рассосется в демократизации советского режима.

Эти чередования отчаяния и доверия объясняются не только неисчерпаемой наивностью социалистов, обреченных на все концентрационные лагеря при всех режимах. Они объясняются двусмысленностью светской религии. Она попросту есть догматическое оформление широко распространенных мнений: мнений левых, когда дело касается коммунизма, и мнений правых, когда дело касается фашизма.

Симпатизеры национал-социализма в 1933 г. не всегда верили в расизм, сожалели об эксцессах антисемитизма, утверждали необходимость сильной власти для восстановления национального единства, для преодоления партийных ссор и ведения динамической иностранной политики. Это сдержанное отношение характерно не только для нерешительных людей или попутчиков, оно встречалось и среди членов партии. Геринг вероятно был не менее правоверным, чем старые националисты, из приспособленчества ставшие на сторону демагога в коричневой рубашке.

Как мыслит в 1955 г. прогрессивный христианин, не являющийся членом партии? Заглянем в книгу, изданную священниками-рабочими. Они — по крайней мере, кое-кто из них — приняли партийное толкование событий: «Вожди пролетариата были правы; это доказывают

последние политические и социальные события: план Маршалла, 'С.Е.Д.', безработица, низкие заработки, Вьетнам, Африка, бедность, жилищный вопрос, нелегальность, репрессии»¹⁰⁵). Приписывать плану Маршалла, сократившему на несколько лет срок экономического восстановления Франции, ответственность за низкие заработки или бедность является типичным примером подмены фактов догмами, характерным для сталинской схоластики.

Быть может и не сознавая этого, священники-рабочие восприняли главные линии коммунистической философии истории. Они приписывают рабочему классу единственную в своем роде миссию, особые добродетели. «Наш класс стал для нас прекрасным, несмотря на его раны, богатым подлинными человеческими ценностями; у нас никогда не было повода для того, чтобы его презирать или недооценивать. И перспективы, которые он открывает в истории человечества, слишком велики и слишком подлинны, чтобы ими не заинтересовались другие классы» (стр. 268). Мышление будто бы существенно зависит от классовой принадлежности. «Переживая во всем условия пролетарской жизни и будучи тесно связанными с рабочими массами, некоторые из нас стали приобретать (или обрели снова) новый род мышления, другое классовое сознание. Они соучаствуют в реакциях трудящихся, в них рождается пролетарское сознание: смысл классовой борьбы во имя уничтожения классов; чувство неизбежной солидарности друг с другом; убеждение в том, что от капиталистической эксплуатации можно избавиться только всем вместе. . .» (стр. 207)¹⁰⁶). Пролетарское сознание, до которого доходят эти христиане, целиком выработано коммунистической идеологией: «Мы теперь знаем, что пролетариат, предоставленный самому себе, не имеющий классового сознания и организации, никогда не победит нападающего на него со всех сторон врага, врага в сто раз сильнее, если не количественно, то сильнее в средствах угнетения и репрессии, начиная с открытой и грубой борьбы вплоть до фальшивого доброжелательства и религиозного наркотика» (стр. 230)¹⁰⁷).

Вот как священники-рабочие судят и осуждают социалистический реформизм: «А в тех странах, где еще жива эта буржуазная социал-демократия, она терзается следующими противоречиями: репрессиями, несправедливостью, нищетой, агрессивными войнами; эти противоречия объясняются «уже неизбежным закатом», употребляя выражение *Osservatore Romano*. . .» (стр. 272).

Правда, священники-рабочие остаются католиками: «Если мы продолжаем твердо верить в Иисуса и Его Отца, Владыку истории, а следовательно и социальной и политической истории, которую переживают наши братья-пролетарии, то мы так же твердо верим в нашу Церковь» (стр. 269). Они отрицают, что драма пролетариата заменяет драму спасения души. Но некоторые выражения заставляют думать, что

¹⁰⁵) Les Prêtres-ouvriers, Paris, éd. du Saul, 1954, p. 268.

¹⁰⁶) Автор «Церковной Молодежи» (*Jeunesse du l'Eglise*) приписывает грешные сомнения относительно божественности Церкви буржуазной греховности: «...если он поддается этому сомнению, то это значит, что будучи изуродованным своим буржуазным прошлым, он не извлек из жизни и борьбы рабочего класса чувства истории и урок терпения, которые из нее вытекают». (События и вера, стр. 79).

¹⁰⁷) Религиозный наркотик — опиум для народа.

мирское событие понемногу приобретает священное значение в раздвоенном сознании прогрессивного христианина. «Мы несем в себе драмы пролетариата и ни одна из наших молитв и наших Евхаристий не чужда этим драмам. . . Наша вера, став мощным двигателем этого земного общения с рабочим классом, нисколько этим не умаляется и не загрязняется» (стр. 268). Можно себе представить, как католическая Церковь принимает рабочий класс, открытый для проповеди Христа благодаря временному освобождению. В данное время, «мы думаем и чувствуем вместе с Церковью, что при неимении этих минимальных материальных условий не возможна «никакая духовная жизнь», что голодный человек не может верить в благость Бога, что угнетенный человек не может верить в Его всемогущество» (стр. 270). Значит, не следовало проповедывать Евангелие рабам, прежде чем рабы не были освобождены с помощью классовой борьбы. . .

Эти тексты свидетельствуют о том, что коммунизм для этих хороших людей, для этих христиан, жаждущих служения ближнему, значит больше, чем какие-нибудь мнения о сегодняшнем и завтрашнем экономическом режиме; даже больше, чем какая-либо идеология. Они прошли два первых этапа, ведущих от идеологии к религии: призвание пролетариата и воплощение его в коммунистической партии; толкование современных событий и всей истории соответственно догмату (капитализм — зло в себе, захват власти партией есть по существу освобождение и т. д.). Католик не может пройти последний этап: если бесклассовое общество должно разрешить тайну истории, если человечество, организовав разработку планеты, удовлетворится своей судьбой, то это будет не тот человек, за кого был распят Христос, а тот, для кого Маркс предрек конец доисторической эпохи, осуществленный мощью машин и пролетарским восстанием.

Христианин никогда не может быть подлинным коммунистом, так же как и коммунист не может верить в Бога и во Христа, потому что светская религия, одухотворяемая атеизмом, исповедует, что человеческая судьба в целом завершается на этой земле и в человеческом обществе. Христианин-прогрессист скрывает от себя эту несовместимость.

Иногда он сводит коммунизм к технике экономической организации, радикально отделяет религиозные верования от коллективной жизни: но при этом он отказывается признать, что христианская Церковь так же не допускает такого разделения, как и светская: светская церковь не считает коммунизм нейтральной техникой, подобной машине, обслуживающим общество; а христианская хочет вдохновлять жизнь всякого и каждого постоянно, а не ограничиваться только таинствами.

Иногда прогрессивный христианин впадает в противоположную ошибку. Он до того тронут страданиями пролетариата, он так страстно участвует в борьбе коммунистической партии, что он употребляет те же христианские термины, как для обозначения перипитий светской истории, так и для таинств священной истории. Христианский смысл истории, никогда не открывающийся в чередовании империй, начинает сливаться с марксистским ее смыслом, — централизация труда, владычество масс, освобождение пролетариата. Трудно понять, мечтают ли тут прогрессисты о всеобщем изобилии, которое, наконец, избавит

людей от векового рабства и возвысит их до размышления о мире ином, или бесклассовое общество, а не Царство Божие, стало объектом их веры.

Ни пример социалистов, ни прогрессистов не позволяет нам установить грань между членами партии и попутчиками. Бывают члены партии, думающие и чувствующие так же, как и прогрессивные христиане: из желания служить ближним, из потребности жертвы, из желания преодолеть внутреннее сопротивление, которое им кажется буржуазным пережитком, — они принимают постриг; они не верят в материализм, они хотят служить людям. Зато многие попутчики не знают религиозной тоски; они взвешивают шансы партии и без отвращения соглашаются на управление своими рефлексам, соглашаются с преимуществами полусвободного существования.

Мы напрасно будем искать внутри партии одной единственной версии исторического догмата или схоластики, применимой в каждом случае. Как мы уже видели¹⁰⁸, трудно сказать, во что верят все члены партии взятые вместе если не говорить о вере в саму партию. Когда официальное коммюнике заявляет, что девять кремлевских врачей убили нескольких вождей, выбранных среди покойников, и собирались убить других — еще живых вождей, то все активисты сверху до низу иерархической лестницы знают, что им следует говорить (но не то, что им надо будет говорить через три месяца); но они не знают причин и целей этой операции. Никто в глубине души всецело не верит ни в то толкование, которое все повторяют, ни в бесконечные постановления бесчисленных собраний в безграничном Советском Союзе, — каждый выбирает для себя свое тайное толкование.

Не меньшая двусмысленность, но иного рода, возникает при государственном декрете, касающемся главных догматов. Какой смысл придают верные — люди внутреннего круга, крупные активисты, местные ответственные лица — важнейшим понятиям? Верят ли они в равнозначность пролетариата и партии в Великобритании, где партия почти не существует? Верят ли они в исчезновение советской государственности, обладающей еще никогда невиданной по своей многочисленности полицией? Как совмещают они представления о бесклассовом обществе, будучи очевидцами создания нового правящего класса?

Мы отделили людей церкви от людей веры, — тех, кто сначала поступает в партию, от тех, кто сначала соглашается с пророчествами. Это различие не совпадает с различием между активистом и симпатизирующим. Активист уже сделал решительный шаг и подчинился дисциплине, в то время как симпатизирующий стоит еще на пороге. Но попутчик не обязательно бывает человеком веры, а активист — человеком церкви в глубине души. Жорж Лукас верит в марксистские пророчества, но с трудом соглашается видеть в партии воплощение пролетариата. Некоторые попутчики не интересуются миссией рабочего класса и бесклассовым обществом; они подчиняются исторической фатальности, проявившей себя в восьмистах миллионах людей, подчиненных одному и тому же закону. Некоторые активисты бывают идеалистами, готовыми на жертвы; некоторые попутчики — циниками, выжидающими возможности сделать карьеру.

¹⁰⁸) Ср. гл. IV, стр. 122-123 франц. изд.

Где же настоящий коммунист? В теории, он должен пройти все три этапа — культ партии, толковательную схоластику, воспитание активиста — но дойдя до конца, он получает право «передумать» догмат на свой лад, как в его главных чертах, так и в его каждодневных применениях. Он в глубине души приобретет символическую версию тождества партия-церковь, мировой революции — причем эта версия, может быть, будет подобна версии не-активистов. Не все активисты суть «истинно верующие». Они обычно знают и заднюю сторону медали, и изотерические значения. Несмотря на это знание, они поддерживают полностью движение и ожидание будущего, кующегося партией и неизбежного в одно и то же время.

Следует ли серьезно относиться к светской религии, проповедующей своим сановникам столько же скептицизма, сколько и веры, доктрина которой неуловима и существует только благодаря целой серии совершенно абсурдных декретов? Но как только мы откажемся от приравнивания пролетариата партии и от объясняющей все схоластики, то религия превращается в систему мнений. Может ли прочная вера основываться на утверждениях, не соответствующих фактам или здравому смыслу?

К несчастью, ответ на такой вопрос, как мне кажется, еще не был дан.

ОТ ГРАЖДАНСКОЙ РЕЛИГИИ К СТАЛИНИЗМУ

Итак, интеллигенты изобрели идеологии и способы объяснений социального мира, подразумевая некоторую иерархию ценностей и предлагая то необходимые реформы, то страшное, а иногда и долгожданное потрясение. Тот, кто осуждал католическую церковь во имя разума, тот воспринял светскую догматику, потому ли что разочаровался в неполной науке, то ли потому, что стремился к власти, которой обладают только жрецы истины.

Французские философы XVIII века были уже интеллигентами в современном смысле слова; они жили своим пером и требовали для себя права выражать свое мнение — чаще всего критику — по историческим и политическим вопросам; этим правом они и пользовались неограниченно. Ни в мыслях, ни в жизни они не зависели от Церкви; они имели больше связей с богачами, чем со старинной аристократией; они распространяли взгляд на мир, порывавший со взглядами католической и монархической Франции.

Конфликт между клерками и философами был неизбежен исторически, но не метафизически. Церковь не имеет права осуждать попытку организовать максимально удобное земное существование большинства людей, она может признать право свободного исследования в отраслях, о которых ничего не говорит Откровение. Стремления к знанию, к техническому прогрессу считаются теперь положительными явлениями, несмотря на то, что папские энциклики продолжают осуждать оптимизм во взглядах на человеческую природу и поддерживают принцип авторитета в области догмата и морали. После того

как философия Старого режима была изгнана из католической доктрины, литераторы или эксперты теоретически больше не имели повода ссориться с Церковью.

Но во Франции спор продолжался благодаря социальной и политической роли, которую часто играла Церковь, и которую ей приписывали всегда и по всякому поводу. Будучи иерархическим обществом, проповедующим высокую истину, Церковь с трудом может порвать связь с властями и партиями, которые тоже не хотят, чтобы власть исходила снизу, или не соглашаются с тем, что слабые люди способны сами собой руководить.

Этот компромисс Церкви¹⁰⁹) с антидемократическими движениями не единственная и не главная причина постоянного соперничества между клерками и интеллигентами. Возможно, что первые с трудом соглашались с государством, которое хотело стать светским; и возможно, что интеллигенты не хотели занимать не первые места. Освободившись от церковного деспотизма, интеллигенты стали стремиться заменить то, что, по их мнению, они же и разрушили.

Убедленные атеисты, не терпящие религиозной жизни левые интеллигенты хотели распространить неверие, как миссионеры распространяют веру; они думали, что убивая богов и сокрушая алтари, они освобождают людей. Другие беспокоились о неизбежном ослаблении христианства и придумывали приемлемые для разума догматы, которые могли бы восстановить духовное единство. Большевизм участвует в обоих направлениях: его вдохновляет пылкая воинственность безбожников; он разработал якобы соответствующее науке правоверие. В России посвящение в сан производится интеллигентами. Коммунизм — это первая удавшаяся религия интеллигентов.

Но это не первая религия подобного рода, искавшая успеха. Огюст Конт пожалуй яснее всего выразил идеи, вдохновляющие на поиски религии-суррогата.

Богословие и метафизика несовместимы с положительным знанием. Религии прошлого теряют свою жизнеспособность, потому что наука не позволяет больше верить тому, чему учит Церковь. Вера постепенно исчезнет или превратится в суеверие простых людей.

Смерть Бога оставляет в человеческой душе пустоту, сердечные требования продолжают существовать и их должно удовлетворить новое христианство. Только интеллигенты могут изобрести его, а может быть и проповедовать, чтобы заменить древние догматы суррогатом, приемлемым для ученых.

Но ведь те специальные функции, которые выполняла Церковь, по-прежнему продолжают существовать. На чем основывается общая мораль? Как сохранить или восстановить среди членов общества единство верований, отсутствие которого грозит опасностью самой цивилизации?

Известно, какой ответ на этот исторический вызов дал Огюст Конт в своей системе. Установленные наукой законы, это законы космического порядка, открывающие постоянный порядок человеческих коллективов и, наконец, порядок их становления. Хотя догмат этот и нау-

¹⁰⁹) Это замечание не относится ко всем странам Запада и не ко всему XIX в. во Франции.

чен, но он дает душе утверждение истины, а сердцу — предмет любви. Общество будущего будет тотальным, но не тоталитарным. Оно включит в себя все богатства человеческой природы, уравновесит мощь разумом, силу — милосердием, сделает прошлое настоящим, откроет мирный путь прогрессу, осуществит призвание человечества.

За исключением Бразилии, нигде подобный позитивизм не выходил из рамок сектанства. Точно так же как и **новохристианство** Сен-Симона и его последователей, он не стал доктриной движения или партии. Будучи делом математика, он оставался верой немногих.

Поиски религии царства земного были известны еще до революционного кризиса. Глава «Общественного договора» Ж.-Ж. Руссо, посвященная гражданской религии, выражает идеи, которые он сам нашел в книгах своих предшественников и которые бродили в умах теоретиков. Разделение светской и духовной власти, это пагубный принцип: «...Смирненные христиане заговорили иным образом и вскоре это так называемое царство не от мира сего стало под управлением видимого вождя самым ярким деспотизмом в сем мире. Однако, так как всегда существуют князь и гражданские законы, то из этой двойной мощи произошел постоянный юридический конфликт, который сделал невозможной всякую добрую политику в христианских государствах; и никому никогда не удавалось узнать, кого же, наконец, нужно слушаться — государя или священника». И Ж.-Ж. Руссо добавляет: «Гоббс был единственным человеком, предложившим объединить две главы орла и свести все к политическому единству, без которого никогда не будет ни крепкого государства, ни правительства». Нельзя забывать также знаменитую фразу о том, что «общество, состоящее из настоящих христиан, не было бы больше обществом людей», с которой мог бы согласиться и Гитлер.

Политическое беспокойство — какая религия благоприятствует благосостоянию и мощи государства? — могло бы заставить Ж.-Ж. Руссо заявить подобно Маккиавелли о превосходстве национальных религий — христианство сведенное к своего рода теизму — останавливает его. Он не отрицает достоинств национальной религии, которая «объединяет культ божества с любовью к законам» и «делая родину объектом поклонения граждан, учит их, что служение государству, это также служение охраняющему его божеству». Но будучи основанной на ошибке, эта религия вводит людей в заблуждение, «делает народ кровожадным и нетерпимым», она их ставит в естественное положение войны со всеми другими. Руссо в конце концов удовлетворяется чисто гражданским вероисповеданием, которое должно заставить каждого гражданина полюбить его обязанности. Существование Бога, потусторонняя жизнь и наказание грешников являются догматами этой религии, незаметно связывающей гражданина со своим государством, но не для того, чтобы он видел в каждом другом государстве своего врага. Между национальной или языческой религией, возрождение которой философу века Просвещения казалось и невозможным и нежелательным, и универсальной религией спасения, безразличной к земному величию, должна лежать гражданская религия, избегающая фанатизма, но не ослабляющая преданности человека кесарю и не вносящая в социальное тело разделяющего принципа.

Революционные культы обладают и двусмысленностью гражданской религии. Их основой является патриотизм, «любовь к идеальному обществу, основанному на справедливости, более чем на любви к родной земле»¹¹⁰). Но в то же время законодатели не соглашались на отделение Церкви от государства. Хотя государство и отделяется от древней Церкви, но стремится сохранить религиозный характер, внушить к себе уважение «толп, какое внушает церковь с ее праздниками и обязательным ритуалом». Высшее Существо — Разум стал бы объектом веры очищенной от всякого суеверия, служила бы основанием для родины, избранной благодаря своей добродетели для бесконечной жизни.

Революционные культы всегда бывают кратковременными эпизодами, несмотря на то, что они обладают символическим и историческим значением, которое не ускользнуло от внимания Огюста Канта. Но мечты о национальной религии и ощущение, что революция приносит с собой гражданскую и универсальную веру, не исчезли с восстановлением монархии и католической Церкви во Франции.

Шинтоизм является эквивалентом национальной религии; кроме элементов, уходящих в далекое прошлое, он содержит так же и культ императора, потомка Солнца, воплощающего вечную Японию. Японская аристократия, решившая позаимствовать у Запада тайны его военной мощи, решила одновременно оживить и эти верования и древние обряды, для того чтобы технизированное западничество не исказило подлинной японской культуры. После первой мировой войны Лудендорфф ставил шинтоизм в пример немецкому народу, искавшему духовного единства; он повторял словами теоретиков времен Маккиавелли и Руссо о вреде двойственности и о вдохновении, которое дает толпам убеждение, что они борются и умирают за человечество и за Бога.

«Немецкое христианство» было сознательной попыткой «национализации» религии спасения души. В надгробной речи Гинденбургу Гитлер употребил германское слово «Валхалла». Гитлеровская молодежь имела нечто вроде культа огня. Этот эпизод пытались приписывать отчасти пылкости бой-скаутов, а отчасти возрождению языческих обрядов. В случае победы в мировой войне, Гитлер, вероятно, начал бы борьбу с христианством; но по всей вероятности он бы говорил меньше о «немецком христианстве» или «германской вере» чем о материализме и расизме — об этой запутанной системе идей, противоположных и рационалистической и демократической доктрине. Неравенство рас, доктрина вождя, национальное единство, III Рейх, — эти не столько организованные в систему, сколько руководимые пропагандой темы вдохновляли бы управление государством и воспитание избранных; они создали бы иерархию ценностей, вдохновляли бы пламенные страсти, вызывали бы общение верующих, были бы освящены церемониями. Казались ли бы они подлинно религиозными в христианской цивилизации? Тот же вопрос можно поставить по отношению к коммунизму, который, повидимому, устанавливает религию-суррогат, о которой мечтали революционеры-активисты, позитивисты и последователи Сен-Симона.

¹¹⁰) A. Mathiez. Contribution à l'histoire religieuse de la Revolution, Paris, Alcan 1907, p. 30, цитировано H. Gouthier в la Jeunesse d'Auguste Comte et la formation du positivisme, Paris 1930, p. 8.

К коммунизму применима формула Мишле: «Революция не признала никакой церкви. Почему? А потому что она сама была церковью». Как и гражданская религия, коммунизм освящает долг индивидуума по отношению к партии, социалистическому государству, будущему человечеству. Как и всякая другая религия, проповедывающая царство земное, коммунизм противопоставляет себя эзотерическому учению универсальной религии, как только ему удастся прийти к власти. Подобно позитивизму он хочет собрать все творения прошлого и передать их обществу, которое исполнит призвание человечества. Он прорывает с индивидуализмом века Просвещения, но он обещает счастье для всех. Он не знает ни сострадания к слабым, ни доверия к народным толпам; но он оправдывает социалистическую стройку гуманными намерениями, а безусловный авторитет вождей — необходимостью воспитать массы. Он закабальет науку, но во имя самой же науки. Он искажает смысл западного рационализма, но продолжает на него ссылаться.

Чем объясняется успех? Марксистское пророчество превращает схему эволюции в священную историю, завершением которой будет бесклассовое общество. Оно придает преувеличенное значение некоторым учреждениям (вид собственности, способ управления), оно делает из панификации, проводимой всемогущим государством, решительный этап истории. Интеллигенция¹¹⁾ легко впадает в ошибки свойственные левому приспособленчеству. Интеллигенция, одержимая заботами об увеличении национальной производительности, готова идти к избыли кратчайшим — советским — путем.

Содержание догмата заключено в толковании истории: сталинизм распространяется в веке потрясенном катастрофами. Однако астрология не была сразу вытеснена научной астрономией, а положительная история не изгоняет исторических мифов. До создания механической физики люди восхищались гармонией вселенной. В те времена каждое общество считало себя примерным. Не сознавая бесконечности времени, оно не ощущало своего скромного места в таинственном потоке становления. Исторические мифологии это не только анахронические верования; это бунт против уроков опыта.

В наше время технический прогресс является действительно главным фактором. Это он расшатывает старые постройки цивилизаций, поэтому то наши современники не видят более высокой цели, чем мощь и благополучие, приобретенные при помощи машин. Примат выгоды работы смешивают с первичной причинностью производственных сил, и готовы усмотреть в этой запутанной системе победу науки.

Марксистская идеология рассмотрела порядок становления в слепой путанице интересов. Каждый слушается самого себя, а все люди вместе совершают то, чего должна была желать высшая мудрость. Капиталисты в погоне за наживой влекут к смерти режим, которому они обязаны своим благополучием. Из классовой борьбы возникает бесклассовое общество. Усовершенствованная торговля, как гегелианское лукавство разума, использует человеческий эгоизм для всеобщего блага. Но тут заключено коренное различие: либерал считает несовершенство людей постоянным, он соглашается на такой режим, в котором

¹¹⁾ Русский термин в тексте.

добро будет результатом бесчисленных действий, но ни в коем случае не объектом сознательного выбора. В крайнем случае, либерал соглашается с пессимистом, который видит в политике искусство создавать условия, при которых человеческие пороки служат на благо государству. Марксист же признает разнородность намерений и событий только в прошлом, но открыв действие глубинных сил, он намеревается избежать тирании среды. Человек достигает намеченных целей благодаря знанию законов истории. Предвосхищение будущего позволяет марксисту выработать правила обращения со своими врагами и со своими сторонниками.

В этом месте идеология становится содержанием догмата. Коллективный спаситель перестает быть объектом истории, — он строит социализм, кует будущее. Это преобразование партии в Мессию остается сектантским заблуждением пока партия влачит жалкое существование и работает в беспомощной и непримиримой оппозиции. Только захват власти удовлетворяет ее притязания. Чем больше партия сливается с государством, тем больше пролетариат закабаляется.

Причина успеха ленинизма-сталинизма в сравнении со всеми другими религиями-суррогатами объясняется, в конечном итоге, весьма просто: победа революции вызвала распространение коммунизма; не светская религия подготовила десять дней, потрясших мир. Пророки лишены оружия погибают. Будущее светской религии зависит от исхода состязания в могуществе.

СВЕТСКИЙ КЛЕРИКАЛИЗМ

Французские интеллигенты первыми стали искать религию-суррогат: сегодня их коллеги в пролетарской Европе обосновывают законность советского абсолютизма, как раньше законодатели обосновывали законность королевского абсолютизма; они толкуют священное писание, декларации съездов или высказывания генерального секретаря в стиле богословов. Левая интеллигенция¹¹²⁾ начала с требования свободы, а кончила подчинением партийной и государственной дисциплине.

Стала ли идеология действительно эквивалентом религии? Трудно дать определенный ответ. Глава государства есть в то же время и глава церкви, как в византийском прошлом, так и при советском режиме. Идеология определяет самое важное, точно так же как раньше определяла его вера в мир иной. Она оправдывает авторитет и обещает — не индивидууму, а коллективам — справедливое вознаграждение в историческом потустороннем мире, т. е. в будущем. Но коммунизм не выдает себя за религию, так как он считает всякую религию пережитком прошлого; он борется с Церковью во имя атеизма, он ее порабощает во имя социализма, как порабощает и все другие общественные учреждения. Тоталитаризм несоразмерно преувеличивает смысл ущербленной доктрины, для того чтобы показать, что она охватывает все силы человека.

¹¹²⁾ Русский термин в тексте.

Двойственность взаимоотношений между христианами и коммунистами повидимому позволяет правительствам народных демократий вызвать ереси, попытки подобные «немецкому христианству» примирить христианскую веру с частью официальной идеологии. Но руководящее стремление по ту сторону железного занавеса как будто иное¹¹³). Коммунистические владыки пытаются, во-первых, порвать связь национальных церквей с папством: любой интернационализм невыносим для них. Во-вторых, они заставляют церковных деятелей словесно присоединяться к государственной вере. Но они точно так же обращаются и с музыкантами, шахматистами или писателями. Они пытаются придать политический характер деятельности или, хотя бы, словам священников или епископов, но они не согласны с чисто религиозным толкованием идеологии истории. В восточной Европе некоторые верующие лучше видят разницу между драмой Креста и драмой пролетариата, между бесклассовым обществом и Царством Божиим, чем это видят на Западе.

Следовательно, коммунизм не столько религия, которую христианство ставит в пример Западу, сколько политическая попытка найти замену религии в идеологии, возведенной в степень государственной правоверности. У этой правоверности существуют еще стремления, уже оставленные католической Церковью. Богословы прямо признаются, что Откровение не содержит в себе астрономических или физических наук; если оно содержит науку то только совсем элементарную, выраженную терминами, понятными для народа во времена Христа. Физик не может ничего узнать о ядерных частицах из Библии; но о них он ничего не узнает и в священных текстах диалектического материализма.

Христианскую веру можно называть тотальной только в том смысле, что она одухотворяет всю жизнь человека; но она стала тоталитарной, когда она не дооценила автономии мирской деятельности. Коммунистическая вера становится тоталитарной, потому что она хочет быть тотальной, потому что она создает иллюзию тотальности, навязывая официальные истины, подчиняя приказам властей такую деятельность, сущность которой требует автономии.

Можно понять поэтов, вдохновленных коммунистической верой, как можно понять и поэтов вдохновлявшихся христианством; можно понять физиков или инженеров страстно желающих служить пролетариату. Но нужно, чтобы это убеждение и эта преданность были подлинны, а не продиктованы бюрократами, заведующими культурой. Кроме того, убеждения должны позволять художнику находить свое выражение непосредственно, а исследователю давать возможность открывать истину. Социалистический реализм или диалектический материализм не объединяют коллектив единодушным переживанием верования или знания.

Псевдоединство достигается подчинением специфических особенностей каждого духовного мира определенной социальной функции

¹¹³) Однако в Польше стала известна деятельность «священников-патриотов», одновременно и марксистов и католиков. Новая католическая семинария в Варшаве пытается давать одновременно марксистское и католическое образование. Ср. *New York Times*, 19 дек. 1954. См. также книгу W. Banning, *Der Kommunismus als politisch-soziale Weltreligion*, Berlin 1953.

при этом Двусмысленные или ложные предположения становятся основанием доктрины, имеющей поползновение быть научной и философской одновременно.

Нам не нужно искать на Западе эквивалент исторического материализма, некоторой философии, которая может и должна определять принципы, понятия, главные результаты естественных наук. Мы должны ревностно охранять независимость республик ученых или литераторов, которую по ту сторону железного занавеса подрывает мания политического служения или революционной цели.

Мы тем более должны желать положительной критики, так как она сразу же уничтожает призрак единства советской культуры, сам собой распадающийся от прикосновения этой критики. Уже сегодня математики, физики и биологи знают, что марксизм-ленинизм это не инструмент для исследования, а всего лишь способ выражения, употребляемый в начале и в конце сочинения, для возможности согласования научных выводов с официальной теорией. Историки, даже если они в целом и признают действительность марксистских категорий, чувствуют себя пленниками властного и переменчивого правосудия, которое то восхваляет сопротивление инородцев великорусскому империализму, то распространение русской цивилизации. Правда, католический догмат содержал кроме недоказуемых утверждений, касающихся вещей недостижимых человеческому разуму, еще и систематизацию. Но избавившись от груза светских наук, религиозный догмат очистился, не отрекаясь от самого себя; он углубился в своей сущности. Коммунистическая правоверность, наоборот, не может очиститься и согласиться на рациональное толкование, — она тут же распадается на составные части, распыляясь в более или менее двусмысленных мнениях о современном и будущем обществе.

Идеология становится догматом, соглашаясь на абсурд. Если согласиться, что в каждом обществе какое-то меньшинство отправляет руководящие функции, то единство диктатуры партии и диктатуры пролетариата само собой отпадает; остается только сравнить опытным путем достоинства и недостатки единой партии и парламента, избранного мирным соревнованием. Достаточно отказаться от универсальности даже не в понимании Маркса, а в его ленинской версии, чтобы избежать мистификации. Тогда социалистическое общество могло бы остаться ближайшей целью исторической эволюции, но к нему вело бы несколько путей. Социал-демократические партии были бы не изменниками, а братьями; они исполняли бы функции спасителей Запада, не нуждающегося в жестокой большевистской технике властвования. Короче говоря, коммунисты искренне согласились бы с толкованием, которое со смущением и с самыми лучшими намерениями предлагают им марксисты, не отрекшиеся еще от разума, восхищающиеся пятилетними планами и ненавидящие концентрационные лагеря. Коммунисты думали бы тоже самое, что они говорят теперь, когда им приписывает это интерес Советского Союза.

Такое превращение кажется легким, но на самом деле оно ставит под вопрос самое существование: если партия не является представителем пролетариата в универсальном смысле и неоспоримо, то революция 1917 г. теряет значение, приписанное ей священной историей, она становится просто счастливым случаем. А как узнать тогда, каким

странам предназначены блага ускоренной индустриализации? Как можно утверждать, что переход от одного режима к другому должен быть резким, не отлучив предварительно сторонников II Интернационала? Если отказаться от мысли, что революция отмечает конец доисторической эпохи, то советская реальность не будет больше тем, что она есть; она станет грубым методом модернизации под руководством одной партии, избранной не судьбой, а непредвидимыми перипетиями человеческой борьбы.

Если русская коммунистическая партия продолжает утверждать, что она воплощает мировой пролетариат, то она попадает в лабиринт лживой схоластики. Если она отказывается от этой претензии, то она отрекается от власти. Приняв советы лейбористской мудрости, она разделит вскоре ее неудачу. Став буржуазной и скучной, отрекшись от своих иллюзий и излечившись от террора, она решительным шагом направится к своего рода луи-филиппизму XX века.

Но неужели неизбежно такое обращение? Не начинается ли оно у нас на глазах? Партия как будто уже ограничивает размах своей деятельности. Она дала некоторую свободу научным спорам, она стерпела литературные произведения — романы или пьесы, — высмеивающие некоторые стороны режима. Смягчились крайние и чудовищные формы, которых достигало порабощение творческого разума в течение последних лет жизни Сталина. Схоластика остается обязательной, но она не поддерживает больше непрерывного состояния логического бреда. Режим омещанивается; и если не теория, то практика стремится отказаться от универсальности марксизма-ленинизма.

Заботы о будничной жизни и ослабление идеологической горячности должны были появиться рано или поздно. Революция может быть перманентной, но революционный дух испаряется. Если не второе, то третье поколение вождей прислушается к куроку Синеаса¹¹⁴⁾ и откажется от невозможных завоеваний. Как, в конце концов, можно будет совместить устойчивость бюрократического деспотизма с прозелитизмом воинствующей секты? Революционный идеал, обращенный к будущему, питается иллюзиями: нельзя игнорировать главные черты советского порядка осуществленного на деле.

Сталинский режим преодолел противоречие между оправданием современной власти при помощи террора и идеологии и ожиданием совершенного будущего; он восхвалял настоящее не как таковое, но как этап на пути к бесклассовому обществу. Однако результаты индустриализации, укрепление нового правящего класса, отход от прометеевского подвига, который лежал в основе этого сверхчеловеческого начинания, — все это вместе взятое подтачивало веру, которая распадается на мнения как только ее перестает вдохновлять фанатизм. Мне кажется, что такой взгляд на далекое будущее очень возможен. Из этого однако не следует заключить, что кошмар рассеется, что отпечаток марксистско-ленинской дрессировки исчезнет и вдруг чудесно восстановится единство буржуазной и советской цивилизации.

Между верой и неверием, приверженностью к сталинской схолистике и прямым отказом от нее существуют многие промежуточные положения. Сомнение в одном частном толковании не подрывает устой-

¹¹⁴⁾ Советник Пирра, отговаривавший его от похода на Рим.

чивости всей системы. Главные понятия доктрины сохраняются; люди продолжают орудовать понятиями производственных отношений, социальных классов, феодализма, капитализма или империализма.

Может быть, стиль мышления дольше сохраняется, чем сама система понятий. Непримируемость к вчерашним товарищам; склонность до конца следовать логике или мнимой логике борьбы; склонность представлять мир только в черных и белых тонах; нежелание замечать фрагментарность проблем, отсутствие единства и на нашей планете и в доктринах, — все эти черты полученного воспитания свойственны скорее бывшему коммунисту — расстриге воинствующей секты.

Интеллигенту, вероятно, труднее, чем простому человеку избавиться от этой идеологии, которая является его делом так же, как и государство, опирающееся на нее. Советская власть правит во имя доктрины, выработанной интеллигентом, жизнь которого прошла в библиотеках, во имя доктрины толкуемой многими профессорами уже в течение века. При коммунистическом режиме интеллигенты-софисты становятся владыками. Следователи, находящие отклонения от линии партии; писатели, принуждаемые к социалистическому реализму; инженеры и руководители, обязанные исполнять планы и понимать двусмысленные приказания власти, — все они должны быть диалектиками. Генеральный секретарь партии, владеющий жизнью и смертью миллионов людей, тоже интеллигент: на закате своей блестящей жизни он дает верным какую-нибудь новую теорию капитализма и социализма, и эта книга как бы подчеркивает величие достигнутого. Императоры часто бывали поэтами или мыслителями, но впервые император властвует как диалектик, толкователь учения и истории.

Исчезли все те, кто в парламентской демократии преграждал интеллигентам путь к высшим ступеням социальной лестницы, — капиталисты, банкиры, избранные исчезли. В XVIII веке интеллигенты изобличали концентрацию огромных богатств в учреждениях Церкви, но без колебаний принимали подачки от богатых торговцев или откупщиков. Они нападали на неравенство в статуте личности и стояли за крепнущую буржуазию. До Великой Революции левый интеллигент не имел ничего ни против торговли, ни против конкуренции, ни честно заработанного богатства; он воевал против унаследованных или награбленных богатств и против родовых отличий. Во все времена он был врагом сильных мира сего, то Церкви, то аристократии, то буржуазии. Но к бюрократам-диалектикам он вдруг стал относиться со снисхождением, как будто узнал самого себя.

Коммунистическому государству нужны руководители, чтобы управлять заводами; писатели, профессора, психологи, чтобы распространять истину. Инженеры, имеющие дело с материей, и инженеры человеческих душ, пользуются существенными выгодами: высокий жизненный уровень, престиж, участие в интересном деле. Они не настолько наивны, чтобы попадаться на слова предназначенные для простаков; они слишком заинтересованы в своих привилегиях, чтобы отказываться от оправдания режима и своей собственной покорности. Поэтому они совмещают веру со скептицизмом, словесное согласие с внутренним отказом; они не в состоянии принять целиком безрассудный догматизм или стряхнуть с себя чары правдоверности.

Не могут ли они в крайнем случае призвать на помощь пример

трансцендентальных религий? Христианство проповедывало благую весть как рабам, так и царям; оно учило о равенстве душ вне социальной иерархии. Но церковь все же узаконила фактическую власть, успокоила совесть сильных мира сего. Но временами церковь пыталась царствовать в этом мире. Как же могут прогрессивные интеллигенты отказать в своих талантах государству проповедующему благое учение, строящему общество, соответствующее надеждам революционного рационализма, общество милостивое к экспертам и ученым — и ставящее им всего одно условие — подчинение себе?



Маркс называл религию опиумом для народа. Церковь волей-неволей укрепляет существующую несправедливость. Она помогает людям переносить и забывать свои страдания, вместо того, чтобы их уничтожать. Верующий, занятый мыслью о потустороннем мире, безразлично относится к построению общества.

Как только какое-нибудь государство производит марксистскую идеологию в степень верования, этой идеологии можно поставить тот же упрек: она тоже учит массы послушанию и утверждает авторитет властей. Больше того: христианство никогда не предоставляло правительствам полную свободу действий. Даже восточные церкви оставляли за собой право порицать недостойного властелина. Царь, будучи главой церкви, не провозглашал новых догматов. Но генеральный секретарь партии оставляет за собой право переписать наново, соответственно с изменившимся настоящим, историю коммунистической партии, составляющую сущность сталинского догмата. Понятие бесклассового общества теряет свое значение по мере того, как вышедший из революции режим устанавливается в виде мало оригинального бюрократического деспотизма. Оправдание ссылкой на «тот свет» превращается в словесную комедию: «тот свет» это уже не будущее, а данное нам настоящее, преобразенное всего лишь на словах.

Нам скажут, что коммунистическая религия имеет в наше время совсем иное значение, чем христианская религия. Христианский опиум делает народ пассивным, коммунистический опиум возбуждает его к восстанию. Без сомнения, марксистско-ленинская идеология послужила не столько набору, сколько формированию революционеров. Ленин и его товарищи повиновались не доктрине, а политическому инстинкту, любви к действию и стремлению к власти. Однако марксистское пророчество направило их жизнь, возбудило бесконечную надежду. Что значит миллионы трупов по сравнению с бесклассовым обществом!

Даже окостенелая и стерилизованная догматизмом марксистская идеология продолжает исполнять революционную функцию в странах Азии или Африки. Она помогает руководству массами, скрепляет единство интеллигентов, могущих распылиться по сектам. Она остается действенной как инструмент. В других странах, например во Франции, дело обстоит совсем иначе. Культ революции, патетические вопрошения истории характеризуют там путь бегства от действительности. Мечта об Апокалипсе не вдохновляет стремления к реформам, а при-

знание действительности, сопровождаемое отречением от нее на словах: вот дело чести так называемого не-приспособленчества.

Никто не отрицает, что даже во Франции миллионы людей верят в переворот, страшный как катастрофа, восхитительный как праздник, который изменит все их существование. Но аргумент, который волнует столько прогрессивных христиан — как можно лишать несчастных надежды, которая придает смысл их жизни? — не производит никакого впечатления на ум, подобный уму Симоны Вейль, которая не могла понять, что во имя веры можно принести в жертву истину. Верующих уважают, но с ошибками борются.

Сталинская религия мобилизует массы, чтобы захватить власть и ускорить индустриализацию; она освящает дисциплину бойцов и строителей; она откладывает революцию на будущее, которое удаляется от нас по мере того как приближается момент вознаграждения народа за его долготерпение.

Коммунистический режим, прекративший вековое смутное время в Китае, несомненно более действенен, а может быть и больше заботится о судьбе людей, чем все предшествовавшие ему режимы. Можно жалеть, что те же самые реформы не были проведены с меньшими убытками, без закабаления всего народа, без массовых чисток. Однако даже и в таком случае нельзя не быть врагом светской религии.

Кто не верит в Бога, тот не обязательно должен питать неприязнь к религиям, проповедующим вечные истины: ведь человек не исчерпывает своего назначения в своей социальной судьбе; иерархия власти и богатства не отражает иерархию ценностей; неудача в человеческом обществе иногда бывает путем к величайшему успеху; людей объединяет таинственное чувство братства, несмотря на борьбу всех против всех.

Кто не верит в марксистское пророчество, тот должен изобличать светскую религию, даже если она и показывает, то тут то там, желательные перемены. Будучи суеверием, она то вызывает жажду насилия, то пассивность, то преданность и героизм; но в конечном счете, она приводит к скептицизму, смешанному с фанатизмом, к той войне верующих, в которой вера потеряла почти все свое содержание. Она будет запрещать дружбу людей, стоящих по разные стороны политических барьеров, до тех пор, пока она сама не будет дисквалифицирована мещанством и относительным удовлетворением потребностей масс, пока она не превратится в обычную идеологию и не будет больше возбуждать ни надежды, ни ужаса.

Несправедливо возражение, что в наше время религия естественным образом становится светской, так как судьба человечества, соответственно распространенной философии, зависит от рациональной организации нашей планеты. Даже самоуверенный атеизм не подразумевает и не оправдывает идеологического догматизма. Отделение Церкви от государства, которое было основой величия Запада, не требует единой веры в двойственность человеческой природы. Оно не требует, чтобы большинство граждан верило в Откровение. Оно будет жить и в век неверия, пока государство не выдаст себя за воплощение идеи и свидетеля истины.

Может быть, пророчество это и есть душа всякого действия. Оно все обвиняет и утверждает достоинство духа в отрицании и ожидании.

Когда правители, гордящиеся удачной революцией, пользуются прочеством для того, чтобы обосновать свою власть и смутить своих врагов, — тогда рождается светская религия, обреченная в своей колыбели стать бесплодным правоверием или распылиться в безразличие. Западные люди остались слишком христианами, чтобы обожествлять земное государство. Как могут советские законники поддерживать рвение? Если действительность удовлетворяет людей, то это значит, что время негодования и мечтаний прошло. Если действительность их разочаровывает, то будет ли действительность признана за путь ведущий к тысячелетнему царству?

Светская религия будет еще довольно долго сопротивляться подтачивающему ее противоречию. Но на Западе она представляется нам тем роковым шагом, который ведет к крушению надежды.

СУДЬБА ИНТЕЛЛИГЕНТОВ

Любопытно нарисовать на створках диптиха два противоположных портрета интеллигента: при советском режиме и во Франции.

Здесь, во Франции, литераторы и эксперты кажутся главным образом возмущенными. Инженеры не признают законности и полезности авторитета предпринимателей или финансистов. Писатели восстают против политических интриг и грубости полиции, они чувствуют ответственность за несчастья людей — голодающих крестьян в Индии, униженных негров Южной Африки, угнетенных всех рас и всех классов; за бывших коммунистов, преследуемых МакКарти; за священников-рабочих, пораженных решением Ватикана.

Там, в народных демократиях, ученые и эксперты подписывают протесты по поводу тех же людей и тех же событий, которые возмущают их западных коллег: вооружение Германии (Западной), осуждение Розенбергов, заговор Ватикана и Вашингтона против мира и т. д. Они сохранили право на возмущение, но на возмущение только против капиталистического мира, который они не могут ни узнать объективно, ни посетить. Они соглашаются с окружающей их действительностью, они отрицают иную и далекую действительность; а в это же время близкая к коммунизму интеллигенция¹¹⁵⁾ в свободной Европе действует как раз наоборот.

Легко нарисовать третью картину, портрет бывшего коммуниста или антикоммуниста на Западе, утверждающего те же ценности, что и коммунисты, но считающего, что буржуазные демократии больше соответствуют его идеалу, чем народные демократии. Он то подписывает все протесты — в пользу Розенбергов и против советского лагеря; против вооружения Германии и за освобождение венгерских, румынских или болгарских социалистов; против марокканской полиции и против подавления восстания 17 июня 1953 г. в Восточном Берлине; но все-таки он охотнее подписывается под одной категорией протестов, — например, против советских концлагерей, потому что он

¹¹⁵⁾ Русский термин в тексте.

признает логику в борьбе и замечает разницу в качестве и в количестве сталинской и буржуазной репрессии.

Я сомневаюсь, чтобы какая-нибудь из этих категорий интеллигентов — московских коммунистов, европейских прогрессистов или коммунистов вашингтонских, лондонских или парижских антикоммунистов, — была бы удовлетворена своей судьбой. Я сомневаюсь в том, что советская интеллигенция так слилась с режимом, как это кажется издали; что французская интеллигенция так возмущена, как она это утверждает или как она в это хочет верить.

Интеллигенты двух наций-империй, Советского Союза и Соединенных Штатов, и те и другие суть сторонники режимов, слившихся с государством. Никто не предлагает им ни контр-идеологии, ни контргосударства.

Это кажущееся совпадение не является результатом одних и тех же методов и не выражается в одних и тех же формах. American way of life это отрицание того, что европейский интеллигент понимает под идеологией. Американизм не формулируется системой понятий или предположений; он не знает коллективного спасителя, ни завершения истории, ни причины определяющей развитие, ни догматического отрицания религии; он совмещает в себе уважение к конституции, индивидуальную инициативу и гуманность; он вдохновлен сильными, но неясными верованиями, довольно безразличными к соперничеству между церквями (его беспокоит только католический «тоталитаризм»), и культом науки и дела. Американизм не знает разработанного правоверия или официального толкования. Его воспитывает школа, а общество делает его обязательным. Если угодно, это и есть приспособленчество, но приспособленчество, которое редко воспринимается как тирания, так как оно не запрещает свободного обсуждения религиозных, экономических и политических вопросов. Конечно, фрондер, симпатии которого на стороне коммунизма, чувствует тяжесть коллективного порицания, даже при отсутствии репрессий. Индивидуум не может поставить под сомнение образ мыслей и учреждения, считающиеся основанием национальной идеи, не будучи заподозренным в неуважении патриотических чувств.

Советская идеология на первый взгляд кажется полной противоположностью американской не-идеологии. Она утверждает, что связана с материалистической метафизикой, она подразумевает внешнюю солидарность между ежедневно применяемыми мерами и конечным назначением человечества. Она облакает в теоретическую форму все стороны практической деятельности, в то время как американцы склонны толковать прагматически даже явления духовного порядка. Советское государство возвещает истину учения и принуждает общество признать ее; оно формулирует ту версию догмата, которая всегда будет правоверной; оно стоит выше законов и предоставляет свободу действий полиции, — в то время как Соединенные Штаты продолжают дорожить, а во многих отношениях даже соблюдать верховность юридической власти.

Но тут трудно воздержаться от вопроса: насколько верно передает советские особенности тот марксизм, который принесен из восточной Европы? Если отбросить все схоластические толкования, то останутся ли только элементы чисто национальной идеологии: пятилетние

планы, «кадры решают все», деятельность активистов, отбор элиты, коллективная обработка земли, положительный герой, картина нового порядка. Источники этой идеологии можно скорее найти в после-революционной России, чем в умствованиях молодого Маркса. Таким же образом можно себе представить и чисто американскую идеологию, выражающую специфические черты американской экономики и общества: культ успеха, личной инициативы и приспособления к группе; мощь соревнования и чувство правил; оптимистический взгляд на будущее; отрицание экзистенциального беспокойства, сведение всех ситуаций к технически разрешимым проблемам; традиционная враждебность к власти и к трестам, фактическое признание военного государства и гигантские промышленные корпорации и т. д.

Вполне естественно, что привлечение экспертов и в Соединенных Штатах и в России соответствует потребностям изысканий. Физики работают в больших лабораториях капиталистических компаний, советских государственных трестов или институтов по исследованию атомной энергии. Они работают в группах, подчиняются требованиям сохранения военной тайны, они государственные служащие, они еще более привилегированы в России, чем в Соединенных Штатах, они потеряли независимость ученых-любителей или людей свободных профессий. В капиталистических демократиях некоторые эксперты, врачи, юристы еще сопротивляются этой тенденции. Подчинение экспертов предприятиям, в которых они работают, завтра будет характерным явлением во всех странах промышленной цивилизации.

Коллектив ставит приобретение полезных знаний выше поддержания общей культуры. Те, кто вчера были людьми культуры, становятся сегодня экспертами. Как в Советском Союзе, так и в Соединенных Штатах руководство людьми применяется и в технике и в науке. Специалисты *ewriting*, рекламы, выборной пропаганды, информации, психотехники, — все они учат говорить, писать, организовывать работу так, чтобы нам подобные были успокоены или возмущены, пассивны или активны. Психология, служащая основой их профессии, не всегда материалистична, как рефлексология Павлова. Однако она учит обращению с людьми как с существами массовыми, с реакциями поддающимися учету, а не как с отдельными неповторимыми личностями.

Порабощение культуры техникой волнует некоторых ученых и у них создается ощущение изолированности. Строгая специализация вызывает тоску по ином порядку, при котором интеллигент не входил бы как служащий в коммерческое предприятие, но как мыслитель в человеческое общество.

В Соединенных Штатах, где не представляют иного режима, чем существующий, эти упреки и мечты не выражаются в активном разрыве. Зато это неоформленное возмущение совсем иначе выражается в России, где техник стоит гораздо выше ученого, по сравнению с Соединенными Штатами. Писатели, артисты и пропагандисты не отказываются в СССР от титула инженеров душ; искусство для искусства или чистое исследование отвергаются как таковые. Трудно себе представить, чтобы советским биологам не хотелось обсуждать и сравнивать заслуги Моргана и Лысенко; физикам — свободно переписываться с их иностранными коллегами; философам — сомневаться в мате-

риализме Ленина; музыкантам — безнаказанно совершать формалистические преступления.

Из этого не следует, что советская интеллигенция¹¹⁶⁾ враждебно относится к режиму как таковому. Может быть, она считает так же естественными и национализацию экономики и авторитет партии, как американская интеллигенция¹¹⁶⁾ считает естественным частное предприятие. Если бы художника больше не принуждали к социалистическому реализму, а писателя к показному оптимизму; если бы генетикам больше не запрещали защищать менделизм, — то советская интеллигенция, вероятно, была бы удовлетворена. Романы и пьесы, вдохновленные критикой, которая возникла благодаря смягчению «ждановщины» через год после смерти Сталина, ярче выразили стремления литераторов, чем бесконечные резолюции союзов писателей.

Американская интеллигенция¹¹⁶⁾ не завидует условиям интеллигенции¹¹⁶⁾ советской; но интеллигент в тех странах, которые отталкивают американский капитализм, но привлекает авантюра пролетариата, спрашивает себя, глядя на то и на другое «чудовище», — которое из них является прообразом его будущего, которое из них более отвратительно?

Французский ученый, работающий в плохо оборудованной лаборатории, может желать как американизма, так и советизма. Но американский режим, названный, как и французский, капитализмом, по видимому, не порывает с настоящим. Француз естественно требует от государства, чтобы оно взяло на себя исполнение задач, необходимых для коллективного благополучия; он в мечтах выбирает ту страну, где власти действительно без счета тратят деньги на научные исследования. Историк, писатель, художник должен был бы пугаться чиновников, заведующих культурой. Он так же ненавидит тиранию того массового вкуса, который создается специалистами прессы, радио, книгоиздательств. Необходимость продажи продукта интеллектуального творчества кажется столь же невыносимой, как невыносима и покорность государственной идеологии. Человек культуры чувствует себя вынужденным выбирать между продажностью и одиночеством.

Может ли преодолеть это противоречие такой режим, при котором техника была бы на службе у философии? Там писатель участвует в великом деле преобразования природы и самого человечества; там писатель участвует в выполнении пятилетних планов, — он работает как шахтер, он руководит, как инженер. Писатель не заботится там о продаже, которую берет на себя государство; он не зависит от издателей, для которых не существует коммерческих проблем. Он не чувствует себя рабом, так как он присоединился к идеологии, объединяющей народ, партию и власть. Он избавлен от изоляции, от трудностей, связанных с необходимостью зарабатывать хлеб своим пером, от тяжести второй профессии, от скуки *гёрлинг*. За все эти блага от него требуют только одной жертвы: согласиться с режимом, с догматом и его каждодневными толкованиями; неизбежная уступка, которая однако несет в себе зародыш окончательного разложения.

Западный писатель, изменивший самому себе, чтобы достичь успеха, или влачащие жалкое существование в тени, видит вдали обще-

¹¹⁶⁾ Русский термин в тексте.

ние с толпами, творящими будущее, видят спокойствие, которое обеспечивают ему государственные издательства. Он довольно легко соглашается с неустойчивостью, связанной с непредвиденными потрясениями чисток, так как эта неустойчивость — это обратная сторона той ответственности, к которой он стремится. Но как он выдержит обязанность постоянного восторга? Герои освобожденного пролетариата воспевают славу своих господ. Как долго сможет искренность присоединения к новой вере совмещаться с исполнением обязанностей государственной службы?

Тридцать лет тому назад Жюльен Банда изобрел ходкое выражение: **измена клерков**. Тогда еще не были забыты протесты подписанные по обе стороны Рейна самыми известными представителями литературы и философии. Интеллигенты твердили борющимся солдатам, что они защищают не то культуру, не то цивилизацию; они обличали варварство врага, не критикуя приводимых свидетельств; они преобразили в священную войну соперничество за власть, уже не раз пережитое Европой. Они придали государственным интересам и народной ненависти четкую, якобы рациональную форму. Интеллигенты не поняли своего задания, состоящего в том, чтобы служить сверхвременным ценностям — истине и справедливости.

Заключения дебатов были все же неясны. Жюльен Банда с легкостью описал обмирщение мысли: интеллигенты в своем большинстве больше не интересуются миром иным, они считают конечной целью организацию человеческого общества. Они научились ценить земные блага, национальную независимость, повышение жизненного уровня. Даже христиане предаются очарованиям имманентности. Если измена состоит в подчеркивании ценности временного и обесценивании вечного, то все интеллигенты нашего времени изменники. Отойдя от Церкви они отреклись от своего сана, потому что они возмечтали об овладении природой и о власти над себе подобными.

Как могут интеллигенты, участвующие своим проповедничеством, своей профессиональной деятельностью в исторических конфликтах, избежать противоречий и рабства политики? Когда они остаются верными своей миссии, когда они ей изменяют? Дело Дрейфуса служило для Банда идеальным примером. Клерки, защищавшие невинного, осужденного по ошибке, действовали соответственно законам их состояния, даже если они этим подрывали престиж генерального штаба и силу армии. Клерк должен ставить уважение правды выше величия своей родины, но он не должен удивляться, что князь судит об этом иначе.

Не все знаменитые дела подходят под пример дела Дрейфуса. Когда борются две нации, когда поднимающийся класс пытается занять место привилегированных, то как тогда проповедывать истину и справедливость? Если предположить, что непосредственная ответственность за начало первой мировой войны лежала на центральных империях и была больше ответственности Союзников — а и в этом можно было сомневаться, — то должен ли был клерк, как таковой, высказывать свое мнение? Тем более, что последствия победы того или другого лагеря имеют такое же значение, как и начало войны. Почему немецкие интеллигенты не могли искренне верить, что победа Райха в конечном счете послужит высшим интересам человечества?

Ценности, выраженные в абстрактных терминах, редко позволяют выбирать между партиями, режимами, нациями. Если мы исключим сторонников насилия во имя насилия, отрицателей разума, пророков возвращения хищничества, — то каждый лагерь покажется воплощением некоторых ценностей, но ни один не будет удовлетворять требованиям клерка. Тот, кто объявляет о близком наступлении справедливости, тот употребляет самые жестокие средства. Тот, кто отказывается от кровопролития, — легко соглашается с неравенством состояний. Революционер становится палачом, консерватор становится циником. Вступив на государственную службу, став слугой партии или профсоюза, директором исследовательского бюро американской авиации или агентства атомной энергии, — интеллигент едва ли может избежать дисциплины. Не являются ли в наше время протесты против всех преступлений, совершающихся на нашей планете плохим подражанием обязанностям церкви?

В тех странах, которые хотя и слабы и раздираемы ссорами, но спасены от единогласия, интеллигенты беспокоятся как о действительности, так и о справедливости своих слов. Следует ли говорить о советских концентрационных лагерях, когда «американская оккупация» кажется главной опасностью? По ту сторону баррикады дело обстоит не иначе: антикоммунисты тоже приносят все в жертву нуждам борьбы. Интеллигенты, как и простые смертные, не могут избежать логики страстей. Поэтому они усиленно ищут разумных оправданий, они хотят подавить в себе бессознательное. Политическое оправдание всегда подстерегает соблазн манихейства. Спрашивается еще раз, где же изменники?

На этот вопрос я здесь отвечаю только за себя самого. Интеллигент, ценящий благоразумную организацию царства земного, не ограничивается подсчетом очков, подписью под всеми манифестами против всех несправедливостей. Несмотря на то, что он пытается смутить совесть **всех** партий, он все же становится на сторону той, которая, по его мнению, открывает лучшие возможности человеку — это исторический выбор, содержащий в себе риск ошибки, — выбор неотделимый от исторических обстоятельств. Интеллигент не отказывается от партийности и когда он решается на действие, он соглашается также с его тяготами. Но он старается никогда не забывать аргументов противника, неизвестности будущего, ошибок своих друзей и сокровенного братства борющихся.

Интеллигент «ответственный» за коммунистическую партию руководит массами, он их влечет в бой, он ведет их в школу, он побуждает их к работе, он проповедует им истину. Следовательно, он становится клерком, так как комментирует учение. Он становится бойцом, продолжая мыслить и писать. Воинствующая религия позволяет интеллигенту при начале крестового похода воплощать в себе одновременно различные типы, которые отделятся друг от друга, когда вновь восстановится мир.

Но это временный успех, за него придется дорого заплатить. Активист отдает должное нескольким людям, бывшим вчера вождями и становящимся на завтра владыками бюрократии. Став пленником режима беспощадного рабства, он вынужден восхвалять правителей государства, следовать за извилинами партийной линии, освященной бу-

дущим царством небесным. Хуже того: он должен постоянно повторять правоверные изречения и, наконец, восхвалять палачей и лишать чести побежденных.

Конечно, он понимает символическое значение преступлений Троцкого или Бухарина. Философ в Париже имеет право различать между преступлением, являющимся всего лишь оппозицией, и шпионажем в пользу Гестапо. Но интеллигент находящийся по ту сторону железного занавеса не имеет права выразить это различие. Он должен выражаться как полицейский-инквизитор, он изменяет своему призванию, чтобы оставаться верным государству. Левая интеллигенция, поработенная победой партии-церкви, идеологией ставшей догматом, осуждена на бунт или отречение.

Будет ли левая интеллигенция в свободной пока что Европе чувствовать себя, как и раньше, настолько уязвленной, что сохранит свое прежнее стремление подчиниться порабощению? Сможет ли она остаться сама собой не только в пророчествах, вдохновляющих на великие подвиги, но на деле — в светской религии, оправдывающей тиранию?

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

КОНЕЦ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ ЭРЫ?

Может показаться странной мысль о конце идеологической эры, когда сенатор МакКарти еще продолжал играть одну из первых ролей на вашингтонской сцене, когда «Мандарины» получили приз Гонкуров и когда живые мандарины совершают паломничества в Москву и в Пекин. Мы больше не так наивны, чтобы ожидать скорого наступления мира: когда завоеватели разочаровываются или устраняются то продолжают властвовать бюрократы.

Может быть, западные люди мечтают о политической терпимости, как три века тому назад мечтали те, кому надоела напрасная резня во имя единого Бога для избрания истинной Церкви. Но они-то и передали другим народам веру в светлое будущее. Нигде, ни в Азии, ни в Африке, государство-провиденье не расточало столько благ, чтобы быть в состоянии заглушить безрассудную надежду на будущее. Европейские нации шли впереди других в гонке за индустриальную цивилизацию. Они же первые оказались затронутыми скептицизмом, и может быть этот скептицизм предвещает то, что ожидает нас в далеком будущем.



Оглянемся назад, на века прошедшие — от зарождения имманентной школы философии до создания современной науки. Все идеологии, увлекавшие в течение нескольких лет или десятилетий воображение толпы или отдельных мыслителей, выявляют задним числом простоту своих структур и немногочисленность руководящих идей.

Оптимизм левых создается и поддерживается сильным чувством: восхищением силой разума, уверенностью, что применение науки в промышленности потрясет общественный порядок и условия человеческого существования. Древнее стремление к братскому общению соединяется с верой в положительную науку и, то по отдельности, то одновременно, вдохновляет и национализм и социализм.

Свободное исследование, противопоставляемое церковному правосудию, и равенство борющихся, установленное огнестрельным оружи-

ем на полях битвы, подорвали постройку традиционной общественной иерархии. С тех пор будущее принадлежит свободным и равным гражданам. После бури, свалившей самую пышную постройку аристократической Европы, после падения французской монархии, революционная горячность, возбужденная грандиозными успехами и кровавыми поражениями, раскололась на две части — националистическую и социалистическую.

Разве подданные короля, призванные положить живот свой за родину, не имели права требовать своего государства, правители которого говорили бы на понятном им языке? И вот историки, философы и писатели вырабатывают теорию нации; они признают неповторимые особенности коллективной души, право народа управлять самим собой, ощущают бессознательно накапливающийся веками опыт и преклоняются перед ясной организацией античных обществ. Может быть они-то и разбудили социальные страсти, то принимающие формы свойственные примитивным племенам, то возвышающиеся до мечты о свободе; во всяком случае они эти страсти оправдывали. Начальная школа и общая воинская повинность надолго подчинили себя этим пережиткам, усвоенным многими нациями, хотя они и были им чужды.

Национальные чувства сильны по-прежнему по обе стороны железного занавеса. В народных демократиях ненавидят русское владычество. Французы легко раздражаются американской «оккупацией». Европейский оборонительный союз называют примером величайшего предательства национальных интересов, так как он передал сверхнациональной организации некоторые прерогативы суверенности. Коммунистический активист следует приказам Москвы. Он саботировал военные усилия 1939-1940 г. г., он присоединился к Сопротивлению в июне 1941 г., но партия набирала миллионы сторонников в течение периодов, когда интерес Франции совпадал с интересом Советского Союза.

Национальное чувство остается и должно оставаться спайкой коллективов; но националистическая идеология осуждается в Западной Европе. Идеология подразумевает оформление, нечто вроде систематизации фактов, толкований, желаний, предвидений. Интеллигент, который считает себя националистом по существу, должен или толковать историю как постоянную борьбу государств-хищников, или проществовать о мире между независимыми нациями, уважающими друг друга. Комбинация революционного национализма и маккиавелевской дипломатии в доктрине Морраса не может уживаться с ослаблением европейских государств.

Понятно, что правители защищают зубами интересы и права страны против неявного, но сильного внедрения союзников. Можно ли прийти в восторг от временного величия общества, не могущего производить оружие собственными средствами? В сумме военных расходов атлантического пакта три четверти составляет бюджет американской обороны. Изоляция, нейтральность, комбинации блоков — все это возможно иногда, всегда законно, но не может быть освящено никакой идеологией. Достойный человека общественный порядок не может быть осуществлен в нашем веке в границах второстепенной нации.

Соединенные Штаты и Советский Союз могли распространять гордость властвования и желание завоеваний. Их национализм не так

связан с землей, с культурой и языком, как национализм европейских государств. В царской и советской России, и в Соединенных Штатах, подданными становятся люди различных рас, различного цвета кожи и различных языков. Предрассудки, связанные с цветом кожи, задерживают включение негров в нацию, обещанное им американской конституцией. Но если негры мало чувствительны к призывам коммунистов, то главной причиной этого является обещание, содержащееся в конституции. Соединенные Штаты не знали империализма европейского типа, если не принять во внимание нескольких лет в конце прошлого и в начале этого века; они не знали стремления к расширению территорий. Принятие гражданства США влечет за собой не приобщение к определенной культуре, укоренившейся в веках, а всего лишь принятие известного образа жизни.

Советский Союз продолжил традицию царской России, дававшую возможность правящим классам инородцев вступать в аристократию императорской России. Благодаря коммунистической партии, Советский Союз сохранил единство многонациональной элиты. Советское гражданство, распространяющееся на многие национальности, требует лояльности к государству и принятия идеологии, но не отречения от первоначальной национальности.

Соперничество и разверзшаяся между обеими державами пустота, не заполненная ничьей силой после окончания войны, принудили их создать две противопоставленные друг другу сверх-национальные системы. Над НАТО доминируют Соединенные Штаты, поставляющие оружие союзным дивизиям; но и они одни могли быть противовесом советской массе. Маршал Рокоссовский командует в Варшаве, потому что советские правители сомневаются в польской верности и потому что дивизии Красной Армии стоят в самом сердце Германии. Большие пространства, — любимейшая тема теоретиков III Рейха, — созданы по обе стороны железного занавеса, но только в военном смысле.

Термин «империя» употребить трудно. Мы не видим ни малейшего признака атлантического патриотизма и трудно поверить, что советско-русский патриотизм, за исключением коммунистических меньшинств, очень распространен в странах-сателлитах. Но советская сверх-национальная система, объединенная в теории торжеством общей веры, отрекается от себя самой, изолируя народные демократии друг от друга. Из Румынии в Польшу проехать не легче, чем из Польши во Францию. Москва организовала обмен товаров между Китаем и Восточной Германией, но увеличила препятствия передвижению людей. Народным демократиям дано подобие независимости, но им не дано самого существенного, — каждую из них замыкают в ее границах, как будто государство, предназначенное для полной планификации, должно быть закрытым даже для своих союзников.

Как и владычество людей другой расы и другого языка, так резкое неравенство жизненных условий, казалось бы, не соответствует духу нового времени. Рядом с чудесами науки нищета кажется особенно возмутительной. Никто не сомневался в том, что промышленность должна была быстро уничтожить пережитки тысячелетней бедности. Расходятся только в вопросе о выборе средств. В поисках идеального общества колеблются между двумя образцами: один является примером равновесия, реализованного всеми, но не служащего объек-

том сознательной воли; другой — примером всеобщего изобилия, реализованного систематическим проведением плана и уничтожением эксплуататоров.

Либерализм и социализм продолжают вдохновлять мысли и вызывать споры. Все труднее становится выражать эти умонастроения в четких доктринах. Западная действительность несет в себе многообразие социальных учреждений. Нельзя больше рассчитывать только на коллективную собственность или планификацию, чтобы поражающе улучшить судьбу человечества.

Технический прогресс не разочаровал: он, как видно, ускорился в нашем веке. Возможно, что через несколько лет или десятилетий он преодолеет ограниченность средств существования. Но всем теперь известна его цена и границы его возможностей. Механизированные общества не приносят умиротворения; они освобождают человека от унижений бедности и слабости, но они подчиняют миллионы трудящихся логике серийного производства, они пытаются обращаться с людьми, как с материалом.

Нельзя опровергнуть опытом XX века ни оптимизм, мечтающий о братстве людей, основанном на изобилии, ни пессимизм, видящий впереди достигшую совершенства тиранию, овладевшую сознанием людей при помощи средств связи и пыток. Их диалог, начавшийся с времен возникновения первых заводов, продолжается и в наши дни. Он не принимает стиля идеологических дебатов, потому что объект спора не связан с определенным классом или партией.

Последняя великая идеология родилась из слияния трех элементов: из взгляда на будущее, соответствующего нашим стремлениям; из связи этого будущего с одним социальным классом; из веры, что человеческие добродетели сохраняются после победы рабочего класса, установления планового хозяйства и коллективной собственности. Но вера в достоинства социально-экономической техники стала уже иссякать и мы напрасно ищем тот класс, который принес бы с собой полное обновление учреждений и идей.

Теория классовой борьбы, которая еще и сегодня в большой моде, разрушается этим оскорбительным для нее сравнением: соперничество буржуазии и пролетариата существенно отличается от соперничества аристократии и буржуазии.

Падение французской монархии и кровавые перипетии республики, попавшей во власть политических фракций и террора, были представлены нам как подвиг Прометея. Гегелю показалось, что он увидел Мировую Душу в образе офицера, случайно севшего на коня и увенчанного богом войны. Маркс, а потом Ленин, мечтали о якобинцах, как об активном меньшинстве, подымающем народную гущу, как о миссионерском ордено, служащем социалистической революции. Никто не сомневался в том, что пролетариат завершит дело буржуазии.

Но ведь идеологи пролетариата — это буржуи. Когда буржуазия ссылалась на Монтескье, Вольтера или Жан-Жака Руссо, она противопоставляла Старому режиму и католическому взгляду на мир присущее ей самой представление о смысле существования людей на этой земле и о политическом порядке. У пролетариата никогда не было понятия о мире, противоположного понятию свойственному буржуазии; существовала идея о том, чем бы должен быть и что должен делать

пролетариат, но историческое значение этой идеи было значительным тогда, когда число индустриальных рабочих было незначительно. Так называемая пролетарская партия в тех странах, где она победила, насчитывала в своих армиях больше крестьян, чем рабочих недавно созданных заводов; ее вождями были интеллигенты, которых раздражала традиционная общественная иерархия или национальное унижение.

Те ценности, которые непосредственно переживаются рабочим классом, отличаются от буржуазных ценностей. Можно легко подобрать ряд противоположностей: чувство общности и вкус к частной собственности; участие в коллективе и углубление оригинальности или эгоизма; щедрость людей неимущих и жадность богачей и т. д. Никто не отрицает очевидности: стиль жизни в пригородах или в роскошных кварталах очень отличаются друг от друга. Так называемые пролетарские режимы, т. е. руководимые коммунистической партией, почти ничем не обязаны чисто рабочей культуре или партиям и профсоюзам, руководители которых сами бы принадлежали к рабочему классу.

Народная культура в наше время гибнет под ударами «Правды», France-Soire или Digests. Революционный синдикализм и анархические профсоюзы не могут сопротивляться бессознательной коалиции боящихся их организаций предпринимателей, социалистической и, главное, коммунистической партии, ненавидящих их. Обе эти партии несут на себе печать мыслей и действий интеллигентов.

В надежде полностью реализовать честолюбивые мечты буржуазии — победу над природой, равенство людей или их возможностей, — идеологи передали факел пролетариату. Контраст между техническим прогрессом и нищетой трудящихся вызывал возмущение. Как не приписывать частной собственности и анархии рынка пережитки унаследованной от предков бедности, вызванной на самом деле необходимостью накопления (капиталистического или социалистического), малой производительностью труда, ростом населения. Добрые люди, возмущенные несправедливостью, схватились за мысль, что плохой в себе капитализм будет уничтожен внутренними противоречиями и что его жертвы восторжествуют над привилегированными. Маркс создал гениальную смесь гегелианской метафизики истории с якобинским толкованием революции и пессимистической теорией рыночного хозяйства, развитой английскими авторами. Казалось, что достаточно было назвать марксистскую идеологию пролетарской, для того чтобы сохранить преемственность между французской и русской революцией. Но достаточно раскрыть глаза, чтобы рассеять эту иллюзию.

Экономика свободного рынка и тотальная плановость хозяйства — это всего лишь идеальные схемы, которые не были еще никогда осуществлены ни в одной реальной экономической системе; они не представляют собой этапы эволюции, неизбежно следующие один за другим. Нет неизбежной связи между фазами развития промышленности, воплощающими ту или иную идеальную схему. В экономически отсталых странах хозяйства стоит ближе к идеалу плановости, чем в странах с развитой экономикой. Смешанные хозяйственные системы — это не нежизнеспособные выродки и не формы перехода к чистым типам, — это нормальные типы хозяйства. В плановых экономических системах мы находим большую часть категорий рыночного хозяйства,

хотя и в измененном до некоторой степени виде. Как только повысится жизненный уровень советского потребителя, и как только он приобретет действительную свободу выбора, так сразу же все блага и все трудности, связанные с благополучием Запада, появятся и по ту сторону железного занавеса.

Революции XX века — не пролетарские революции; их обдумывают и ими руководят интеллигенты. Эти революции сбрасывают традиционную власть, неприспособленную к технической эре. В воображении пророков капитализм должен был вызвать революцию, подобную той, которая потрясла Францию в конце XVIII века. Ничего подобного не произошло. Но зато всюду, где правящие классы не могли или не хотели достаточно быстро обновиться, — там взрыв был вызван неудовлетворенностью буржуазии, нетерпением интеллигентов и вековыми стремлениями крестьян.

Ни Россия, ни Соединенные Штаты не пережили полностью борьбы аристократии и буржуазии. Царизм хотел взять техническую цивилизацию, не принимая демократических идей. Его заменила власть, восстановившая слияние общества с государством, в котором администраторы составили единственный привилегированный класс.

Передовые идеи Европы XVIII века помогли Соединенным Штатам осознать самих себя. Они пытались их применить в практике, на девственных землях, в стране, которую нужно было отвоевывать не у индейцев, обреченных на гибель разницей между культурой их племен и культурой иммигрантов, а у лесов и метелей. Там не было аристократии, гордящейся своими заслугами, которая тормозила бы полет мысли и промышленности. Религия учила моральной отрогости, а не правоте. Она призывала граждан к прямолинейности, приспособленчеству; она не сливалась с государством, не тормозила движения новой мысли.

Оптимизм мышления XVIII века не подрывался событиями подобными Великой Революции или оправданию пролетариата. Гражданская война — война тотальная — толковалась историками говорившими от лица победителей, как торжество: мир не может быть одновременно и полу-рабским и полу-свободным. Американские рабочие уверовали в обещание американской идеи и не признали необходимости Апокалипсиса.

Вооружившись учением, которое заранее обрекало на неудачу их начинание, большевики строили промышленное общество в неведомом до них стиле. Государство взяло на себя обязанность заботиться о распределении общественного дохода, об управлении заводами, о накоплении сбережений и об увеличении капиталовложений. В XIX веке на Западе рабочий класс восставал против хозяев, но не непосредственно против государства. Там, где хозяин и государство не отделимы друг от друга, возмущение против хозяина влечет за собой отречение от государства. Марксистская идеология придумала великолепное оправдание необходимости государственной экономики: пролетарии принуждены беспрекословно подчиняться своей общей воле, воплощенной в партии.

Конечно, если бы в СССР допускался диалог, то интеллигенты разоблачили бы в 1930 г. нищету ленинградских и московских пригородов как их товарищи разоблачали бедность пригородов Манчестера или

Парижа век тому назад. Контраст между увеличением числа орудий производства и внешним или реальным увеличением страданий народа вызвал бы появление утопий и предсказаний о прогрессе, осуществленном без слез и без плодотворных катастроф.

Впрочем, какую программу могли бы выставить революционеры против советской действительности? Они бы требовали политических свобод и рабочего контроля, но не частной собственности на орудия производства: исключение было бы допущено пожалуй только для сельского хозяйства. При капиталистическом режиме массы могут еще воображать, что государственная собственность излечит или ослабит пороки индустриализации; при коллективистическом режиме они не могут ожидать подобного чуда от восстановления частной собственности. Недовольные мечтают о возвращении к ленинизму, об истинно пролетарском государстве, другими словами, они стремятся к таким учреждениям, к такому положению вещей, которое бы больше соответствовало официальной идеологии.

Пролетариат Соединенных Штатов не мыслит себя таковым. Рабочие организации требуют и добиваются многих реформ, которые в Европе считаются связанными с Welfare State или с социализмом; руководители масс довольствуются тем местом, которое им отведено при данном режиме, а сами массы не стремятся ни к иному обществу, ни к иным ценностям. Но единомыслие американцев относительно «свободного предприятия», конкуренции и обновления ведущего слоя еще не значит что американская действительность достигла идеала; точно так же и обязательное изучение марксизма-ленинизма не обеспечивает соответствия русского общества с официальной идеологией. Так два больших государства различными путями, одно непосредственно — другое посредством полицейских мер, пришли к устранению идеологических споров, включили рабочих в свою среду, обеспечили признание принципов организации их общества. Патетические споры продолжаются лишь во второстепенных странах, в которых не признают полностью тот лагерь, к которому они принадлежат; там слишком горды, чтобы признать свою фактическую зависимость, признать, что разрыв пролетариата с обществом не есть историческая необходимость, а национальная неудача; пленники своего географического положения, допускающего споры, но не допускающего бегства, заворожены чужой внешней силой, распространяющей ужас.



Как это ни странно, но распространение единой технической цивилизации по всей планете сохраняет особый характер проблем, которые возникают перед разными нациями в наше время. Политическое сознание нашего времени искажено непризнанием этих особенностей.

Будь то либеральные, социалистические, консервативные или марксистские, — все наши идеологии являются наследством того века, в котором Европа, зная о многообразии цивилизаций, все еще не сомневалась в универсальности своей проповеди. Заводы, парламенты, школы возникают сегодня на всех широтах; всюду волнуются массы; всю-

ду интеллигенты приходят к власти. Европа, продолжает еще побеждать, но уже гибнет от своих побед и от восстания своих рабов; она не решается признаться, что завоевав мир, ее идеи потеряли ту форму, которую они приняли в наших академических спорах и дебатах.

Пленники марксистско-ленинского правоверия — восточные интеллигенты — не смеют признаться в неопровержимом факте: виды промышленной цивилизации многообразны; ни история, ни разум не подсказывают нам единственно необходимого выбора. Западные интеллигенты иногда не решаются признаться в обратном: возможно, что наша цивилизация вообще не появилась бы, не будь частных предприятий, инициативы торговцев и фабрикантов, и свободы исследования. Необходимы ли те же добродетели для того, чтобы ее восстановить или продлить? Странен наш век: вокруг земного шара можно облететь за сорок восемь часов, но главные участники драмы принуждены, подобно героям Гомера, обмениваться ругательствами издалека.

Индия не может брать примера ни с современной Европы, ни с Европы 1810 г. Если предположить, что доходы на душу населения и распределение рабочих рук в Индии 1950 г. соответствуют состоянию Европы полтора века тому назад, то все-таки фаза современного экономического развития Индии будет иной. Индия заимствует технические рецепты, вместо того чтобы их изобретать; она воспринимает идеи, свойственные лейбористской Англии, она пользуется опытом современной медицины и гигиены. Прирост населения и рост экономики не согласованы в Азии XX века так, как они были согласованы в Европе XIX века.

Политика характеризуется не только экономическим и демографическим возрастом каждой страны, но так же и традициями, свойствами каждой нации, каждой сфере культуры. Всюду, в так называемом свободном мире, заседание ассамблеи происходит по соседству с доменными печами. На востоке в начальный этап развития переносится то учреждение, которой на Западе было завершением дела демократии. В Париже прошлого века справедливо требовали всеобщего голосования и суверенности парламента; государство было скреплено вековой монархией, нация была выкована веками совместной жизни. Класс образованных людей, привыкший к словесным битвам, стремился к власти. Люди Запада были правы, когда полагали, что их парламенты заслуживают такого же успеха на нашей планете, как и автомобили или электроэнергия. Но они были бы не правы, если бы стали приписывать универсальное задание тем идеологиям, которые воспевали эти учреждения.

Теория должна и может учитывать обстоятельства определяющие шансы на успехи парламента в каждой стране, — силу национального единства; интенсивность спора языков, религий или партий; включение или распад местных общин; способности политической элиты и т. д., Предпочтение какого-нибудь метода, выраженного в политических или экономических учениях, можно считать благоразумным до тех пор, пока не забыты границы их возможностей и их достоверности. Свободный мир совершил бы роковую ошибку, полагая, что он обладает одной единственной идеологией, подобной марксизму-ленинизму.

Техника сталинизма, по крайней мере в своей начальной фазе, применяется повсюду, где партия с помощью русской или национальной

армии захватила какое-нибудь государство. Лживая доктрина подстрекает к эффективной деятельности, приводящей к тактическим успехам, обеспеченным полувековым опытом.

Ошибочность доктрины доказывается отвращением многих к этой псевдо-свободе. В не-русской Европе коммунистический режим не мог установиться, а возможно, что и не удержался бы без поддержки Красной Армии. Со временем национальные особенности — фазы экономического развития, традиции — появятся вновь внутри советского мира. Экспансия коммунистической власти не доказывает истинности доктрины; завоевания Магомета тоже не доказывали истинности ислама.

Советский мир это не жертва собственных ошибок. Жертва своих ошибок — это Запад. Идея правительства, управляющего посредством дискуссий, уступок и компромиссов возможно и представляет собой некоторый идеал, но ведь практика выборов или ассамблей это одна из многих возможных практик. Если пытаться ее вводить, не обращая внимания на обстоятельства, то это приводит к провалу. А неудачу демократической практики нельзя скрыть под организацией террора или энтузиазма, она видна всем и приводит к деспотизму.

Ни одна интеллигенция¹¹⁷⁾ не страдает так от потери универсальности, как страдает французская; ни одна интеллигенция так упрямо не желает отказываться от своих иллюзий; и никому не было бы так полезно увидеть наконец истинные проблемы Франции, как французской интеллигенции.

Франция принадлежит к не-коммунистическому миру и не может перейти в другой лагерь, не вызывая катастрофы, которой она хочет избежать во что бы то ни стало. Эта принадлежность не запрещает никаких так называемых левых мероприятий, будь то национализация предприятий или реформа статута Северной Африки. Англо-саксонское и советское влияние объединились против французского протектората в Тунисе или Марокко. Географическое положение исключает применение там советской техники управления и участие представителей Москвы в правительстве. Как бы для того, чтобы подчеркнуть свою беспомощность, французские интеллигенты постоянно предлагают коммунистической партии свою помощь и сотрудничество, от которого та то отказывается, то ее принимает в зависимости от обстоятельств, но всегда с неизменным презрением.

Мечтая об истине, приемлемой для всего человечества, французские интеллигенты стараются опередить события. Люди из Сен-Жермен де-Прэ после отлучения Югославии Москвой некоторое время были титоистами. Но маршал Тито заключил, не отрекаясь от коммунизма, военные союзы подобные тем, в которых прогрессисты упрекали западные державы, — и он тут же лишился своего престижа.

В конце 1954 г. за титовской Югославией последовал Китай Мао Тзе-дуна. Более обширный, более таинственный чем страна балканского Давида, Китай наконец-то реализует истинный коммунизм. Так как никто не умеет читать его письма, так как разрешены посещения только нескольких городов и нескольких заводов, то восторгам пу-

¹¹⁷⁾ Русский термин в тексте.

тешественников не может грозить соприкосновение с действительностью, расспросы тех, кто мог бы описать оборотную сторону медали, как миссионеры¹¹⁸), контрреволюционеры. Победа коммунизма в Китае это, по всей вероятности, самое примечательное событие нашего века; уничтожение большой семьи, создание тяжелой промышленности, мощной армии, сильного государства отмечают начало новой эры в истории Азии. Какой пример, какой урок дает Мао Тзе-дун Франции?

Некоторые задачи, стоящие перед Францией в середине нашего века, могли бы иметь значение и вне ее границ: организация подлинного союза между французами и мусульманами Северной Африки; объединение наций Западной Европы с тем, чтобы они менее зависели от американской мощи; ликвидация технической отсталости французской экономики, — все эти исторические дела могли бы вызвать здоровое воодушевление. Но ни одно из них не изменило бы человеческих отношений в мире; ни одно из них не сделало бы из Франции бойца за идеал; ни одно не оторвало бы французов от маленького мыса на азиатском материке, с которым связана наша судьба; ни одно не обладало бы блеском метафизических идей (свобода, равенство); ни одно не носило бы отпечаток внешней универсальности — социалистической или националистической идеологии. Поставив нашу страну на соответствующее ей место в мировой обстановке, действуя в согласии с опытом социальной науки, мы достигли бы единственно возможной в наше время политической универсальности. Мы придали бы механической цивилизации форму, соответствующую истории и возрасту нации; создали бы благополучие и мир в той зоне нашей планеты, на которую распространяется влияние наших сил и нашей мысли.

Но кажется интеллигенты безразличны к этим близким перспективам. Кажется, что они мечтают найти замену утерянной вечности в некоторой философии имманентности и что они шепчут: «какое значение может иметь то, что не универсально?»



Поведение французских интеллигентов определяют и мечты об универсальной идее и национальная гордость. Такое поведение вызывает отклик и за границей, и это объясняется не только талантом писателей. Если люди культуры перестают от всей души верить в истину для всех людей, то не склоняются ли они к безразличию?

Коммунизм — религия интеллигентов, набирает сторонников среди интеллигентов Азии или Африки, а в это время благоразумная западная демократия хотя и часто побеждает на свободных выборах, но не привлекает к себе активистов, готовых на все защиты ее дела.

«Предложив Китаю и Японии секуляризованную версию нашей западной цивилизации, мы им дали камень, когда они просили у нас хлеба. А в то же время русские, предложив им одновременно и коммунизм и технику, дали им хоть какого-то хлеба: если угодно, черного

¹¹⁸) См. F. Du Fay, *L'Etoile contre la Croix*, Hongkong, 1952.

и жесткого хлеба, но все же хлеба; это все же пища, содержащая немного питательной субстанции для жизни духовной, без которой не может существовать человек».¹¹⁹⁾

Коммунизм — это порочный вариант западной проповеди. Он из нее берет стремление завоевать природу, улучшить судьбу униженных, но отбрасывает все то, что было и будет душой нескончаемого приключения: свободу исследования, свободу дискуссии, свободу критики и свободу выбора для граждан. Он подчиняет экономическое развитие строгому плану, социалистическую стройку — государственной религии.

Нужно ли говорить, что коммунистический вариант увлекает благодаря своей интеллектуальной слабости? Истинная теория не уничтожает неуверенности в настоящем, она поддерживает партийные споры, она позволяет надеяться только на медленный прогресс, она не освобождает азиатских интеллигентов от их комплексов. Светская религия сохраняет за собой престиж и силу пророчества; за ней следует небольшое число фанатиков, но они в свою очередь мобилизуют и ведут массы, которые не так прельщает будущее, как возмущают несчастья настоящего.

Содержание коммунистической веры совершенно не отличается от содержания других идеологий, к сторонникам которых принадлежат левые интеллигенты всего мира. Но обычно они остаются на пороге, не переступая его, так как не любят сектантской дисциплины. Меньшинство, которое, преодолев свои сомнения, этот порог переступает, обуяно верой, «движущей горами». Либералы же сомневаются в себе и чувствуют некоторые угрызения совести от того, что оказываются иногда в лагере зла (правые, реакция, феодализм). Атмосфера западных университетов вызвала у студентов всех материков чувствительность к марксистско-ленинской доктрине, которая оказалась не завершением, а окоснением прогрессивной философии.

Говорят, что коммунизм это первая чисто европейская вера, к которой обратились миллионы азиатов. Первыми оглашенными были интеллигенты. Они не обратились к христианству, противоречившему их традиционной системе ценностей и их обычаям; христианство опровергалось поведением завоевателей и несоответствием научной мысли, которая была причиной военного превосходства империалистов. Коммунизм их прельстил не потому, что он является христианской ересью, а потому, что он кажется крайней формой, окончательным выражением рационалистической и оптимистической философии. Он четко выражает политические надежды Запада.

Сердца простых людей открыты для этой надежды, но безразличны к объясняющей ее схоластике. Они скорее дают себя вести партии, чем остаются верными Церкви. Крестьяне не стремятся к коллективной, а к частной собственности. Рабочие не представляли себе заранее, что построение социализма — это уничтожение независимости профсоюзов. Только пророчества делают коммунизм чем-то вроде духовной субстанции.

Что от него остается, когда планировщики будущего становятся планировщиками хозяйства? «Обожествленный милитарист вызвал гром-

¹¹⁹⁾ Arnold Toynbee, *Le Monde et l'Occident*, Paris 1953, p. 144.

кие скандалы: на Александра смотрели бы как на бандита, если бы он совершил свои подвиги при помощи двух сообщников, вместо того, чтобы опираться на целую армию; это, впрочем, не постеснялся сказать ему тирийский пират, как нам передает блаженный Августин. А что же сказать об обожествленном полицейском? Август, например, стал полицейским в тот день, когда он уничтожил своих друзей-бандитов, за что мы ему и благодарны; но когда дело доходит до того, что от нас требуют проявления благодарности в поклонении этому раскаявшемуся бандиту, как богу, то мы делаем это безо всякого убеждения и восторга»¹²⁰). Какие же чувства могли мы питать вчера по отношению к Сталину, убившему Зиновьева и Бухарина, а сегодня — по отношению к Маленкову, убившему Берию? Осталась ли у торжествующего коммунизма хотя бы доля некоторого духовного содержания?

Как долго восторг строителей будет передаваться членам партии? Как долго национальное величие будет свидетельствовать о небесном назначении в истории? Может быть Китай и обретет продолжительный мир в новой религии мандаринов. Христианская Европа его не обретет. Официальная правота превратится в ритуальный язык и тогда единственная подлинная вера, та вера, которую не может удовлетворить никакое временное благо, восстанет против мирского клерикализма. Может быть люди и могут жить не поклоняясь единому Богу в духе и истине. Но после своей победы они не смогут жить долго в ожидании земногорая.

Неужели кроме веры во Христа нельзя ничего противопоставить вере в пролетариат? Противопоставляет ли Запад советскому материализму какую-нибудь духовную истину? Но мы не смеем вмешивать религию в борьбу за власть, не смеем приписывать тому режиму, который мы защищаем, такие добродетели, которых у него нет.

Либеральные демократии не представляют собой «христианской цивилизации». Они развились в христианских обществах, они в каком-то отношении вдохновлялись признанием абсолютной ценности души отдельного человека. Но ни выборы, ни парламенты, ни механизм торговли, как таковые, не христианские начинания и даже противоречат духу христианства. Несомненно, что ни свободная инициатива, ни состязание между покупателями и продавцами, были бы невозможны, если бы на человеческой природе не было клейма грехопадения. Человек отдавал бы все лучшее другому, не ожидая награды, не заботясь о своих интересах. Но принимая человека таким, каков он есть, Церковь, которая хотя и не может признать неограниченного соревнования или неограниченной жажды богатства, не обязана осуждать экономические учения, характерные для промышленных цивилизаций. Планировщики принуждены считаться с жадностью к деньгам или со стремлением к почестям. Ни один режим не может игнорировать человеческого эгоизма.

Коммунизм вступает в конфликт с христианством, потому что он атеистичен и тоталитарен, а не потому, что он руководит экономикой. Он хочет самостоятельно заниматься воспитанием молодежи. Коммунистическое государство позволяет отправление культа и совершение таинства; но оно не считает себя нейтральным, оно называет религиоз-

¹²⁰) Arnold Toynbee, *op. cit.*, p. 182.

ные верования суевериями, которые должны исчезнуть по мере успеха строительства социализма. Оно мобилизует церковную иерархию для своих политических крестовых походов; священники, епископы, митрополиты должны вести борьбу за мир, изобличать ватиканские заговоры.

Так как мы не принадлежим ни к какой Церкви, мы не можем предложить верующим какого-либо выбора; но будучи неисправимыми либералами, которые завтра будут бороться против клерикализма, мы боремся сегодня против тоталитаризма, жертвой которого являются как церкви, так и люди науки или искусства. Мы изобличаем не только насилие над верой, которой мы не разделяем, — мы изобличаем насилие над всеми нами. Государство, навязывающее нам правоверное толкование каждодневных событий, навязывает нам также толкование всего развития и, в конечном счете, — смысл человеческого бытия. Оно хочет подчинить своей псевдо-истине творчество духа, деятельность общественных групп. Защищая свободу проповеди, неверующий защищает свою собственную свободу.

Запад по существу отличается от советского мира тем, что он признает свою внутреннюю разобщенность; советский же мир объединен политикой. К самой малозначительной разобщенности Запада принадлежит партийная разобщенность. Но она несет в себе пороки: она создает в обществе атмосферу ссор, она затемняет смысл необходимости, она компрометирует дружбу между гражданами. Но, несмотря на все, ее терпят как средство, как символ незаменимых ценностей, как способ ограничения произвола властей и как гарантию возможности легального выражения недовольства, как символ светского государства и автономии творящего, вопрошающего и молящегося духа.

Люди Запада, особенно интеллигенты, страдают от разорванности их мира. Разнообразие и непонятность языка поэзии и абстрактность живописи изолируют поэтов и художников от широкой публики, которую они якобы презирают, и от народа, для которого они в глубине души мечтают трудиться. Физики и математики, стоящие у предела возможностей исследования, принадлежат к небольшой группе, вырабатывающей энергию у атома; но они не вызывают желания свободного обмена мнениями и желания дружбы у подозрительных политиков, гонящейся за сенсациями прессы, у анти-интеллектуальных демагогов и у полицейских. Ученые — хозяева ядерных частиц и рабы мании шпионажа, — теряют всякий контроль над своими открытиями, как только они передают свои тайны генералам или министрам. Специалист посвящен только в небольшую область знания; современная наука, даже если бы она стала достоянием одного ума, точно так же не дала бы ему ответа на конечные вопросы, как не дала бы их ничего не знающему ребенку. Астроном предсказывает солнечное затмение с безошибочной точностью; но ни экономист, ни социолог не знают, идет ли человечество к атомному Апокалипсису или к вечному миру. Возможно, что идеология дает иллюзорное чувство общения с народом, ощущение дела, руководимого одной идеей и одной волей.

Чувство принадлежности к небольшому числу избранных; чувство безопасности, которое дает замкнутая система, в которой вся история и наша личность получают определенное место и определенный смысл; гордость тем, что человек объединяет прошлое и будущее в

своей деятельности в настоящем, — одухотворяют и поддерживают истинного верующего, того, кого не пугает схоластика, который, несмотря на ежедневный маккиавелизм, сохраняет чистоту душевную; того, кто всецело живет для дела и не признает больше людей себе подобными, за исключением членов партии.

Такие сторонники встречаются только у тех партий, которые, опираясь на идеологию, признанную абсолютно истинной, проповедуют коренной перелом. Будь он социалистом или либералом, консерваторм или прогрессистом, — всякий интеллигент не-фанатик признает неполноту своего знания. Он знает, чего бы ему хотелось, но он не всегда знает, какими средствами и с какими друзьями можно этого достичь.

В эпохи развала, когда миллионы людей лишаются привычной им среды, возникает фанатизм, внушающий борцам за национальную независимость или за строительство социализма чувства преданности, дисциплины, жертвенности. Можно восхищаться этими армиями верующих и их мрачным величием. Эти военные добродетели приносят победу. Какую же из этих добродетелей используют они завтра во имя победы? Но оставим фанатикам все преимущества их фанатизма; мы не пожалеем об этом и сделаем это с чистой совестью.



Может ли эта критика фанатизма научить благоразумной вере или скептицизму?

Люди не перестают любить Бога, когда они отказываются обращаться силой оружия язычников или евреев в новую веру и повторять: «Вне Церкви нет спасения». Перестанут ли они желать менее несправедливого общества или менее жестокой общей судьбы, если они откажутся поклоняться только одному классу, только одной технике действий, только одной идеологической системе?

Сравнение это, правда, требует ограничений. Религиозный опыт становится все более подлинным по мере того, как человек научается отличать моральные добродетели от послушания Церкви. Светские религии превращаются в мнения, как только люди отказываются от их догматов. Однако человек, не ожидающий чудесной перемены ни от революции, ни от хозяйственного плана, не вынужден примиряться с тем, для чего нет оправдания. Он не отдаст свою душу за абстрактное человечество, за тираническую партию, за абсурдную схоластику потому, что он любит людей, соучаствует в живых обществах, преклоняется перед истиной.

Быть может все это изменится. Быть может, интеллигент перестанет интересоваться политикой в тот день, когда он увидит ограниченность ее возможностей. Порадуемся этой смутной надежде. Мы не боимся погрязнуть в безразличии. Существует еще много возможностей и мотивов для того, чтобы люди убивали друг друга. Если терпимость рождается в сомнениях, то научимся сомневаться в идеальных схемах и в утопиях; научимся не верить пророкам спасения и проповедникам катастроф.

Будем ожидать появления скептиков — они должны потушить фанатизм.

О Г Л А В Л Е Н И Е

	Стр.
От издательства	5
Предисловие автора к французскому изданию	5
Глава 1 — Миф левых	9
Глава 2 — Миф революции	31
Глава 3 — Миф пролетариата	54
Глава 4 — Люди церкви и люди веры	81
Глава 5 — Смысл истории	102
Глава 6 — Иллюзия необходимости	121
Глава 7 — Интеллигенты и их родина	151
Глава 8 — Интеллигенты и их идеологии	174
Глава 9 — Интеллигенты в поисках религии	194
Заключение	221

ВАЖНЕЙШИЕ ОПЕЧАТКИ

стр.	строка	напечатано	следует читать
27	1 сверху	динамическим	динамические
34	2 снизу	Манджи	Мэйджи
59	7 сверху	понятно	понятие
67	17 снизу	сознаний	сознания
74	11 сверху	порядка, когорта	порядка — это когорта
76	26 сверху	хомус политикус	homo politicus
83	3 сверху	природой самосознания	природой самонаблюдения и самосознания
86	2 снизу	советского	светского
88	19 сверху	к критике гегелевской философии права	«К критике гегелевской философии права»
92	2 снизу	применяют к личности	применяют в зависимости от личности
95	20 снизу	идеализм	идеалист
97	7 сверху	регулируемое	регулируемого
102	2 снизу	абсурдна	не абсурдна
103	17 снизу	раскрывают	раскрываются
105	21 снизу	войсками	войнами
106	16 сверху	население	насилие
108	22 снизу	а priori или а poste	a priori или a posteriori
112	7 сверху	единством	единство
112	10 сверху	одному-единственному вопросу	одной-единственной проблеме

ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
ПОЛИТИЧЕСКИХ ЭМИГРАНТОВ ИЗ СССР
— Ц О П Э —

ZENTRALVERBAND
POLITISCHER EMIGRANTEN AUS DER UdSSR e. V.
— Z O P E —

Мюнхен — Западная Германия

Z O P E - Verlag
München 19, Renatastr. 77
Deutschland

Издание Центрального Объединения
Политических Эмигрантов из СССР (ЦОПЭ)

Мюнхен

1960